



3 1761 03616 3525



Purchased for the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
from the
KATHLEEN MADILL BEQUEST

МОСКОВСКІЙ СБОРНИКЪ.

Изданіе
Кн. Н. Постниковъ
Второе.

М О С К В А .
Синодальная Типографія.
1896.



НМ
526
Р6
1896



О ГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
1. Церковь и Государство. I. II. III. IV. V. VI	1.
2. Новая демократія	25.
3. Великая ложь нашего времени. I. II. III	31.
4. Судъ присяжныхъ	53.
5. Печать. I. II	57.
6. Народное просвѣщеніе. I. II	67.
7. Гербертъ Спенсеръ о народномъ воспитаніи	77.
8. Законъ.	87.
9. Болѣзни нашего времени. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII	92.
10. Знаніе и дѣло.	134.
11. Вѣра. I. II. III. IV. V. VI. VII	137.
12. Идеалы невѣрія. I. II. III	154.
13. Новая вѣра и новые браки.	171.
14. Духовная жизнь. I. II. III. IV. V. VI	183.
15. Церковь. I. II. III. IV. V	196.
16. Характеры. I. II. III. IV. V	225.
17. Власть и начальство.	247.
18. Изъ Карлейля. I. Дѣтство. II. Простое правило жизни. III. Воспи- таніе. IV. Дѣло. V. Религія	264.
19. Гладстонъ объ основахъ вѣры и невѣрія	269.
20. Дѣла и дни	281.



Церковь и Государство.

I.

Знаменательное явленіе нашего времени—борьба церковныхъ началъ съ государственными. Когда начинается борьба изъ-за началъ духовно-религіозныхъ, невозможно разсчитать, какими предѣлами она ограничится и какие элементы вовлечеть въ себя; до чего дойдетъ и гдѣ уляжется море страстей, взволнованное споромъ за убѣжденія и вѣрованія. Въ вопросахъ вѣрованія пароднаго государственной власти необходимо заявлять свои требованія и устанавливать свои правила съ особливою осторожностью, чтобы не коснуться такихъ ощущеній и духовныхъ потребностей, къ которымъ не допускается прикасаться самосознаніе массы народной. Какъ бы ни была громадна власть государственная, она утверждается не на иномъ чмъ, какъ на единстве духовнаго самосознанія между пародомъ и правительствомъ, на вѣрѣ пародной: власть подкашивается съ той минуты, какъ начинается раздвоеніе этого, па вѣрѣ основанного, сознанія. Народъ, въ единеніи съ государствомъ, много можетъ понести тягостей, много можетъ уступить и отдать государственной власти. Одного только государствен-

ная власть не въ правѣ требовать, одного не отдаутъ — того, въ чёмъ каждая вѣрующая душа въ отдѣльности, и всѣ вмѣстѣ, полагаютъ основаніе духовнаго бытія своего и связываютъ себя съ вѣчностью. Есть такія глубины, до которыхъ государственная власть не можетъ и не должна касаться, чтобы не возмутить коренныхъ источниковъ вѣрованія въ душѣ у всѣхъ и каждого.

Главнымъ источникомъ возникшихъ и грозящихъ еще усилиться недоразумѣній между народомъ и правительствами служитъ искусственно созданная теорія отношений между государствомъ и Церковью. Въ историческомъ ходѣ событий на западѣ Европы, неразрывно связанныхъ съ развитиемъ римско-католической церкви, сложилось и воплощено систему государственного устройства понятіе о Церкви, какъ обѣ учрежденіи духовно-политическомъ, со властью, которая, вступивъ въ противоположеніе съ государствомъ, предприняла съ нимъ борьбу политическую; событиями этой борьбы занято все поле исторіи на западѣ Европы. Изъ-за этого политического значенія Церкви отошло на задний планъ и померкло въ сознаніи государственномъ простое, истинное, природное понятіе о Церкви, какъ о собраціи христіанъ, органически связанныхъ единствомъ вѣрованія въ союзъ богоучрежденій. Это понятіе таится, однако, въ глубинѣ народнаго сознанія, соотвѣтствуя самой кореннѣй и глубочайшей потребности души человѣческой — потребности вѣрованія и единенія въ вѣрѣ. Въ этомъ смыслѣ Церковь, какъ общество вѣрующихъ, не отдѣляется и не можетъ отдѣлять себя отъ государства, какъ общества соединенного въ гражданскій союзъ. До какого бы совершенства ни достигло въ умѣ логическое построеніе отношений, на раздѣленіи основанныхъ, между государствомъ и Церковью, имъ не удовлетворится простое сознаніе въ массѣ

вѣрующаго народа. Удовлетворенъ можетъ быть умъ политической, какъ наилучшею формою сдѣлки, какъ совершенѣйшеею философскою конструкцией понятій; но въ глубинѣ духа, ощущающаго живую потребность вѣры и единства вѣры съ жизнью, это искусственное построение не отзывается истинною. Жизнь духовная ищетъ и требуетъ выше всего *единства* духовнаго, и въ немъ полагаетъ *идеалъ бытія* своего; а когда душѣ показываютъ этотъ идеалъ въ *раздвоеніи*, она не принимаетъ такого идеала и отвращается. Вѣрованіе,—по свойству своему безусловное, не терпить ничего условнаго въ своей идеальной конструкціи. Правда, что въ дѣйствительности жизнь всѣхъ и каждого есть непрерывная исторія паденія и раздвоенія—печального раздвоенія между идеей и дѣломъ, между вѣрой и жизнью; но въ этой непрерывной борьбѣ духъ человѣческій держится въ равновѣсіи не инымъ чѣмъ, какъ вѣрою въ идеальное, конечное единство, и дорожитъ такою вѣрою, какъ первымъ и исконнымъ сокровищемъ бытія своего. Приведите человѣка въ сознаніе этого раздвоенія: онъ никнетъ и смиряется мыслью. Покажите ему конецъ раздвоенія, къ которому стремится духъ—онъ поднимаетъ голову, сознаетъ себя живущимъ и стремится впередъ съ вѣрою.—Но когда вы скажете ему, что жизнь сама по себѣ, а вѣра сама по себѣ, и это понятіе станете возводить въ теорію жизни,—душа не принимаетъ такого понятія, съ тѣмъ же отвращеніемъ, съ какимъ встрѣчаетъ мысль о конечномъ и рѣшительномъ уничтоженіи бытія.

Возразить, можетъ быть, что здѣсь дѣло идетъ о личномъ вѣрованіи. Но личное вѣрованіе не отдѣляется себѣ отъ вѣрованія церковнаго, такъ какъ существенная его потребность есть единеніе въ вѣрѣ, и этой потребности оно находитъ удовлетвореніе въ Церкви.

Въ Западной Европѣ издавна продолжается борьба Церкви съ государствомъ и государства съ Церковью. Послѣднее слово этой борьбы еще не сказано—и каково будетъ оно, еще неизвѣстно. Та и другая сторона мѣряетъ свои силы и скликаетъ свои дружины. Государство опирается на силы интеллигенціи, Церковь опирается на вѣрованіе народной массы и на сознаніе авторитета духовнаго. Нѣтъ сомнѣнія, что въ конечномъ результатѣ побѣда будетъ на той сторонѣ, па которой окажется дѣйствительное объединеніе глубокаго, жизненнаго вѣрованія. Государственной интеллигенціи предстоитъ во всякомъ случаѣ трудная задача—привлечь на свою сторону и соединить съ собою твердо—народное вѣрованіе. Но для того, чтобы привлечь вѣрованіе и слиться съ нимъ, нужно показать въ себѣ живую вѣру; одной интеллигенціи для этого недостаточно. *Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi.* Народное вѣрованіе чутко, и едва-ли можно обольстить его видомъ вѣрованія или увлечь въ сдѣлку вѣрованій: живая вѣра не допускаетъ сдѣлки, не признаетъ абсолютнаго господства разсудочной логики. Хотя къ вѣрованію обыкновенно примѣняется понятіе объ убѣжденіяхъ, но *убѣждение разсудка* нельзя смѣшать съ *убѣждениемъ вѣры*, и *сила умственная*, сила интеллигенціи и мышленія, весьма ошибается, если полагаетъ въ себѣ самой все нужное для *силы духовной*, независимо отъ вѣрованія, составляющаго самую сущность духовной силы.

Въ этомъ смѣшении понятій кроется для государства великая опасность въ борьбѣ съ Церковью. Когда, въ эпоху реформаціи, государственная власть въ Германіи становилась во главѣ движенія противъ старой церковной власти и вырабатывала новую организацію Церкви,—она обладала дѣйствительно духовною силою вѣрованія. Движеніе, къ ко-

торому присоединилась она, возникло въ массѣ народной, проникнутое глубокимъ, сосредоточеннымъ вѣрованіемъ: первые вожаки его, представляя въ себѣ высшую интеллигенцію тогданиаго общества, въ то же время горѣли огнемъ вѣры глубокой, объединившей ихъ съ народомъ. Итакъ, въ этомъ движениі сосредоточилась громадная духовная сила, которой должна была уступить, послѣ долголѣтней борьбы, вѣками утвердившаяся сила старого закона.

Нынѣ совсѣмъ другія обстоятельства. Со стороны государства произошло разъединеніе между вѣрованіемъ народнымъ и политическою конструкцией церковнаго отправленія, въ государственномъ сознаніи. Съ другой стороны, со стороны интеллигенціи, разъединеніе еще болѣе разительное между вѣрованіемъ и научною конструкцией вѣрованія. Богословская наука, не ограничиваясь первоначальною своею задачей—привести въ сознаніе и обнять общимъ взглядомъ церковныхъ вѣрованій, грозитъ уже поглотить въ себѣ всякое вѣрованіе, подчинивъ его безпощадному критическому анализу разума, какъ фактъ, какъ виѣшній предметъ изслѣдованія. Политическая наука построила строго выработанное ученіе о рѣшительномъ отдѣлении Церкви и государства, ученіе, вслѣдствіе коего, по закону не допускающему двойственнаго раздѣленія центральныхъ силъ, Церковь непремѣнно оказывается на дѣлѣ учрежденіемъ подчиненнымъ государству. Вмѣстѣ съ тѣмъ государство, какъ учрежденіе, въ политической идеѣ своей является отрѣшеннымъ отъ всякихъ вѣрованій и равнодушнымъ къ вѣрованію. Естественно, что съ этой точки зреянія Церковь представляется не инымъ чѣмъ, какъ учрежденіемъ удовлетворяющимъ одной изъ признаковыхъ государствомъ потребностей населенія—потребности религіозной, и повѣйшее государство обращается къ ней съ правомъ своей авторизаціи, своего надзора и

контроля, не заботясь о вѣрованіи. Для государства, какъ для верховнаго учрежденія политическаго, такая теорія привлекательна, потому что обѣщаетъ ему полную автономію, рѣшительное устраниеніе всякаго, даже духовнаго, противодѣйствія, и упрощеніе всѣхъ операций церковной его политики. Но такія обѣщианія обманчивы. Этой теоріи, сочиненной въ кабинетѣ министра и ученаго, народное вѣрованіе не приметъ. Во всемъ, что относится до вѣрованія, сознаніе народное успокаивается только на простомъ и цѣльномъ представлениі, объемлющемъ душу, и отвращается отъ искусственно составленныхъ понятій, когда чуетъ въ нихъ ложь или разладъ съ истиной. Такъ, напримѣръ, политическая теорія можетъ удобно мириться съ оставленіемъ въ должности и на церковной каѳедрѣ пастора, или профессора на богословской каѳедрѣ, который (явленіе, къ несчастью, ставшее уже обычнымъ въ Германіи) публично объявилъ, что не вѣруетъ въ Божество Спасителя; но совѣсть народная никогда не пойметъ такой конструкціи понятія о церковномъ пастырѣ и съ отвращеніемъ назоветъ ее ложью. Печально и ненадежно будетъ положеніе государственной власти, когда ея распоряженіе и дѣйствіе по предметамъ, относящимся до вѣры—совѣсть народная привыкнетъ ставить въ ложь и причитать къ безвѣрію.

II.

Объ отдѣленіи Церкви отъ государства прекрасно разсуждается бывшій патеръ Гіацнітъ, читавшій по этому предмету публичныя лекціи въ Женевѣ, весною 1873 года. Война на смерть съ Церковью—это мечта революціонной партіи,—по крайней мѣрѣ тѣхъ крайнихъ ея представите-

лей, которые въ политикѣ ставятъ себя якобинцами, а въ области религіозныхъ идей распространяютъ безбожіе и материализмъ. Ихъ служатъ орудіемъ — софизмъ и насилие. Всѣ уже потеряли къ нимъ довѣріе повсюду; они слѣпы и не въ силахъ вести борьбу, потому что все смѣшиваются въ своемъ противникѣ, ничего не различая, и преувеличиваютъ безъ мѣры его значеніе.

Французская революція поставила себѣ цѣлью обновить общество; но обновить его можно было только примѣненіемъ къ гражданскому обществу христіанскихъ началъ. Возникла борьба между революціей и римскою теократіей, причемъ революція смѣшила римскую теократію съ католическою церковью, со вселенствомъ, которое объемлетъ всѣхъ вѣрующихъ христіанъ, смѣшила съ Евангеліемъ и лицомъ Христа Спасителя. Итакъ война объявлена была не столько Риму, сколько царству Христову на землѣ. Въ христіанствѣ эти люди стали преслѣдоваться самое религіозное чувство, которое слилось уже въ теченіе 2,000 лѣтъ нераздѣльно съ христіанствомъ. Вотъ какого противника вызвали они на бой, вооружившись на него двоякимъ — низкимъ, опозореннымъ оружіемъ: сѣкирою палача и живымъ словомъ софиста.

Католическая религія во Франціи была не въ доброй славѣ, благодаря аббатамъ-вольнодумцамъ, наполнившимъ дворцовыя приемныя, благодаря извѣстной легкости нравовъ тогдашняго общества. Вдругъ ее будятъ, поднимаютъ, влекутъ въ темницы. Во имя ея всходятъ на эшафотъ священники, дѣви, поселяще, вмѣстѣ съ знатными дворянами, съ поэтами, съ государственными людьми — какъ было въ эпоху первыхъ цезарей. На ризахъ ея видна была кровь отъ Варѳоломеевской ночи, видны были слѣды родительскихъ и спиротскихъ слезъ, послѣ отмѣны Нантскаго эдикта; всѣ эти

слѣды вдругъ сгладились; ничего стало не видно за собственою ея кровью, за слѣдами собственныхъ ея слезъ. Вотъ почему, когда она послѣ того встала, то встала въ полномъ сіяніи славы, безъ всякихъ пятенъ. Это сіяніе приготовили для нея палачи ея.

Точно также дѣйствовали и софисты-философы. Они стали раскапывать вопросы, которые повѣйшая паука объявляетъ недоступными для рѣшенія; стали доискиваться въ таинствѣ смерти, и увидѣли въ немъ одну мечту и выдумку; стали углубляться въ происхожденіе человѣчества, и у колыбели его признали, вмѣсто библейскаго Адама изъ земли созданнаго, какое-то невѣдомое существо, медленно выдѣляющееся изъ животной жизни, выраждающееся сперва въ обезьяну, потомъ въ человѣка. И вотъ, поставивши этого человѣка и у начала его, и у исхода, въ сплошную среду животной жизни, унизивъ его до предѣловъ гніенія, они стали привѣтствовать его величіе: „Какъ ты великъ, человѣкъ, въ атеизмѣ и въ матеріализмѣ, и въ свободѣ самочинной,ничему не покоряющейся нравственности!“ Но посреди всего этого страннаго величія человѣкъ этотъ оказался подавленъ грустью. Онъ утратилъ Бога, но сохранилъ потребность религії. Такъ ощутительна эта потребность, что возможна, мы видимъ, религія даже безъ Бога; таковъ буддизмъ—религія, одушевляющая миллионы послѣдователей. И въ самомъ дѣлѣ, хотя бы и правда было,—что первый человѣкъ выродился изъ среды животной,—что миѣ въ томъ? Въ книгѣ Бытія указана еще грубѣе матерія, изъ которой созданъ человѣкъ—грязь и прахъ, персть земпал. Какая бы ни была то матерія,—развѣ въ ней, развѣ въ оболочки—весь человѣкъ? Опъ пріялъ отъ Создателя своего—живую душу, то дыханіе жизни религіозной и нравственной, отъ котораго не можетъ, когда бы и хо-

тѣль, отдѣлаться. Вотъ что не допуститъ его никогда отречься отъ христіанской религіи.

Проповѣдуется отдѣленіе Церкви отъ государства. Тутъ одни слова, но нѣть единой идеи, потому что подъ однимъ словомъ отдѣленія разумѣть можно многое. Пусть опредѣлять спачала, въ чемъ оно заключается. Если дѣло состоить въ болѣе точномъ разграничениіи гражданскаго общества съ обществомъ религіознымъ, церковнымъ, духовнаго со свѣтскимъ, о прямомъ и искреннемъ размежеваніи, безъ хитростей и безъ насилия,—въ такомъ случаѣ всѣ будутъ стоять за такое отдѣленіе. Если, становясь на практическую почву, хотятъ, чтобы государство отказалось отъ права поставлять пастырей Церкви и отъ обязанности содержать ихъ,—это будетъ идеальное состояніе, къ которому желательно перейти, которое нужно подготовлять къ осуществленію при благопріятныхъ обстоятельствахъ и въ законной формѣ. Когда вопросъ этотъ созрѣеть, государство, если захочетъ такъ решить его, обязано возвратить кому слѣдуетъ право выбора пастырей и епископовъ; въ такомъ случаѣ нельзя уже будетъ отдавать папѣ то, что принадлежитъ клиру и народу по праву историческому и апостольскому. Государство, въ сущности, только держитъ за собою это право, но оно не ему принадлежитъ.

Но говорятъ, что отдѣленіе надо разумѣть въ иномъ, обширнѣйшемъ смыслѣ. Умные, ученые люди опредѣляютъ его такъ: государству не должно быть дѣла до Церкви, и Церкви—до государства, итакъ человѣчество должно вращаться въ двухъ обширныхъ сферахъ, такъ что въ одной сфере будетъ пребывать тѣло, а въ другой—духъ человѣчества, и между обѣими сферами будетъ пространство такое же, какое между небомъ и землею. Но развѣ это возможно? Тѣло нельзя отдѣлить отъ духа; и духъ и тѣло живутъ единою жизнью.

Можно ли ожидать, чтобы Церковь — не говорю уже католическая, а церковь какая бы то ни была — согласилась устраниТЬ изъ сознанія своего гражданское общество, семейное общество, человѣческое общество — все то, что разумѣется въ словѣ: государство? Съ которыхъ порѣ положено, что Церковь существуетъ для того, чтобы образовывать аскетовъ, наполнять монастыри и выказывать въ храмахъ поэзію своихъ обрядовъ и процессій? Нѣтъ, все это — лишь малая часть той дѣятельности, которую Церковь ставитъ себѣ цѣлью. Ей указано иное званіе: *научите вся языки*. Вотъ ея дѣло. Ей предстоитъ образовывать на землѣ людей для того, чтобы люди, среди земного града и земной семьи, содѣлались не совсѣмъ недостойными вступить въ градъ небесный и въ небесное общеніе. При рожденіи, при бракѣ, при смерти — въ самые главные моменты бытія человѣческаго, Церковь является съ тремя торжественными таинствами,— а говорять, что ей нѣтъ дѣла до семейства! На нее возложено внушить народу уваженіе къ закону и къ властямъ, внушить власти уваженіе къ свободѣ человѣческой,— а говорять, что ей нѣтъ дѣла до общества!

Нѣтъ,— нравственное начало единое. Оно не можетъ двоиться, такъ чтобы одно было нравственное ученіе частное, другое общественное; одно — свѣтское, другое — духовное. Единое нравственное начало обѣмлетъ всѣ отношенія — частныя, домашнія, политическія, и Церковь, хранящая сознаніе своего достоинства, никогда не откажется отъ своего законного вліянія, въ вопросахъ, относящихся и до семьи, и до гражданского общества. Итакъ, требуя отъ Церкви, чтобы ей дѣла не было до гражданского общества, ей придаютъ лишь новую силу.

Говорятъ: государству пѣтъ дѣла до Церкви. Подъ первоначальнымъ семейственнымъ устройствомъ образовалось

гражданское общество и каждого начальника семьи сдѣлало гражданиномъ; въ ту пору общество вѣрующихъ не отличалось еще отъ семьи, отъ цѣлаго народа. Съ теченiemъ времени усовершилось устройство гражданского общества и основалось вселенское христіанство, объемлющее въ себѣ и семейства, и народы. Какъ сказать теперь отцу, гражданину: ты самъ по себѣ, а Церковь сама по себѣ? На бѣду и отецъ, и гражданинъ уже давно сами себѣ это сказали. Отецъ сталъ равнодушенъ къ религіозному сознанию и направлению въ семейной средѣ своей. У него пѣтъ отвѣта, когда жена обращается къ нему съ своими сомнѣніями, когда его ребенокъ въ дѣтской простотѣ спрашиваетъ: что такое Богъ? И отчего ты Ему не молишься? И что такое смерть, которая ко всѣмъ приходитъ и дѣтей уносить? Когда отцу отвѣтить нечего на эти вопросы, какъ отвѣчаетъ на нихъ самъ ребенокъ въ умѣ своемъ? И если у отца найдется отвѣтъ, въ немъ слышится ребенку какая-то сказка,—а не слышится голосъ живой вѣры, той вѣры, за которую умереть готовъ человѣкъ. И вотъ, изъ ребенка выходитъ такой же скептикъ, какимъ былъ отецъ, или суевѣръ, на подобіе матери или ея духовника-патера. Вотъ какъ отражается въ семействѣ раздѣленіе государства съ Церковью, и на мѣсто отца вводится въ домъ священникъ, извиѣ пришедшій, въ качествѣ духовнаго руководителя, владыка совѣсти, подъ видомъ учителя. Виноваты и священники, безъ сомнѣнія,—но еще виновнѣе сами отцы, потому что они допустили священника стать у домашняго очага на ихъ мѣсто. Когда такъ, пусть не дивятся граждане и гражданскія власти, если когда-нибудь возвѣденное ими зданіе рухнетъ и ихъ задавитъ обломками. Вотъ куда ведетъ отлученіе государства отъ сознанія Церкви!

III.

Когда въ началѣ 40-хъ годовъ Прусскому Королю допесено было, что иѣкоторые Берлинскіе жители вышли изъ христіанской Церкви, онъ удивился и спросилъ съ улыбкой: къ какой же церкви хотятъ они причислиться? Этотъ вопросъ потерялъ уже нынче на западѣ Европы всякое значеніе. Въ то время казалось — кто выходитъ изъ христіанской Церкви, точно оставляетъ твердую почву и виситъ гдѣто на воздухѣ. Нынче это уже не воздухъ, а твердая почва — быть безъ всякой религіи.

Когда бы кто въ средніе вѣка объявилъ, что онъ отрекается отъ всякой вѣры, его сочли бы за безумца и притомъ столь отвратительного и опаснаго, что предали бы его сожженію.

Въ то время не было мѣста гражданину невѣрующему, но могли быть вѣрующіе, лишенные правъ гражданства — бродяги, безправные люди, коимъ государство отказывало въ законной защитѣ, такъ что имъ приходилось ставить себя подъ защиту феодального владѣльца, одного изъ тѣхъ могущественныхъ вассаловъ, которые, не подчиняясь государственной власти, могли вступать въ борьбу со своимъ феодальнымъ владыкою.

Въ паше время кто рѣшился бы объявить себя свободнымъ отъ государственной власти, не платить податей, не несть воинской повинности, никого не слушать и не подчиняться никому, быть самому себѣ государствомъ, — такого человѣка объявили бы безумцемъ, — какимъ считался безвѣрный въ средніе вѣка, только не предали бы его сожженію, но принудили бы его или подчиниться государству или уходить изъ государства воинъ. Онъ ушелъ бы въ другое государство,

гдѣ бы также или привели бы его въ послушаніе или выгнали воинъ.

Стало быть: нынѣ можемъ мы свободно уклониться оть религіи и оть Церкви, но оть государства уклониться не можемъ. Государство обеспечиваетъ намъ полноту общественной жизни, а Церковь уже не господствуетъ надъ общественною жизнью такъ, какъ прежде господствовала. Наше время отличается стремлениемъ привлечь всѣ отношения къ государственной власти; а когда бы Церковь хотя на половину того предприняла привлечь къ себѣ общественные отношения, она встрѣтила бы со всѣхъ сторонъ препятствія и противодѣйствія.

Не взирая на всякия свободы, повсемѣстно провозглашаемыя, мы стремимся во всемъ подъ власть государства. Мы требуемъ законовъ, мѣръ правительства для всякаго значительного проявленія нашей общественной жизни; многіе формально требуютъ сосредоточенія и единообразнаго устройства индивидуальной жизни посредствомъ государства. Чуть у кого жметъ сапогъ на ногѣ,— слышишь крикъ—государство должно вступиться; гдѣ двое—трое жалуются на тяготу, шлеется жалоба, просьба къ правительству. Въ прежнее время обращались бы можетъ быть къ Церкви. Мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться въ общественной, а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться въ государствѣ и быть управляема государствомъ, это главная движущая идея соціализма, а какъ эта мысль въ ясномъ или неясномъ представлениі угнѣздилась даже въ самыхъ крѣпкихъ умахъ, то и самый простой заурядный человѣкъ безсознательно чѣмъ-нибудь пріобщается къ соціалистамъ.

Нельзя не признать, что измѣнилось и самое отношение Церкви къ обществу вѣрующихъ, составляющему союзъ церковный. Нынѣ и они не могли бы примириться съ возста-

новленіемъ старинныхъ отношеній Церкви къ ея чадамъ, со вмѣшательствомъ ея въ частную и семейную жизнь, въ общественный бытъ и въ политику, и въ экономію общества. Государство издастъ нынѣ законъ за закономъ: Церкви нынѣ не приходится не только объявлять новые догматы, но и настаивать столь же формально и строго, какъ прежде, на истолкованіи и примѣненіи своихъ ученій.

Итакъ, повидимому, безсильна стала Церковь, въ сравненіи съ возрастающимъ до громадныхъ размѣровъ могуществомъ государства. Однако на дѣлѣ не то выходитъ, ибо Церковь опирается на духовныя силы въ народѣ. (Риль).

IV.

Самая древняя и самая извѣстная система отношеній между Церковью и государствомъ есть система установленной или государственной церкви. Государство признаетъ одно вѣроисповѣданіе изъ числа всѣхъ истиннымъ вѣроисповѣданіемъ и одну церковь исключительно поддерживаетъ и покровительствуетъ, къ предосужденію всѣхъ остальныхъ церквей и вѣроисповѣданій. Это предосужденіе означаетъ вообще, что всѣ остальные церкви не признаются истинными или вполнѣ истинными; но практически выражается оно въ неодноковой формѣ, со множествомъ разнообразныхъ оттенковъ, и отъ непризнанія и отчужденія доходитъ иногда до преслѣдованія. Во всякомъ случаѣ, при дѣйствіи этой системы чужія исповѣданія подвергаются нѣкоторому, болѣе или менѣе значительному уменьшению въ чести, въ правѣ и преимуществѣ, сравнительно со своимъ, съ господствующимъ исповѣданіемъ. Государство не можетъ быть представителемъ однихъ материальныхъ интересовъ общества; въ такомъ слу-

чай оно само себя лишило бы духовной силы и отрѣшилось бы отъ духовнаго единенія съ пародомъ. Государство тѣмъ сильнѣе и тѣмъ болѣе имѣеть значенія, чѣмъ явственнѣе въ немъ обозначается представительство духовное. Только подъ этимъ условиемъ поддерживается и укрѣпляется въ средѣ народной и въ гражданской жизни чувство законности, уваженіе къ закону и довѣріе къ государственной власти. Ни начало цѣлости государственной или государственного блага, государственной пользы, ни даже начало нравственное—сами по себѣ недостаточны къ утвержденію прочной связи между народомъ и государственною властью; и нравственное начало неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда отрѣшается отъ религіозной санкціи. Этой центральной, собирательной силы безъ сомнѣнія лишено будетъ такое государство, которое, во имя беспристрастнаго отношенія ко всѣмъ вѣрованіямъ, само отрекается отъ всякаго вѣрованія—какого бы то ни было. Довѣріе массы народа къ правителямъ осправдано на вѣрѣ, т.-е. не только на единовѣрїи народа съ правительствомъ, но и на простой увѣренности въ томъ, что правительство имѣеть вѣру и по вѣрѣ дѣйствуетъ. Поэтому, даже язычники и магометане больше имѣютъ довѣрія и уваженія къ такому правительству, которое стоитъ на твердыхъ началахъ вѣрованія—какого бы то ни было, нежели къ правительству, которое не признаетъ своей вѣры и ко всѣмъ вѣрованіямъ относится одинаково.

Таково неоспоримое преимущество этой системы. Но съ течениемъ вѣковъ измѣнились обстоятельства, при коихъ эта система получила свое начало, и возникли новые обстоятельства, при коихъ ся дѣйствіе стало затруднительнѣе прежняго. Въ ту пору, когда заложены были первыя основанія европейской цивилизаціи и политики, христіансское государство было брѣнко цѣльнымъ и неразрывнымъ союзомъ

съ единою христіанскою Церковью. Потомъ, въ средѣ самой христіанской Церкви первоначальное единство разбилося па многообразные толки и разновѣрія, изъ коихъ каждое стало присвоивать себѣ значеніе единаго истиннаго ученія и единой истинной Церкви. Такимъ образомъ, государству пришлось имѣть передъ собою не сколько разновѣрныхъ учений, между коими распредѣлилась по времени масса народная. Съ нарушеніемъ единства и цѣльности въ вѣрованіи можетъ настать такая пора, когда господствующая Церковь, поддерживаемая государствомъ, оказывается церковью незначительного меньшинства, и сама ослабѣваетъ въ сочувствіи или вовсе лишается сочувствія массы народной. Тогда могутъ наступить важныя затрудненія въ опредѣленіи отношений между государствомъ съ его Церковью и церквами, къ коимъ принадлежитъ народное большинство.

V.

Съ конца 18 столѣтія начинается на Западѣ Европы поворотъ отъ старой системы къ системѣ *уравненія* христіанскихъ искновѣданій въ государствѣ, съ устраниеніемъ однако отъ этого равенства сектантовъ и евреевъ. Государство признаетъ христіанство за существенное основаніе бытія своего и общественного благоустройства, и принадлежность къ той или другой церкви, къ тому или иному *вѣрованію* — обязательна для каждого гражданина.

Съ 1848 года измѣняется существенно это отношение государства къ Церкви: нахлынувшія волны либерализма прорываютъ старую плотину и угрожаютъ ниспровергнуть древнія основы христіанской государственности. Провозглашается — освобожденіе государства отъ Церкви — до Церкви

ему дѣла иѣть. Провозглашается и отрѣшеніе Церкви отъ государства: всякий воленъ вѣровать какъ угодно или—и во что не вѣровать. Символомъ этой доктрины служатъ основные начала (Grundrechte), провозглашенныя Франкфуртскимъ Парламентомъ 184^{8/9} года. Хотя они и перестали вскорѣ считаться действующимъ законодательствомъ, но послужили и служатъ донынѣ идеаломъ для проведения либеральныхъ началъ въ повѣйтія законодательства Западной Европы. Сообразно съ ними образуется оно пынѣ по-всюду. Политическая и гражданская права отрѣшаются отъ вѣрованія и отъ принадлежности къ той или иной церкви и сектѣ. Государство никого не спрашиваетъ о вѣрѣ. Отъ Церкви отрѣшаются и заключеніе брака, и веденіе актовъ гражданского состоянія. Провозглашается полная свобода смѣшанныхъ браковъ, а церковное начало неразрывности брака нарушается облегченіемъ развода, отрѣшенаго отъ судовъ церковныхъ.

Въ виду всѣхъ этихъ измѣнений,—достигающихъ въ нынѣшней офиціальной Франціи до отрицанія вѣры и до насилия надъ церковнымъ вѣрованіемъ, позволительно спросить: можно ли новѣйшее государство признать государствомъ христіанскимъ? Но здѣсь открывается та же непослѣдовательность, какую видимъ въ отдѣльномъ лицѣ, когда опо, отрекшись отъ христіанства, въ то же время ведеть жизнь, въ которой отражаются всѣ христіанская начала. Подобно тому видимъ, что и новѣйшее государство—отрекаясь отъ органическаго союза съ христіанской Церковью, не можетъ обойтись безъ формъ и обрядовъ, предполагающихъ христіанское вѣрованіе. Церкви со своими служителями получаютъ содержаніе изъ государственного бюджета, общественные учрежденія, военные полки снабжаются духовными паста-вниками, христіанские праздники удерживаютъ значеніе празд-

никовъ гражданскихъ; въ службѣ государственной, въ судахъ присяга сохраняетъ свою обязательную силу. Въ Германіи нѣть уже государственной Церкви, однако главѣ государственной власти принадлежитъ верховенство (*Kirchenhoheit*) въ церкви Евангелической, и государству въ парламентѣ и во всѣхъ дѣлахъ общественныхъ приходится считаться съ партіями того или иного вѣроисповѣданія. Въ Англіи, при уравненіи вѣроисповѣданій на либеральныхъ началахъ, не только король, но и важнѣйшіе государственные сановники должны обязательно принадлежать къ Англиканской церкви. Съвероамериканскій союзъ есть страна религіознаго равенства. Ко всякой отдельной церкви, ко всякому религіозному обществу государство относится не иначе какъ къ частной корпораціи. Въ школахъ, завѣдываемыхъ государствомъ, не допускается обученіе Закону Божію и обязательное чтеніе Библіи. И при всемъ томъ конгрессъ открываетъ свои засѣданія молитвою, при участіи духовнаго лица. Духовныя лица содержатся государствомъ при арміи и флотѣ. Президентъ объявляетъ отъ времени до времени установленные дни благодарственные и покаянныя. Святость воскреснаго дня охраняется строгимъ закономъ. Въ нѣкоторыхъ штатахъ установлены строгія наказанія за божбѹ и богохуленіе.

Не слѣдуетъ ли изъ этого, что государство безвѣрное есть не что иное, какъ утопія невозможная къ осуществленію, ибо безвѣріе есть прямое отрицаніе государства. Религія, и именно христіанство, есть духовная основа всякаго права въ государственномъ и гражданскомъ быту и всякой истинной культуры. Вотъ почему мы видимъ, что политическія партіи самыя враждебныя общественному порядку, партіи радикально отрицающія государство, провозглашаютъ впереди всего, что религія есть одно лишь личное, частное дѣло, одинъ лишь личный и частный интересъ.

VI.

Система „свободной церкви въ свободномъ государствѣ“ основана, покуда, па отвлеченныхъ началахъ, теоретически; въ основание ея положено не начало вѣры, а начало религіознаго индифферентизма, или равподушія къ вѣрѣ, и она поставлена въ необходимую связь съ ученіями, проповѣдующими нерѣдко не терпимость и уваженіе къ вѣрѣ, по явное или подразумѣваемое пренебреженіе къ вѣрѣ, какъ къ прои-денному моменту психическаго развитія въ жизни личной и національной. Въ отвлеченномъ построеніи этой системы, составляющей плодъ новѣйшаго раціонализма, Церковь представляется тоже отвлеченно построеннымъ политическимъ учрежденіемъ, съ извѣстною цѣлью, или частнымъ обществомъ для извѣстной цѣли устроеннымъ, подобно другимъ, признаннымъ въ государствѣ, корпораціямъ. Созпаніе этой самой цѣли представляется тоже отвлеченнымъ, ибо на немъ отражаются многообразные оттѣнки связанныхъ съ тѣмъ или другимъ ученіемъ представленій о вѣрѣ, начиная съ отвлеченаго уваженія къ вѣрѣ, какъ къ высшему моменту психической жизни, до фанатическаго презрѣнія къ вѣрованію, какъ къ низшему моменту и къ началу вреда и разложенія. Такимъ образомъ, въ самомъ построеніи этой системы съ первого взгляда оказывается двойственность и неясность основныхъ началъ и представлений.

Чтобъ можетъ выйти изъ этой системы на практикѣ — это выяснится опытомъ вѣковъ и поколѣній. Покуда мы имѣемъ передъ собою опытъ — почти ничтожный, если сравнить его съ опытомъ многихъ вѣковъ, въ теченіи коихъ первая система дѣйствовала и дѣйствуетъ. Но не трудно предвидѣть заранѣе, что дѣйствіе новой системы не можетъ быть послѣдовательно, такъ какъ она не согласуется съ первыми

потребностями и условіями человѣческой природы, какъ бы категорически ни выводилось отвлеченнымъ ученіемъ правило: „всѣ церкви и всѣ вѣрованія равны; все равно, что одна вѣра, что другая“,—стъ этимъ положеніемъ, въ дѣйствительности, для себя лично, не можетъ согласиться безусловно ни одна душа, хранящая въ глубинѣ своей и испытывающая потребность вѣры. Такая душа непремѣнно отвѣтить себѣ: „Да, всѣ вѣры равны, но моя вѣра для меня лучше всѣхъ“. Положимъ, что сегодня провозглашено будетъ въ государствѣ самое строгое и точное уравненіе всѣхъ церквей и вѣрованій передъ закопомъ. Завтра же окажутся признаки, по которымъ можно будетъ заключить, что относительная спла вѣрованій совсѣмъ не равная; пройдетъ 30, 50 лѣтъ со времени законного уравненія церквей—и тогда обнаружится на самомъ дѣлѣ, можетъ быть, слишкомъ неожиданно для отвлеченного представленія, что въ числѣ церквей есть одна, которая въ сущности пользуется преобладающимъ вліяніемъ и господствуетъ надъ умами и рѣшеніями,—или потому, что она ближе къ церковной истинѣ, или потому, что ученіемъ или обрядами болѣе соотвѣтственна съ народнымъ характеромъ, или потому, что организація ея и дисциплина совершиеннѣе и даетъ ей болѣе способовъ къ систематической дѣятельности, или потому, что въ средѣ ея возникло болѣе живыхъ и твердыхъ вѣрою дѣятелей. Примѣровъ этому есть уже немало. Великобританскимъ законодательствомъ установлено уравненіе церквей въ Ирландіи. Но развѣ изъ этого слѣдуетъ, что церкви равны? Въ сущности, римско-католическая церковь, именно съ минуты законного уравненія, получила полную возможность распространять и утверждать во всей странѣ свое преобладающее вліяніе не только на отдѣльные умы, но на всѣ политическія учрежденія въ странѣ—на суды, на администрацію, на школы.

Съверо-американскій Союзъ поставилъ основнымъ условіемъ своего устройства — не имѣть никакого дѣла до вѣры. Послѣдствіемъ такого юридического состоянія выходитъ на дѣлѣ, что преобладающею церковью въ Соединенныхъ Штатахъ становится мало-по-малу римское католичество. Въ Съверной Америкѣ пользуется оно такою свободою преобладанія, какой не имѣть ни въ одномъ европейскомъ государствѣ. Не стѣсняясь никакимъ отношеніемъ къ государству, не подвергаясь никакому контролю, папа распредѣляетъ въ Съверной Америкѣ епархіи, назначаетъ епископовъ, основываетъ во множествѣ духовные ордена и монастыри, окидываетъ всю территорію мало-по-малу частою сѣтью церковныхъ агентовъ и учрежденій. Захватывая подъ свое вліяніе массы католиковъ, ежегодно увеличивающіяся съ прибытіемъ новыхъ эмигрантовъ, папство считаетъ уже нынѣ свою — цѣлую четверть всего населенія, въ виду отдѣльныхъ трехъ четвертей, разбитыхъ на множество сектъ и толковъ. Католическая церковь, пользуясь всѣми средствами обходить законъ, умножила свои недвижимыя имущества до громадныхъ размѣровъ. Въ ея рукахъ и подъ ея вліяніемъ состоять уже во многихъ штатахъ цѣлые управлениія, политического свойства. Въ иныхъ большихъ городахъ все городское управлениѣ зависитъ исключительно отъ католиковъ. Католическая церковь располагаетъ миллионами голосовъ въ такомъ государствѣ, где отъ счета голосовъ зависитъ все направленіе внешней и внутренней политики. Ко всѣмъ этимъ явленіямъ государство относится покуда равнодушно, съ высоты своего принципа уравненія церквей и религіознаго равнодушія. Но послѣдующія события покажутъ, долго ли можетъ устоять и въ Съверо-американскомъ Союзѣ новая, излюбленная теорія.

Защитники ея говорятъ еще покуда: что за дѣло государству до неравенствъ, возникающихъ не въ силу привилегій

или законныхъ ограниченийъ, а вслѣдствіе внутренней силы или внутренняго безсилія каждой корпораціи? Законъ не можетъ предупредить такого неравенства.

Но это значитъ обходить затрудненіе, разрѣшалъ его лишь въ теоріи. На бумагѣ возможно все примирить, все привести въ стройную систему. На бумагѣ можно отличить опредѣленною чертою и разграничить область политической дѣятельности отъ духовнонравственной. На самомъ дѣлѣ не то. Людей невозможно считать только умственными машинами, располагая ими такъ, какъ располагаетъ полководецъ массами солдатъ, когда составляетъ планъ баталіи. Всякій человѣкъ вмѣщаетъ въ себѣ міръ духовно-нравственной жизни; изъ этого міра выходятъ побужденія, опредѣляющія его дѣятельность во всѣхъ сферахъ жизни, а главное, центральное изъ побужденій проистекаетъ отъ вѣры, отъ убѣжденія въ истинѣ. Только теорія, отрѣпленная отъ жизни, или не хотящая знать ея, можетъ удовольствоваться ироническими вопросомъ: *что есть истина?* У всѣхъ и у каждого вопросъ этотъ стоитъ въ душѣ основнымъ, серьезнѣйшимъ вопросомъ *цѣлой* жизни, требуя *не отрицательного, а положительного* отвѣта.

Итакъ *свободное государство* можетъ положить, что ему пѣтъ дѣла до *свободной церкви*; только свободная церковь, если она подлинно основана на вѣрованіи, не приметъ этого положенія и не станетъ въ равнодушное отношеніе къ *свободному государству*. Церковь не можетъ отказаться отъ своего вліянія на жизнь гражданскую и общественную; и чѣмъ она дѣятельнѣе, чѣмъ болѣе ощущаетъ въ себѣ внутренней, дѣйственной силы, тѣмъ менѣе возможно для нея равнодушное отношеніе къ государству. Такого отношенія Церковь не приметъ, если вмѣстѣ съ тѣмъ не отречется отъ своего божественнаго призванія, если хранить вѣру въ него

и сознаніе долга, съ нимъ связанныаго. На Церкви лежитъ долгъ учительства и наставленія, Церкви принадлежитъ совершение таинствъ и обрядовъ, изъ коихъ некоторые соединяются съ важнѣйшими актами и гражданской жизни. Въ этой своей дѣятельности Церковь, по необходимости, безпрестанно входитъ въ соприкосовеніе съ общественною и гражданскою жизнью (не говоря о другихъ случаяхъ, достаточно указать на вопросы брака и воспитанія). Итакъ, въ той мѣрѣ, какъ государство, отдѣляя себя отъ Церкви, предоставляетъ своему вѣданію исключительно гражданскую часть всѣхъ такихъ дѣлъ и устраниетъ отъ себя вѣданіе духовно-правственной ихъ части, Церковь по необходимости вступитъ въ отправленіе, покинутое государствомъ, и, въ отдѣленіи отъ него, завладѣеть мало-по-малу вполнѣ и исключительно тѣмъ духовно-правственнымъ влияніемъ, которое и для государства составляетъ необходимую, дѣйствительную силу. За государствомъ останется только сила материальная и, можетъ быть, еще разсудочная, но и той и другой недостаточно, когда съ ними не соединяется сила вѣры. Итакъ, мало-по-малу, вмѣсто воображаемаго уравненія отправленій государства и Церкви въ политическомъ союзѣ, окажется неравенство и противоположеніе. Состояніе, во всякомъ случаѣ, ненормальное, которое должно привести или къ дѣйствительному преобладанію Церкви надъ преобладающимъ, повидимому, государствомъ, или къ революціи.

Вотъ какія дѣйствительныя опасности скрываетъ въ себѣ прославляемая либералами-теоретиками система рѣнидельного отдѣленія Церкви отъ государства. Система господствующей или установленной церкви имѣетъ много недостатковъ, соединяя со множествомъ неудобствъ и затруднепій, не исключаетъ возможности столкновеній и борьбы. Но напрасно полагаютъ, что она отжила уже свое время, и что

формула Кавура одна даетъ ключъ къ разрѣшенію всѣхъ трудностей трудишаго изъ вопросовъ. Формула Кавура есть плодъ политического доктринерства, которому вопросы вѣры представляются только политическими вопросами объ уравновѣшеніи правъ. Въ ней нѣтъ глубины духовнаго вѣданія, какъ не было ея въ другой знаменитой политической формулѣ: *свободы, равенства и братства*, донынѣ тяготѣющей надъ легковѣрными умами роковымъ бременемъ. И здѣсь, также какъ тамъ, страстные провозвѣстники свободы ошибаются, полагая *свободу* въ *равенство*. Или еще мало было горькихъ опытовъ къ подтвержденію того, что свобода не зависитъ отъ равенства, и что равенство совсѣмъ не свобода? Такимъ же заблужденіемъ было бы предположить, что въ *уравненіи* церквей и вѣрованій передъ государствомъ состоится и отъ уравненія зависитъ самая *свобода* вѣрованія. Вся исторія послѣдняго времени доказываетъ, что и здѣсь свобода и равенство не одно и то же, и что свобода совсѣмъ не зависитъ отъ равенства.





Новая демократія.

I.

Что такое *свобода*, изъ-за которой такъ волнуются умы въ наше время, столько совершается безумныхъ дѣлъ, столько говорится безумныхъ рѣчей, и народъ такъ бѣдствуетъ? Свобода, въ смыслѣ демократическомъ, есть право власти политической, или, иначе сказать, право участвовать въ правлѣніи государствомъ. Это стремленіе всѣхъ и каждого къ участію въ правлѣніи не находитъ себѣ до сихъ поръ вѣрного исхода и твердыхъ границъ, но постоянно расширяется, и про него можно сказать, что сказано древнимъ поэтомъ про водяную болѣзнь: „crescit indulgens sibi“. Расширяя свое основаніе, повѣйшая демократія ставитъ ближайшее себѣ цѣлью всеобщую подачу голосовъ — вотъ роковое заблужденіе, одно изъ самыхъ поразительныхъ въ исторіи человѣчества. Политическая власть, которой такъ страстно добивается демократія, раздробляется въ этой формѣ на множество частицъ, и достояніемъ каждого гражданина становится *безконечно малая* доля этого права. Что онъ съ нею сдѣласть, куда употребить ее? Въ результатѣ несомнѣнно оказывается, что въ достижениіи этой цѣли демократія оболживила свою священную

формулу *свободы*, нераздѣльно соединенной съ *равенствомъ*. Оказывается, что съ этимъ, повидимому, уравновѣшеннymъ распределенiemъ *свободы* между всѣми и каждымъ соединяется полг҃ѣйшее нарушение равенства, или сущее *неравенство*. Каждый голосъ, представляя собою ничтожный фрагментъ силы, самъ по себѣ ничего не значитъ; относительное значение можетъ имѣть только пѣкоторое число, или группа голосовъ. Происходитъ явленіе, подобное тому, что бываетъ въ собраніи безымянныхъ или акціонерныхъ обществъ. Единицы сами по себѣ безсильны; но тотъ, кто съумѣетъ прибрать къ себѣ самое большое количество этихъ фрагментовъ силы, становится господиномъ силы, слѣдовательно господиномъ правленія и рѣшителемъ воли. Въ чёмъ же, спрашивается, дѣйствительное преимущество демократіи передъ другими формами правленія? Повсюду, кто оказывается сильнѣе, тотъ и становится господиномъ правленія: въ одномъ случаѣ—счастливый и рѣшительный генералъ, въ другомъ—монархъ или администраторъ—съ умѣньемъ, ловкостью, съ яснымъ плапомъ дѣйствія, съ непреклонною волей. При демократическомъ образѣ правленія, правителями становятся ловкие подбиратели голосовъ, съ своими сторонниками, механики, искусно орудующіе закулисными пружинами, которыя приводятъ въ движение куколъ на аренѣ демократическихъ выборовъ. Люди этого рода выступаютъ съ громкими рѣчами о равенствѣ, но въ сущности любой деспотъ или военный диктаторъ въ такомъ-же, какъ и они, отношеніи *господства* къ гражданамъ, составляющимъ пародъ. Расширение правъ на участіе въ выборахъ демократія считаетъ прогрессомъ, завоеваніемъ свободы; по демократической теоріи выходитъ, что чѣмъ большее множество людей призываются къ участію въ политическомъ правѣ, тѣмъ болѣе вѣроятность, что *всѣ* воспользуются этимъ правомъ въ интересѣ общаго блага для *всѣхъ*,

и для утверждения всеобщей свободы. Опытъ доказываетъ совсѣмъ противное. Исторія свидѣтельствуетъ, что самая существенная, плодотворная для народа и прочная мѣры и преобразованія исходили — отъ центральной воли государственныхъ людей или отъ меньшинства, просвѣтленнаго высокою идеей и глубокимъ знаніемъ; напротивъ того, съ расширениемъ выборнаго начала происходило притирание государственной мысли и вульгаризация мнѣнія въ массѣ избирателей; что расширеніе это — въ большихъ государствахъ — или вводилось съ тайными цѣлями сосредоточенія власти, или само собою приводило къ диктатурѣ. Во Франціи всеобщая подача голосовъ отмѣнена была въ концѣ прошлаго столѣтія съ прекращеніемъ торрора; а послѣ того возстановляема была дважды для того, чтобы утвердить на ней — самовластіе двухъ Наполеоновъ. Въ Германіи введеніе общей подачи голосовъ имѣло несомнѣнною цѣлью — утвердить центральную власть знаменитаго правителя, пріобрѣтшаго себѣ великую популярность громадными успѣхами своей политики... Что будетъ послѣ него, одному Богу извѣстно.

Игра въ собраніе голосовъ подъ знаменемъ демократіи составляетъ въ наше время обыкновенное явленіе во всѣхъ почти Европейскихъ государствахъ — и передъ всѣми, кажется, обнаружилась ложь ея; однако никто не смѣетъ явно возстать противъ этой лжи. Несчастный народъ несетъ тяготу; а газеты — глашатаи минимаго общественнаго мнѣнія — заглушаютъ воипль народный своимъ кликомъ: „велика Артемида Ефесская“! Но для непредубѣжденнаго ума ясно, что вся эта игра не что иное, какъ борьба и свалка партій и подтасовываніе чиселъ и именъ. Голоса, — сами по себѣ ничтожныя единицы, — получаютъ цѣну въ рукахъ ловкихъ агентовъ. Цѣниость ихъ реализуется разными способами, и прежде всего подкупомъ — въ самыхъ разнообразныхъ ви-

дахъ — отъ мелочныхъ подачекъ деньгами и вещами до раздачи прибыльныхъ мѣсть въ акцизѣ, финансомъ управлениі и въ администрації. Образуется мало-по-малу цѣлый контингентъ избирателей, привыкшихъ жить продажей голосовъ своихъ или своей агентуры. Доходитъ до того,— какъ напримѣръ во Франціи, что серьезные граждане, благоразумные и трудолюбивые, въ громадномъ количествѣ вовсе уклоняются отъ выборовъ, чувствуя совсѣмъ невозможность бороться съ шайкою политическихъ агентовъ. На ряду съ подкупомъ пускаются въ ходъ насилия и угрозы, организуется выборный терроръ, посредствомъ коего шайка проводитъ насилию своего кандидата:— известны бурные картины выборныхъ митинговъ, на коихъ пускается въ ходъ оружіе, и на полѣ битвы остаются убитые и раненые.

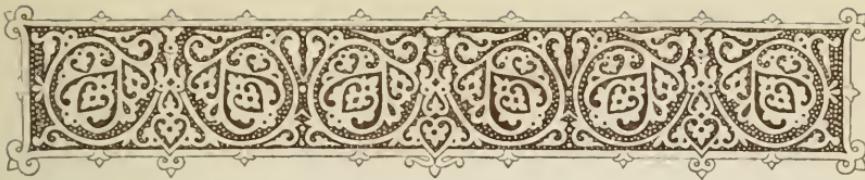
Организація партій и подкупъ — вотъ два могучія средства, которыя употребляются съ такимъ успѣхомъ для орудованія массами избирателей, имѣющими голосъ въ политической жизни. Средства эти не новыя. Еще Фукидидъ описываетъ рѣзкими чертами дѣйствіе этихъ средствъ въ древнихъ греческихъ республикахъ. Исторія Римской республики представляетъ поистинѣ чудовищные примѣры подкупа, составлявшаго обычное орудіе партій при выборахъ. Но въ наше время изобрѣтено еще новое средство тасовать массы для политическихъ цѣлей и соединять множество людей въ случайные союзы, возбуждая между ними минное согласіе мнѣній. Это средство, которое можно приравнять къ политическому передергиванію, состоитъ въ искусствѣ быстрого и ловкаго обобщенія ідей, составленія фразъ и формулъ, бросаемыхъ въ публику съ крайнею самоувѣренностью горячаго убѣжденія, какъ послѣднее слово науки, какъ догматъ политического ученія, какъ характеристику событий, лицъ и учрежденій. Считалось никогда, что умѣніе анализировать

факты и выводить изъ нихъ общее начало — свойственно немногимъ просвѣщеннымъ умамъ и высокимъ мыслителямъ; нынѣ оно считается общимъ достояніемъ, и общія фразы политического содержанія, подъ именемъ убѣжденій, стали какъ-бы ходячею монетой, которую фабрикуютъ газеты и политические ораторы.

Способность быстро схватывать и принимать на вѣру общіе выводы, подъ именемъ убѣжденій, распространилась въ массѣ и стала заразительною, особенно между людьми недостаточно или поверхностно образованными, составляющими большинство повсюду. Этюю наклонностью массы пользуются съ успѣхомъ политические дѣятели, пробивающіеся къ власти: искусство дѣлать обобщенія служитъ для нихъ самымъ подручнымъ орудіемъ. Всякое обобщеніе происходитъ путемъ *отвлеченія*: изъ множества фактовъ — одни, не идущіе къ дѣлу, устраняются вовсе, а другіе, подходящіе, группируются, и изъ нихъ выводится общая формула. Очевидно, что все достоинство, т. е. правдивость и вѣрность этой формулы, зависитъ отъ того, насколько имѣютъ рѣшительной важности тѣ факты, изъ коихъ она извлечена, и насколько ничтожны тѣ факты, кои при томъ устраниены какъ неподходящіе. Быстрота и легкость, съ которою дѣлаются въ наше время общіе выводы, — объясняется крайнею безцеремонностью въ этомъ процессѣ подбора подходящихъ фактовъ и ихъ обобщенія. Отсюда громадный успѣхъ политическихъ ораторовъ и поразительное дѣйствіе на массу общихъ фразъ, въ нее бросаемыхъ. Толпа быстро увлекается общими мѣстами, облечеными въ громкія фразы, общими выводами и положеніями, не помышляя о повѣркѣ ихъ, которая для нея недоступна: такъ образуется единодушіе въ мнѣніяхъ, единодушіе мнимое, призрачное, но тѣмъ не менѣе дающее рѣшительные результаты. Это называется — гласъ народа,

сь прибавкою — гласъ Божій. Печальное и жалкое заблужде-
ніе! Легкость увлечениі общими мѣстами — ведеть повсюду
къ крайней деморализаціи общественной мысли, къ ослабле-
нію политического смысла цѣлой націи. Нынѣшняя Франція
представляетъ наглядный примѣръ этого ослабленія,— но тою
же болѣзнью заражается уже и Англія...





Великая ложь нашего времени.

I.

Что основано на лжи, не можетъ быть право. Учреждение, основанное на ложномъ началѣ, не можетъ быть иное, какъ лживое. Вотъ истина, которая оправдывается горькимъ опытомъ вѣковъ и поколѣній.

Одно изъ самыхъ лживыхъ политическихъ началъ есть начало пародовластія, та, къ сожалѣнію, утвердившаяся со временемъ французской революціи идея, что всякая власть исходитъ отъ народа и имѣеть основаніе въ волѣ народной. Отсюда истекаетъ теорія парламентаризма, которая до сихъ поръ вводитъ въ заблужденіе массу такъ называемой интеллигенціи — и проникла, къ несчастію, въ русскія безумныя головы. Она продолжаетъ еще держаться въ умахъ съ упорствомъ узкаго фанатизма, хотя ложь ея съ каждымъ днемъ изобличается все явственнѣе передъ пѣлымъ міромъ.

Въ чёмъ состоитъ теорія парламентаризма? Предполагается, что весь народъ въ народныхъ собраніяхъ творить себѣ законы, избираетъ должностные лица, стало быть изъявляетъ непосредственно свою волю и приводитъ ее въ дѣйствіе. Это идеальное представленіе. Прямое осуществленіе

его невозможно: историческое развитие общества приводить къ тому, что мѣстные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются въ цѣлый народъ или группируются въ разнозычіи подъ однимъ государственнымъ знаменемъ, наконецъ разрастается безъ конца государственная территорія: непосредственное народоправление при такихъ условіяхъ немыслимо. Итакъ, народъ долженъ переносить свое право властительства на иѣкоторое число выборныхъ людей и облечь ихъ правительственною автономіей. Эти выборные люди, въ свою очередь, не могутъ править непосредственно, но принуждены выбирать еще меньшее число довѣренныхъ лицъ,— министровъ, коимъ предоставляется изготавленіе и примѣненіе законовъ, раскладка и собирашеніе податей, назначеніе подчиненныхъ должностныхъ лицъ, распоряженіе военною силой.

Механизмъ—въ идеѣ своей стройный; но, для того чтобы онъ дѣйствовалъ, необходимы иѣкоторые существенные условія. Машинное производство имѣеть въ основаніи свое разсчетъ на непрерывно-дѣйствующія и совершенно ровныя, следовательно безличныя силы. И этотъ механизмъ могъ-бы успѣшио дѣйствовать, когда-бы довѣренныя отъ народа лица устранились вовсе отъ своей *личности*; когда-бы на парламентскихъ скамьяхъ сидѣли механические исполнители данного имъ наказа; когда-бы министры явились тоже безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда-бы притомъ представителями народа избираемы были всегда лица, способныя уразумѣть въ точности и исполнять добросовѣстно данную имъ и математически точно выраженную программу дѣйствій. Вотъ, при такихъ условіяхъ дѣйствительно машина работала-бы исправно и достигала-бы цѣли. Законъ дѣйствительно выражалъ-бы волю народа; управленье дѣйствительно исходило-бы отъ парламента; опорная точка государственного зданія лежала-бы дѣйствительно въ собраніяхъ избирателей,

и каждый гражданинъ явно и сознательно участвовалъ-бы въ правлениі общественными дѣлами.

Такова теорія. Но посмотримъ на практику. Въ самыхъ классическихъ странахъ парламентаризма — опь не удовлетворяетъ *ни одному* изъ вышепоказанныхъ условій. Выборы никоимъ образомъ не выражаютъ волю избирателей. Представители народные не стѣсняются никакими взглядами и мыслями избирателей, но руководятся собственнымъ произвольнымъ усмотрѣніемъ или разсчетомъ, соображаемымъ съ тактикою противной партіи. Министры въ дѣйствительности самовластны; и скорѣе они насилиуютъ парламентъ, нежели парламентъ ихъ насилиуется. Они вступаютъ во власть и оставляютъ власть не въ силу воли народной, по потому, что ихъ ставитъ къ власти или устраиваетъ отъ нея — могущественное личное вліяніе или вліяніе сильной партіи. Они располагаютъ всѣми силами и достатками паціи по своему усмотрѣнію, раздаютъ льготы и милости, содержать множество праздныхъ людей на счетъ народа,— и притомъ не боятся никакого порицанія, если располагаютъ большинствомъ въ парламентѣ, а большинство поддерживаютъ — раздачей всякой благостиныи съ обильной трапезы, которую государство отдало имъ въ распоряженіе. Въ дѣйствительности министры столь-же безответственны, какъ и народные представители. Ошибки, злоупотребленія, произвольныя дѣйствія — ежедневное явленіе въ министерскомъ управлениі, а часто ли слышимъ мы о серьезнѣ отвѣтственности министра? Развѣ можетъ быть разъ въ пятьдесятъ лѣтъ приходится слышать, что падъ министромъ судъ, и всего чаще результатъ суда выходитъ пичтожный — сравнительно съ шумомъ торжественнаго производства.

Если бы потребовалось истинное опредѣленіе парламента, надлежало бы сказать, что парламентъ есть учрежде-

ніє, служащее для удовлетворенія личаго честолюбія и тицеславія и личныхъ интересовъ представителей. Учреждение это служить не послѣднимъ доказательствомъ самообольщенія ума человѣческаго. Испытывая въ теченіе вѣковъ гнетъ самовластія въ единоличномъ и олигархическомъ правлениі, и не замѣчая, что пороки единовластія суть пороки самого общества, которое живеть подъ нимъ,— люди разума и науки возложили всю вину бѣдствія на своихъ властителей и на форму правлепія, и представили себѣ, что съ перемѣною этой формы на форму народовластія или представительного правлениія—общество избавится отъ своихъ бѣдствій и отъ терпимаго насилия. Что же вышло въ результатѣ? Вышло то, что *mutato nomine* все осталось въ сущности по прежнему, и люди, оставаясь при слабостяхъ и порокахъ своей натуры, перенесли на новую форму всѣ прежнія свои привычки и склонности. Какъ прежде, править ими личная воля и интересъ привилегированныхъ лицъ; только эта личная воля осуществляется уже не въ лицѣ монарха, а въ лицѣ предводителя партіи, и привилегированное положеніе принадлежитъ не родовымъ аристократамъ, а господствующему въ парламентѣ и правлениіи большинству.

На фронтонаѣ этого зданія красуется надпись: „Все для общественнаго блага“. Но это не что иное, какъ самая лживая формула; парламентаризмъ есть торжество эгоизма, высшее его выраженіе. Все здѣсь разсчитано на служеніе своему я. По смыслу парламентской физїи, представитель отказывается въ своемъ званіи отъ личности и долженъ служить выражениемъ воли и мысли своихъ избирателей; а въ дѣйствительности избиратели—въ самомъ актѣ избранія отказываются отъ всѣхъ своихъ правъ въ пользу избранаго представителя. Передъ выборами кандидатъ, въ своей программѣ и въ рѣчахъ своихъ, ссылается постоянно па выше-

упомянутую фикцию: онъ твердить все о благѣ общественномъ, онъ не что иное, какъ слуга и печальникъ народа, онъ о себѣ не думаетъ и забудеть себя и свои интересы ради интереса общественнаго. И все это—слова, слова, одни слова, временные ступеньки лѣстницы, которая онъ строить, чтобы взойти куда нужно и потомъ сбросить ненужныя ступени. Тутъ уже не онъ станетъ работать на общество, а общество станетъ орудіемъ для его цѣлей. Избиратели являются для него стадомъ—для сбора голосовъ, и владѣльцы этихъ стадъ подлинно уподобляются богатымъ кочевникамъ, для коихъ стадо составляетъ капиталъ, основаніе могущества и знатности въ обществѣ. Такъ развивается, совершенствуясь, цѣлое искусство играть инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личныхъ цѣлей честолюбія и власти. Затѣмъ уже эта масса теряетъ всякое значеніе для выбраннаго ею представителя до тѣхъ поръ, пока понадобится снова на нее действовать: тогда пускаются въ ходъ снова льстивыя и лживыя фразы,—однимъ въ угоду, въ угрозу другимъ: длинная, нескончаемая цѣпь однородныхъ маневровъ, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедія выборовъ продолжается до сихъ поръ обманывать человѣчество и считаться учрежденіемъ, вѣнчающимъ государственное зданіе... Жалкое человѣчество! Поистинѣ можно сказать: *mundus vult decipi—decipiatur.*

Вотъ какъ практикуется выборное начало. Честолюбивый искатель самъ выступаетъ передъ согражданами и старается всячески увѣрить ихъ, что онъ, болѣе чѣмъ всякой иной, достоинъ ихъ довѣрія. Изъ какихъ побужденій выступаетъ онъ на это искательство? Трудно повѣрить, что изъ безкорыстнаго усердія къ общественному благу. Вообще, въ наше время рѣдки люди, проникнутые чувствомъ солидарности съ народомъ, готовые на трудъ и самопожертвованіе для общаго

блага; это натуры идеальные; а такие натуры не склонны къ соприкосновению съ пошлостью житейского быта. Кто по натуруѣ своей способенъ къ безкорыстному служению общественной пользѣ въ сознаніи долга, тотъ не пойдетъ заискивать голоса, не станетъ восхвалять хвалу себѣ на выборныхъ собранияхъ, наизывая громкія и пошлые фразы. Такой человѣкъ раскрываетъ себя и силы свои въ рабочемъ углу своеемъ или въ тѣсномъ кругу единомышленныхъ людей, но не пойдетъ искать популярности на шумномъ рынке. Такие люди, если идуть въ толпу людскую, то не затѣмъ, чтобы льстить ей и подлаживаться подъ пошлые ея влечения и инстинкты, а развѣ затѣмъ, чтобы обличать пороки людского быта и ложь человѣческихъ обычаевъ. Лучшимъ людямъ, людямъ долга и чести противна выборная процедура: отъ нея не отвращаются лишь своюкорыстные, эгоистические натуры, желающія достичнуть личныхъ своихъ цѣлей. Такому человѣку не стоитъ труда падѣть на себя маску стремленія къ общественному благу, лишь бы приобрѣсть популярность. Онъ не можетъ и не долженъ быть скроменъ,—ибо при скромности его не замѣтятъ, не станутъ говорить о немъ. Своимъ положеніемъ и тою ролью, которую беретъ на себя,—онъ вынуждается—лицемѣрить и лгать съ людьми, которые противны ему, онъ поневолѣ долженъ сходиться, брататься, любезничать, чтобы приобрѣсть ихъ расположеніе,—долженъ раздавать обѣщанія, зная, что потомъ не выполнить ихъ, долженъ подлаживаться подъ самыя пошлые наклонности и предразсудки массы, для того чтобы имѣть большинство за себя. Какая честная натура решится принять на себя такую роль? Изобразите ее въ романѣ: читателю противно станетъ; по тотъ же читатель отдастъ свой голосъ на выборахъ живому артисту въ той же самой роли.

Выборы—дѣло искусства, имѣющаго, подобно военному искусству, свою стратегію и тактику. Кандидатъ не состоитъ

въ прямомъ отношеніи къ своимъ избирателямъ. Между нимъ и избирателями посредствуетъ комитетъ, самочинное учрежденіе, коего главною силою служитъ — нахальство. Искатель представительства, если не имѣть еще тамъ по себѣ известного имени, начинаетъ съ того, что подбираетъ себѣ кругъ пріятелей и спонсорниковъ; затѣмъ всѣ вмѣстѣ производятъ около себя ловлю, то есть пріискиваютъ въ местной аристократіи богатыхъ и не крѣпкихъ разумомъ обывателей, и успѣваютъ увѣрить ихъ, что это ихъ дѣло, ихъ право и преимущество стать во главѣ — руководителями общественного мнѣнія. Всегда находится достаточно глупыхъ или наивныхъ людей, поддающихся па эту удочку, — и вотъ, за подписью ихъ, появляется въ газетахъ и наклеивается на столбахъ объявление, привлекающее массу, всегда падкую на слѣдованіе за именами, титулами и капиталами. Вотъ какимъ путемъ образуется комитетъ, руководящій и овладѣвающій выборами — это своего рода компанія на акціяхъ, вызванная къ жизни учредителями. Составъ комитета подбирается съ обдуманнымъ искусствомъ: въ немъ одни служать действующею силой — люди энергическіе, преслѣдующіе во что бы ни стало — материальную или тенденціозную цѣль; другие — наивные и легкомысленные статисты — составляютъ балластъ. Организуются собранія, произносятся рѣчи: здѣсь тотъ, кто обладаетъ крѣпкимъ голосомъ и умѣеть быстро и ловко панизывать фразы, производить всегда впечатлѣніе на массу, получаетъ известность, параждается кандидатомъ для будущихъ выборовъ, или, при благопріятныхъ условіяхъ, самъ выступаетъ кандидатомъ, сталкивая того, за кого пришелъ вначалѣ работать языкомъ своимъ. Фраза — и не что иное, какъ фраза — господствуетъ въ этихъ собраніяхъ. Толпа слушаетъ лишь того, кто громче кричитъ и искусѣне поддѣлывается поплостью и лестью подъ ходячія въ массѣ понятія и наклонности.

Въ день окончательного выбора, лишь немногіе подаютъ голоса свои сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коихъ стоило уговоривать по одиночкѣ. Большинство, т.-е. масса избирателей, даетъ свой голосъ стаднымъ обычаемъ, за одного изъ кандидатовъ, выставленныхъ комитетомъ. На билетахъ пишется то имя, которое всего громче натвержено и звенѣло въ ушахъ у всѣхъ въ послѣднее время. Никто почти не знаетъ человѣка, не даетъ себѣ отчета ни о характерѣ его, ни о способностяхъ, ни о направлениіи: выбираютъ потому, что много наслышаны объ его имени. Напрасно было бы вступать въ борьбу съ этимъ стаднымъ порывомъ. Положимъ, какой-нибудь добросовѣтный избиратель пожелалъ бы действовать сознательно въ такомъ важномъ дѣлѣ, не захотѣлъ бы подчиниться насильственному давленію комитета. Ему остается—или уклониться вовсе въ день выбора, или подать голосъ за своего кандидата по своему разумѣнію. Какъ бы ни поступилъ онъ,—все-таки выбранъ будетъ тотъ, кого провозгласила масса легко-мысленныхъ, равнодушныхъ или уговоренныхъ избирателей.

По теоріи, избранный долженъ быть излюбленнымъ человѣкомъ большинства, а на самомъ дѣлѣ избирается излюбленникъ меньшинства, иногда очень скучного, только это меньшинство представляетъ организованную силу, тогда какъ большинство, какъ песокъ, ничемъ не связано, и потому бесполезно передъ кружкомъ или партіей. Выборъ долженъ бы падать на разумнаго и способнаго, а въ действительности падаетъ на того, кто пахальне суется впередъ. Казалось бы, для кандидата существенно требуется—образование, опытность, добросовѣтность въ работѣ: а въ действительности все эти качества могутъ быть и не быть: они не требуются въ избирательной борьбѣ, тутъ важнѣе всего—смѣлость, самоувѣренность въ соединеніи съ ораторствомъ

и даже съ иѣкоторою поплостью, нерѣдко дѣйствующею на массу. Скромность, соединенная съ тонкостью чувства и мысли,—для этого никуда не годится.

Такъ нараждается народный представитель, такъ пріобрѣтается его полномочие. Какъ онъ употребляетъ его, какъ имъ пользуется? Если натура у него энергическая, онъ захочетъ дѣйствовать и принимается образовывать партію; если онъ заурядной натуры, то самъ примыкаетъ къ той или другой партіи. Для предводителя партіи требуется прежде всего сильная воля. Это свойство органическое, подобно физической силѣ, и потому не предполагаетъ непремѣнно нравственныхъ качествъ. При крайней ограниченности ума, при безграничномъ развитіи эгоизма и самой злобы, при низости и бесчестности побужденій, человѣкъ съ сильною волей можетъ стать предводителемъ партіи и становится тогда руководящимъ, господственнымъ главою кружка или собрания, хотя бы къ нему принадлежали люди, далеко превосходящіе его умственными и нравственными качествами. Вотъ какова, по свойству своему, бываетъ руководящая сила въ парламентѣ. Къ ней присоединяется еще другая рѣшительная сила—краснорѣчіе. Это—тоже натуральная способность, не предполагающая ни нравственного характера, ни высокаго духовнаго развитія. Можно быть глубокимъ мыслителемъ, поэтомъ, искуснымъ полководцемъ, тонкимъ юристомъ, опытнымъ законодателемъ—и въ то же время быть лишеннымъ дѣйственнаго слова; и наоборотъ: можно, при самыхъ заурядныхъ умственныхъ способностяхъ и знаніяхъ, обладать особливымъ даромъ краснорѣчія. Соединеніе этого дара съ полнотою духовныхъ силъ—есть рѣдкое и исключительное явленіе въ парламентской жизни. Самая блестящая импровизация, прославившая ораторовъ и соединенная съ важными рѣшеніями, кажется блѣдными и жалкими въ чтеніи, подобно

описанію сцень, разыгравшихъ въ прежнєе время знаменитыми актерами и пѣвцами. Опять свидѣтельствуетъ непрекаемо, что въ большихъ собранихъ рѣшительное дѣйствіе принадлежитъ не разумному, но бойкому и блестящему слову, что всего дѣйствительнѣе на массу—не ясные, стройные аргументы, глубоко коренящіеся въ существѣ дѣла, но громкія слова и фразы, искусно подобранныя, сильно патверженныя и разсчитанныя на инстинкты гладкой попылости, всегда таящіеся въ массѣ. Масса легко увлекается пустымъ вдохновенiemъ декламациіи, подъ вліяніемъ порыва, часто безсознательнаго, способна приходить къ висапаннымъ рѣшеніямъ, о коихъ приходится сожалѣть при хладнокровномъ обсужденіи дѣла.

Итакъ, когда предводитель партіи съ сильною волей соединяетъ еще и даръ краснорѣчія,—онъ выступаетъ въ своей первой роли на открытую сцену передъ цѣлымъ свѣтомъ. Если-же у него нѣтъ этого дара, онъ стоитъ, подобно режиссеру, за кулисами и направляетъ оттуда весь ходъ парламентскаго представленія, распредѣляя роли, выпуская оаторовъ, которые говорятъ за него, употребляя въ дѣло по усмотрѣнію—болѣе тонкіе, но нерѣшительные умы своей партіи:—они за него думаютъ.

Что такое парламентская партія? По теоріи,—это союзъ людей одинаково мыслящихъ и соединяющихъ свои силы для совокупнаго осуществленія своихъ воззрѣній въ законодательствѣ и въ направленіи государственной жизни. Но таковы бываютъ развѣ только мелкие кружки: большая, значительная въ парламентѣ партія образуется лишь подъ вліяніемъ личнаго честолюбія, группируясь около одного господствующаго лица. Люди, по природѣ, дѣлятся на двѣ категоріи: одни—не терпятъ надъ собою никакой власти, и потому необходимо стремятся господствовать сами; другіе, по харак-

теру своему, страшась нести на себѣ отвѣтственность, соединенную со всякимъ рѣшительнымъ дѣйствіемъ, уклоняются отъ всякаго рѣшительнаго акта воли: эти послѣдніе какъ-бы рождены для подчиненія и составляютъ изъ себя стадо, слѣдующее за людьми воли и рѣшенія, составляющими меньшинство. Такимъ образомъ, люди самые талантливые подчиняются охотно, съ радостью складывая въ чужія руки направлѣніе своихъ дѣйствій и нравственную отвѣтственность. Они какъ-бы инстинктивно „ищутъ вождя“ и становятся послушными его орудіями, сохрания увѣренность, что онъ ведетъ ихъ къ побѣдѣ—и, перѣдко, къ добычѣ.—Итакъ, всѣ существенныя дѣйствія парламентаризма отправляются вождями партій: они ставятъ рѣшенія, они ведутъ борьбу и празднуютъ побѣду. Публичныя засѣданія суть не что иное какъ представленіе для публики. Произносятся рѣчи для того, чтобы поддержать фикцію парламентаризма: рѣдкая рѣчь вызываетъ, сама по себѣ, парламентское рѣшеніе въ важномъ дѣлѣ. Рѣчи служатъ къ прославленію ораторовъ, къ возвышенію популярности, къ составленію карьеры,—но въ рѣдкихъ случаяхъ решаютъ подборъ голосовъ. Каково должно быть большинство,—это решается обыкновенно вѣтъ засѣданія.

Таковъ сложный механизмъ парламентскаго лицедѣйства, таковъ образъ великой политической лжи, господствующей въ наше время. По теоріи парламентаризма, должно господствовать разумное большинство; на практикѣ господствуютъ пять-шесть предводителей партіи; они, смыаясь, овладѣваютъ властью. По теоріи, убѣждение утверждается ясными доводами во время парламентскихъ дебатовъ; на практикѣ—оно не зависитъ никакъ отъ дебатовъ, но направляется волею предводителей и соображеніями личнаго интереса. По теоріи, народные представители имѣютъ въ виду единственно народное благо; на практикѣ—они, подъ пред-

логомъ пародпаго блага, и па счетъ его, имѣютъ въ виду преимущественно личное благо свое и друзей своихъ. По теоріи—они должны быть изъ лучшихъ, излюбленныхъ гражданъ; на практикѣ—это наиболѣе честолюбивые и нахальные граждане. По теоріи—избиратель подаетъ голосъ за своего кандидата потому, что знаетъ его и довѣряетъ ему; па практикѣ—избиратель даетъ голосъ за человѣка, кото-
рого по большей части совсѣмъ не знаетъ, по о которомъ
пнтвержено ему рѣчами и криками запнтересованной партіи.
По теоріи—дѣлами въ парламентѣ управляютъ и двигаютъ—
опытный разумъ и безкорыстное чувство; на практикѣ—глав-
ныя движущія силы здѣсь—рѣшительная воля, эгоизмъ и
краснорѣчіе.

Вотъ каково въ сущности это учрежденіе, выставляемое—цѣлью и вѣницомъ государственного устройства. Больно и горько думать, что въ землѣ Русской были и есть люди, мечтающіе о водвореніи этой лжи у насъ; что профессоры наши еще проповѣдуютъ своимъ юнымъ слушателямъ о представительномъ правлениі, какъ обѣ идеалѣ государственного учрежденія; что наши газеты и журналы твердятъ обѣ немъ въ передовыхъ статьяхъ и фельетонахъ, подъ знаменемъ правового порядка; твердятъ—не давая себѣ труда взгля-
дѣться ближе, безъ предубѣжденія, въ дѣйствіе парламент-
ской машины. Но уже и тамъ, гдѣ она издавна дѣйствуетъ,—ослабѣваетъ вѣра въ нее; еще славитъ ее либеральная интеллигенція, но народъ стонетъ подъ гнетомъ этой ма-
шины и распознаетъ скрытую въ ней ложь. Едва-ли до-
ждемся мы,—но дѣти наши и внуки писомнѣнно дождутся сверженія этого идола, которому современный разумъ про-
должаетъ еще въ самообольщепіи покланяться...

II.

Много зла надѣлали человѣчеству философы школы Ж. Ж. Руссо. Философія эта завладѣла умами, а между тѣмъ вся она построена на одномъ ложномъ представлениі о совершенствѣ человѣческой природы, и о вполнѣйшей способности всѣхъ и каждого уразумѣть и осуществить тѣ начала общественнаго устройства, которыя эта философія проповѣдывала.

На томъ же ложномъ основаніи стоитъ и господствующее нынѣ ученіе о совершенствахъ демократіи и демократического правленія. Эти совершенства предполагаютъ — совершенную способность массы уразумѣть тонкія черты политического ученія, явственно и раздѣльно присущія сознанію его проповѣдниковъ. Эта ясность сознанія доступна лишь немногимъ умамъ, составляющимъ аристократію интеллигенціи; а масса, какъ всегда и повсюду, состояла и состоитъ изъ толпы — „vulgus“, и ея представлениія по необходимости будутъ „вульгариya“.

Демократическая форма правленія самая сложная и самая затруднительная изъ всѣхъ известныхъ въ исторіи человѣчества. Вотъ причина — почему эта форма повсюду была преходящимъ явлениемъ и, за немногими исключеніями, никогда не держалась долго, уступая мѣсто другимъ формамъ. И неудивительно. Государственная власть призвана дѣйствовать и распоряжаться; дѣйствія ея суть проявленія единой воли, — безъ этого немыслимо никакое правительство. Но въ какомъ смыслѣ множество людей или собрание народное можетъ проявлять единую волю? Демократическая фразеологія не останавливается на решеніи этого вопроса, отвѣчая на него известными фразами и поговорками въ родѣ такихъ, напримѣръ: „воля пародная“, „общественное мнѣніе“, „верховное решеніе націи“, „гласъ народа — гласъ Божій“ и т. п. Всѣ эти фразы, конечно, должны означать, что великое множество

людей, по великому множеству вопросовъ, можетъ придти къ одинаковому заключенію и постановить сообразно съ нимъ одинаковое рѣшеніе. Пожалуй, это и бываетъ возможно, но лишь по самымъ простымъ вопросамъ. Но когда съ вопросомъ соединено хотя малѣйшее усложненіе, рѣшеніе его въ многочисленномъ собраніи возможно лишь при посредствѣ людей, способныхъ обсудить его во всей сложности, и затѣмъ убѣдить массу къ принятию рѣшенія. Къ числу самыхъ сложныхъ принадлежать, напримѣръ, политическіе вопросы, требующіе крайнаго напряженія умственныхъ силъ у самыхъ способныхъ и опытныхъ мужей государственныхъ: въ такихъ вопросахъ, очевидно, нѣтъ ни малѣйшей возможности разсчитывать на объединеніе мысли и воли въ многолюдномъ народномъ собраніи:— рѣшенія массы въ такихъ вопросахъ могутъ быть только гибельныя для государства. Энтузіасты демократіи увѣряютъ себя, что народъ можетъ проявлять свою волю въ дѣлахъ государственныхъ: это пустая теорія,—на дѣлѣ же мы видимъ, что народное собраніе способно только принимать—по увлеченію—мнѣніе, выраженное однимъ человѣкомъ или иѣкоторымъ числомъ людей; напримѣръ, мнѣніе известнаго предводителя партіи, известнаго мѣстнаго дѣятеля, или организованной ассоціаціи, или, наконецъ,—безразличное мнѣніе того или другаго вліятельнаго органа печати. Такимъ образомъ, процедура рѣшенія превращается въ игру, совершающуюся на громадной аренѣ множества головъ и голосовъ; чѣмъ ихъ болѣе принимается въ счетъ, тѣмъ болѣе эта игра запутывается, тѣмъ болѣе зависитъ отъ случайныхъ и беспорядочныхъ побужденій.

Къ избѣжанію и обходу всѣхъ этихъ затрудненій изобрѣтено средство—править посредствомъ *представительства*—средство организованное прежде всего, и оправдавшее себя успѣхомъ, въ Англіи. Отсюда, по установившейся модѣ,

перешло оно и въ другія страны Европы, но привилось съ успѣхомъ, по прямому преданію и праву, лишь въ Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ. Однако и на родинѣ своей, въ Англіи, представительныя учрежденія вступаютъ въ критическую эпоху своей исторіи. Самая сущность идеи этого представительства подверглась уже здѣсь измѣненію, извращающему первоначальное его значеніе. Дѣло въ томъ, что съ самаго начала собраніе избирателей, тѣсно ограниченное, присыпало отъ себя въ парламентъ известное число лицъ, долженствовавшихъ представлять мнѣніе страны въ собраніи, но не связанныхъ никакою опредѣленною инструкціей отъ массы своихъ избирателей. Предполагалось, что избраны люди, разумѣющіе истинныя нужды страны своей и способные дать вѣрное направление государственной политики. Задача разрѣшалась просто и ясно: требовалось уменьшить до возможнаго предѣла трудность народнаго правленія, ограничивъ малымъ числомъ способныхъ людей — собраніе, призванное къ решенію государственныхъ вопросовъ. Люди эти являлись въ качествѣ свободныхъ представителей народа, а не того или другого мнѣнія, той или другой партии, не связанные никакою инструкціей. Но, съ теченiemъ времени, мало-по-малу эта система измѣнилась, подъ вліяніемъ того же рокового предразсудка о великому запачкѣ общественнаго мнѣнія, просвѣщаемаго, будто бы, періодическою печатью и дающаго массѣ пародной способность имѣть прямое участіе въ решеніи политическихъ вопросовъ. Понятіе о представительствѣ совершенно измѣнило свой видъ, превратившись въ понятіе о *мандатѣ*, или опредѣлѣніи порученій. Въ этомъ смыслѣ, каждый избранный въ той или другой мѣстности почитается уже представителемъ мнѣнія въ той мѣстности господствующаго, или партіи, подъ запечатлѣніемъ этого мнѣнія одержавшей побѣду на выборахъ, — это

уже не представитель отъ страны или народа, по *дeлегатъ*, связанный инструкцией отъ своей партии. Это измѣненіе въ самомъ существѣ идей представительства послужило началомъ язвы, разъѣдающей всю систему представительного правлѣнія. Выборы, съ раздробленіемъ партий, принесли характеръ личной борьбы мѣстныхъ интересовъ и мнѣній, отрѣшенній отъ основной идеи о пользѣ государственной. При крайнемъ умноженіи числа членовъ собранія большинство ихъ, помимо интереса борьбы и партии, заражается равнодушіемъ къ общественному дѣлу и теряетъ привычку присутствовать во всѣхъ засѣданіяхъ и участвовать непосредственно въ обсужденіи всѣхъ дѣлъ. Такимъ образомъ, дѣло законодательства и общаго направленія политики, самое важное для государства, — превращается въ игру, состоящую изъ условныхъ формальностей, сдѣлокъ и фикцій. Система представительства сама себя оболжвила на дѣлѣ.

Эти плачевые результаты всего явственнѣе обнаруживаются тамъ, где населеніе государственной территории не имѣетъ цѣльного состава, но заключаетъ въ себѣ разнородныя національности. Национализмъ въ наше время можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ обнаруживается лживость и непрактичность парламентскаго правлѣнія. Примѣтительно, что начало національности выступило впередъ и стало движущею и раздражающею силою въ ходѣ событій именно съ того времени, какъ пришло въ соприкосновеніе съ новѣйшими формами демократіи. Довольно трудно определить существо этой новой силы и тѣхъ цѣлей, къ какимъ она стремится; но несомнѣнно, что въ ней — источникъ великой и сложной борьбы, которая предстоитъ еще въ исторіи человѣчества, и невѣдомо къ какому приведетъ исходу. Мы видимъ теперь, что каждымъ отдѣльнымъ племенемъ, принадлежащимъ къ составу разноплеменного государства, овла-

дѣвастъ страстное чувство нетерпимости къ государственному учрежденію, соединяющему его въ общій строй съ другими племенами, и желаніе имѣть свое самостоятельное управлениe, со своею, нерѣдко мнимою, культурой. И это происходитъ не съ тѣми только племенами, которые имѣли свою исторію и, въ прошедшемъ своемъ, отдельную политическую жизнь и культуру,— но и съ тѣми, которые никогда не жили особою политическою жизнью. Монархія неограниченная успѣвала устраниТЬ или примирять всѣ подобныя требования и порывы,— и не одною только силой, но и уравненіемъ правъ и отношений подъ одною властью. Но демократія не можетъ съ ними справиться, и инстинкты націонализма служать для нея разъѣдающимъ элементомъ: каждое племя изъ своей мѣстности высылаетъ представителей—не государственной и народной идеи, по представителей племенныхъ инстинктовъ, племенного раздраженія, племенной ненависти—и къ господствующему племени, и къ другимъ племенамъ, и къ связующему всѣ части государства учрежденію. Какой нестройный видъ получаетъ въ подобномъ составѣ народное представительство и парламентское правлениe—очевиднымъ тому примеромъ служитъ въ наши дни австрійскій парламентъ. Прovidѣніе сохранило папу Россію отъ подобного бѣдствія, при ея разноплеменномъ составѣ. Страшно и подумать, что возникло бы у насъ, когда бы судьба послала намъ роковой даръ—всероссійскаго парламента! Да не будетъ.

III.

Величайшее зло конституціоннаго порядка состоить въ образованіи министерства на парламентскихъ или партійныхъ началахъ. Каждая политическая партія одержима

стремлениемъ захватить въ свои руки правительственную власть, и къ ней пробирается. Глава государства уступаетъ политической партии, составляющей большинство въ парламентѣ; въ такомъ случаѣ министерство образуется изъ членовъ этой партии и, ради удержания власти, начинаетъ борьбу съ оппозиціей, которая усиливается пизвергнуть его и вступить на его мѣсто. Но если глава государства склоняется не къ большинству, а къ меньшинству, и изъ него избираетъ свое министерство, въ такомъ случаѣ новое правительство распускаетъ парламентъ и употребляетъ всѣ усилия къ тому, чтобы составить себѣ большинство при новыхъ выборахъ и съ помощью его вести борьбу съ оппозиціей. Сторонники министерской партии подаютъ голосъ всегда за правительство; имъ приходится во всякомъ случаѣ стоять за него—не ради поддержания власти, не изъ-за внутренняго согласія въ мнѣніяхъ, но потому, что это правительство само держитъ членовъ своей партии во власти и во всѣхъ сопряженныхъ со властью преимуществахъ, выгодахъ и прибыляхъ. Вообще—существенный мотивъ каждой партии—стоять за своихъ во что бы то ни стало, или изъ-за взаимнаго интереса, или просто въ силу того стаднаго инстинкта, который побуждаетъ людей раздѣляться на дружины и лѣзть въ бой стѣна на стѣну. Очевидно, что согласіе въ мнѣніяхъ имѣеть въ этомъ случаѣ очень слабое значеніе, а забота объ общественномъ благѣ служить прикрытиемъ вовсе чуждыхъ ему побужденій и инстинктовъ. И это называется идеаломъ парламентскаго правленія. Люди обманываютъ себя, думая, что оно служить обезпеченіемъ свободы. Вместо неограниченной власти монарха мы получаемъ неограниченную власть парламента, съ тою разницей, что въ лицѣ монарха можно представить себѣ единство разумной воли; а въ парламентѣ пѣтъ его, ибо здѣсь все зависитъ отъ случайности, такъ какъ

воля парламента опредѣляется большинствомъ; но какъ скоро при большинствѣ, составляемомъ подъ вліяніемъ игры въ партію, есть меньшинство, воля большинства не есть уже воля цѣлаго парламента: тѣмъ еще менѣе можно признать ее волею народа, здоровая масса коего не принимаетъ никакого участія въ игрѣ партій и даже уклоняется отъ нея. Напротивъ того, именно нездоровая часть населенія мало-помалу вводится въ эту игру и ею развращается; ибо главный мотивъ этой игры есть стремленіе къ власти и къ наживѣ. Политическая свобода становится фикціей, поддерживаемою на бумагѣ, параграфами и фразами конституціи; начало монархической власти совсѣмъ пропадаетъ; торжествуетъ либеральная демократія, водворяя беспорядокъ и насилие въ обществѣ, вмѣстѣ съ началами беззбрія и материализма, провозглашая свободу, равенство и братство — тамъ, где нѣть уже мѣста ни свободѣ, ни равенству. Такое состояніе ведетъ неотразимо къ анархіи, отъ которой общество спасается одною лишь диктатурой, т. е. возстановленіемъ единой воли и единой власти въ правленіи.

Первый образецъ народнаго, представительного правленія, явила новѣйшей Европѣ Англія. Съ половины прошлаго столѣтія французскіе философы стали прославлять англійскія учрежденія и выставлять ихъ примѣромъ для всеобщаго подражанія. Но въ ту пору не столько политическая свобода привлекала французскіе умы, сколько привлекали начала религіозной терпимости, или лучше сказать, начала беззбрія, бывшія тогда въ модѣ въ Англіи и пущенные въ обращеніе англійскими философами того времени. Вслѣдъ за Франціей, которая давала тонъ и нравамъ и литературѣ во всей западной интеллигентціи, мода па англійскія учрежденія распространилась по всему Европейскому матерiku. Между тѣмъ произошли два великия события, изъ коихъ одно

утверждало эту вѣру, а другое—чуть было совсѣмъ не поколебало ее. Возникла республика Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, и ся учрежденія, скопированныя съ англійскихъ (кромѣ королевской власти и аристократіи), принялись на новой почвѣ прочио и плодотворно. Это произвело восторгъ въ умахъ, и прежде всего во Франціи. Съ другой стороны—явилась Французская республика, и скоро явила міру всѣ гнусности, беспорядки и пасилія революціоннаго правительства. Повсюду произошелъ взрывъ негодованія и отвращенія противъ французскихъ и, стало быть, вообще противъ демократическихъ учрежденій. Ненависть къ революціі отразилась даже на внутренней политикѣ самого британскаго правительства. Чувство это начало ослабѣвать съ 1815 году, подъ вліяніемъ политическихъ событий того времени—въ умахъ проснулось желаніе, съ свѣжею надеждой, соединить политическую свободу съ гражданскимъ порядкомъ въ формахъ, подходящихъ къ англійской конституції: вошла въ моду опять политическая англоманія. Затѣмъ послѣдовалъ рядъ попытокъ осуществить британскій идеалъ, сначала во Франціи, потомъ въ Испаніи и Португаліи, потомъ въ Голландіи и Бельгіи, наконецъ, въ послѣднее время, въ Германіи, въ Штали и въ Австріи. Слабый отголосокъ этого движенія отразился и у насъ въ 1825 году, въ безумной попыткѣ аристократовъ мечтателей, не знаяшихъ ни своего народа, ни своей исторіи.

Любопытно прослѣдить исторію новыхъ демократическихъ учрежденій: долговѣчны-ли оказались они, каждое на своей почвѣ, въ сравненіи съ монархическими учрежденіями, коихъ продолженіе исторія считаетъ рядомъ столѣтій.

Во Франціи, со времени введенія политической свободы, правительство, во всей силѣ государственной своей власти, было *три раза* ниспровергнуто парижскою уличною толпою: въ 1792 г., въ 1830 и въ 1848 году. *Три раза* было ниспро-

вергнуто армієй, или военпой силой: въ 1797 году 4 сен-
тября (18 Фруктидора), когда большинствомъ членовъ ди-
ректоріи, при содѣйствіи военной силы, были уничтожены
выборы, состоявшіеся въ 48 департаментахъ, и отправлены
въ ссылку 56 членовъ законодательныхъ собраній. Въ дру-
гой разъ, въ 1797 году 9 ноября (18 Брюмера) правитель-
ство ниспровергнуто Бонапартомъ, и наконецъ въ 1851 г.,
2 декабря, другимъ Бонапартомъ, младшимъ. Три раза пра-
вительство было ниспровергнуто виѣшиимъ нашествіемъ не-
пріятеля: въ 1814, въ 1815 и въ 1870. Въ общемъ счетѣ,
съ начала своихъ политическихъ экспериментовъ по 1870 годъ,
Франція имѣла 44 года свободы и 37 годовъ суроваго дик-
таторства. При томъ еще стоить примѣтить странное явле-
ніе: монархи старшій Бурбонской линіи, оставляя много
мѣста дѣйствію политической свободы, никогда не опирались
на чистомъ началѣ новѣйшей демократіи; напротивъ того,
оба Наполеона, провозгласивъ безусловно эти начала, упра-
вляли Франціей деспотически.

Въ Испаніи народное правленіе провозглашено было
въ эпоху окончательного паденія Наполеона. Чрезвычайное
собраніе кортесовъ утвердило въ Кадиксѣ конституцію, про-
возгласивъ въ первой статьѣ онай, что верховенство власти
припадлежить нації. Фердинандъ VII, вступивъ въ Испанію
чрезъ Францію, отмѣнилъ эту конституцію и сталъ править
самовластно. Черезъ 6 лѣтъ генералъ Ріего, во главѣ воен-
наго возстанія, принудилъ короля возстановить конституцію.
Въ 1823 году французская армія, подъ внушеніемъ Свя-
щенаго союза, вступила въ Испанію и возстановила Фер-
динанда въ самовластіи. Вдова его, въ качествѣ регентши,
для охраненія правъ дочери своей Изабеллы противъ Донъ-
Карлоса, вновь приняла конституцію. Затѣмъ начинается для
Испаніи послѣдовательный рядъ мятежей и возстаній, изрѣдка

прерываемыхъ краткими промежутками относительного спокойствія. Достаточно указать, что съ 1816 года до вступленія на престолъ Альфонса было въ Испаніи до 40 серьезныхъ военныхъ возстаній, съ участіемъ пародной толпы. Говоря объ Испаніи, нельзя не упомянуть о томъ чудовищномъ и поучительномъ зрелищѣ, которое представляютъ многочисленныя республики Южной Америки, республики испанского происхожденія и испанскихъ правовъ. Вся ихъ исторія представляетъ непрестанную смѣну ожесточенной рѣзни между народною толпою и войсками,—прерываемую правлениемъ деспотовъ, напоминающихъ Коммода или Калигулу. Довольно привести въ примѣръ хотя Боливію, гдѣ изъ числа 14 президентовъ республики, тринацдцать кончили свое правленіе насильственnoю смертью или ссылкой.

Начало народнаго или представительного правленія въ Германіи и въ Австріи не ранѣе 1848 года. Правда, начиная съ 1815 года, поднимается глухой ропотъ молодой интеллигенціи на Германскихъ владѣтельныхъ князей за неисполненіе обѣщаній, данныхъ народу въ эпоху великой войны за освобожденіе. За немногими, мелкими исключеніями, въ Германіи не было представительныхъ учрежденій до 1847 года, когда Прускій король учредилъ у себя особыную форму конституціонаго правленія; однако оно не простояло и одного года. Но стоило только напору парижской уличной толпы сломить французскую хартію и низложить конституціонаго короля, какъ поднялось и въ Германіи уличное движеніе, съ участіемъ войскъ. Въ Берлинѣ, въ Вѣнѣ, во Франкфуртѣ устроились національныя собрания, по французскому шаблону. Едва пропель годъ, какъ правительство разогнало ихъ военною силой. Новѣйшія германскія и австрійскія конституціи всѣ исходятъ отъ монархической власти, и еще ждутъ суда своего отъ исторіи.



Судъ присяжныхъ.

Вотъ что говорить знаменитый англійскій писатель, глубокій знатокъ исторіи (С. Ч. Мэнъ), о судѣ присяжныхъ своей родины:

,Народное правленіе вначалѣ было тождественно съ народнымъ судомъ. Древнія демократіи занимались судомъ въ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлахъ больше, чѣмъ дѣлами политической администраціи, и па самомъ дѣлѣ, историческое развитіе народнаго правосудія несравненно непрерывнѣе и послѣдовательнѣе, чѣмъ развитіе формъ народнаго правленія... Мы у себя, въ Англіи, имѣемъ живой памятникъ и слѣдъ народнаго суда въ отправленіи суда присяжныхъ. Судъ присяжныхъ есть не что иное, какъ древняя, творящая судъ демократія, но только поставленная въ предѣлы, въ измѣненныхъ и улучшенныхъ формахъ, соответственно съ начальами, выработанными опытомъ цѣлыхъ столѣтій,—согласованная съ новою идеей судебнаго процесса. И тѣ измѣненія, коимъ подверглось при томъ учрежденіе народнаго суда, въ высшей степени поучительны. Вместо собрапія народнаго—двѣнадцать присяжныхъ. Все ихъ дѣло состоять въ томъ,

чтобы отвѣтить „да“ или „нѣтъ“ на вопросы, конечно, весьма важные, но имѣющіе отношеніе къ предметамъ ежедневнаго быта. Для того, чтобы эти люди могли прийти къ заключенію, въ помощь имъ существуетъ цѣлая система приспособленій и правилъ, выработанная до тонкости и достигающая высшей искусственности. Въ изслѣдованіи дѣла они не предоставлены сами себѣ, но совершаются его подъ предсѣдательствомъ свѣдущаго лица—судьи, представителя королевскаго правосудія; образовалась цѣлая громадная литература руководственныхъ правилъ, подъ условіемъ коихъ предлагаются имъ доказательства спорныхъ фактовъ, подлежащихъ ихъ осужденію. Съ неуклонною строгостью устраниются отъ нихъ всякия свидѣтельскія показанія, обличающія памѣреніе склонить ихъ въ ту или другую сторону. Къ нимъ обращаются и теперь, какъ бывало въ старину, на народномъ судѣ, стороны или представители сторонъ, но для охраненія безпристрастія установлено новое дѣйствіе, вовсе неизвѣстное па прежнемъ народномъ судѣ, именно—все изслѣдованіе заключается самимъ тщательнымъ изложеніемъ фактовъ, которое произноситъ искусный и опытный судья, обязанный званіемъ своимъ къ самому строгому безпристрастію. Если онъ самъ впадаетъ притомъ въ ошибку, или въ отвѣтѣ присяжныхъ обличается заблужденіе,—вся процедура можетъ быть уничтожена высшимъ судомъ свѣдущихъ людей. Таковъ настоящій видъ суда народнаго, выработанный цѣлыми столѣтіями заботливой культуры.

Посмотримъ же теперь, каковъ представляется народный судъ въ первоначальномъ видѣ, какъ его описываетъ, конечно съ натуры, древнѣйшій греческій поэтъ. Открывается засѣданіе; предлагается вопросъ: виновенъ или не виновенъ. Старѣйшины высказываютъ по очереди свое мнѣніе; а вокругъ стоящее и сидящее демократическое сборище зая-

влять рукоцлесканиями свое сочувствие тому или другому мнѣнію,—и взрывомъ рукоцлесканий опредѣляется рѣшеніе. Вотъ какой характеръ носило на себѣ народное правосудіе въ древнихъ республикахъ. Производившая судъ демократія просто принимала, такъ сказать, съ бою, то мнѣніе, которое сильнѣе на нее дѣйствовало въ рѣчи тяжущагося, подсудимаго и адвоката. И нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что когда-бы не было строгой регулирующей и сдерживающей власти въ лицѣ предсѣдателя-суды, английскіе присяжные нашего времени слѣпо потянули бы съ своимъ вердиктомъ на сторону того или другого адвоката, кто съумѣлъ бы на нихъ подѣйствовать“.

Вотъ что говоритъ англичанинъ, глубокій знатокъ своей исторіи и глубокій мыслитель. Мысль невольно переносится къ несчастному учрежденію суда присяжныхъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ нѣтъ тѣхъ историческихъ и культурныхъ условій, при коихъ онъ образовался въ Англіи. Очевидно, многіе, вводя это учрежденіе, только „слышали звонъ, да не знали, гдѣ онъ“. Неразумно и легкомысленно было ввѣрять приговоръ о винѣ подсудимаго народному правосудію, не обдумавъ практическихъ мѣръ и способовъ, какъ его поставить въ надлежащую дисциплину, и не озабочившись изслѣдовать предварительно чужеземное учрежденіе въ исторіи его родины, и со сложною его обстановкой.

И вотъ, по прошествіи долголѣтняго опыта, всюду, гдѣ введенъ съ примѣра Англіи судъ присяжныхъ, возникаютъ уже вопросы о томъ, какъ замѣнить его, для устраниенія той случайности приговоровъ, которая изъ года въ годъ усиливается. Эти вопросы возникаютъ и обостряются и въ тѣхъ государствахъ, гдѣ есть крѣпкое судебное сословіе, вѣками воспитанное, прошедшее строгую школу науки и практической дисциплины.

Можно себѣ представить, во что обращается это народное правосудіе тамъ, гдѣ, въ юномъ государствѣ, нѣть и этой крѣпкой руководящей силы, но въ замѣнѣ того есть быстро образовавшаяся толпа адвокатовъ, которымъ интересъ самолюбія и корысти самъ собою помогаетъ достигать вскорѣ значительного развитія въ искусствѣ софистики и логомахіи, для того, чтобы дѣйствовать па массу; гдѣ дѣйствуетъ пестрое, смѣшанное стадо присяжныхъ, собираемое или случайно, или искусственнымъ подборомъ изъ массы, коей недоступны ни сознаніе долга суды, ни способность осніть массу фактовъ, требующихъ анализа и логической разборки; наконецъ — смѣшанная толпа публики, приходящей на судъ какъ на зрелице, посреди праздной и бѣдной содержаніемъ жизни; и эта публика, въ сознаніи идеалистовъ, должна означать *народъ*. Мудрено-ли, что въ такой обстановкѣ оказывается тотъ же печальный результатъ, на который указываютъ вышеприведенные слова Чарльза Мэнა: „присяжные слѣпо тянутъ со своимъ вердиктомъ на сторону того или другого адвоката, кто съумѣетъ на нихъ подействовать“.





Печать.

I.

Съ тѣхъ поръ какъ пало человѣчество, ложь водворилась въ мірѣ, въ словахъ людскихъ, въ дѣлахъ, въ отношеніяхъ и учрежденіяхъ. Но никогда еще, кажется, отецъ лжи не изобрѣталъ такого сплетенія лжей всякаго рода, какъ въ наше смутное время, когда столько слышится отовсюду *лживыхъ рѣчей о правдѣ*. По мѣрѣ того какъ усложняются формы быта общественнаго, возникаютъ новые лживыя отношенія и цѣлые учрежденія, насквозь пропитанныя ложью. На всякому шагу встрѣчаешь великолѣпное зданіе, на фронтонѣ коего написано: „*Здѣсь истина*“ . Входишь, и ничего не видишь кромѣ лжи. Выходишь, и когда пытаешься рассказывать о лжи, которою душа возмущалась,—люди негодуютъ, и велятъ вѣрить и проповѣдывать, что это истина, внѣ всякаго сомнѣнія.

Такъ намъ велятъ вѣрить, что голось журналовъ и газетъ—или такъ называемая *пресса*, есть выраженіе общественнаго мнѣнія... Увы! Это великайшая ложь, и пресса есть одно изъ самыхъ лживыхъ учрежденій нашего времени.

Кто станет спорить противъ силы *мнѣнія*, которое люди имѣютъ о человѣкѣ или учрежденіи? Такова уже натура человѣческая, что всякий изъ насъ,— что ни говоритъ, что ни дѣлаетъ, оглядывается, какъ это кажется и что люди думаютъ. Не было и пѣтъ человѣка, кто бы могъ считать себя свободнымъ отъ дѣйствія этой силы.

Эта сила въ наше время принимаетъ организованный видъ и называется общественнымъ мнѣніемъ. Органомъ его и представителемъ считается печать. И подлинно, значеніе печати громадное и служить самимъ характернымъ признакомъ нашего времени, болѣе характернымъ, нежели всѣ изумительныя открытія и изобрѣтенія въ области техники. Нѣтъ правительства, пѣтъ закона, нѣтъ обычая, которые могли бы противостоять разрушительному дѣйствію печати въ государствѣ, когда всѣ газетные листы его изо дня въ день, въ теченіе годовъ повторяютъ и распространяютъ въ массѣ одну и ту же мысль, направленную противъ того или другого учрежденія.

Что-же придаетъ печати такую силу? Совсѣмъ не интересъ новостей, извѣстій и свѣдѣній, которыми листки наполняются,— по извѣстная тенденція журнала, та политическая или философская мысль, которая выражается въ статьяхъ его, въ подборѣ и расположениіи извѣстій и слуховъ, и въ освѣщеніи подбираемыхъ фактовъ и слуховъ. Печать ставитъ себя въ положеніе судящаго наблюдателя ежедневныхъ явлений; она обсуждаетъ не только дѣйствія и слова людскія, но испытуетъ даже невысказанныя мысли, памѣренія и предположенія, по произволу клеймить ихъ или восхвалять, возбуждаетъ однихъ, другимъ угрожаетъ, однихъ выставляетъ на позоръ, другихъ ставитъ предметомъ восторга и примѣромъ подражанія. Во имя общественного мнѣнія, она раздаетъ награды однимъ, другимъ готовить казнь, подобную средневѣковому отлученію...

Самъ собою возникаетъ вопросъ: кто же представители этой страшной власти, именующей себя общественнымъ мнѣніемъ? Кто дасть имъ право и полномочіе—во имя цѣлаго общества—править, ниспровергать существующиа учрежденія, выставлять новые идеалы нравственнаго и положительного закона?

Никто не хочетъ вдуматься въ этотъ совершенно законный вопросъ и дознаться въ немъ до истины; но всѣ кричать о такъ-называемой свободѣ печати, какъ о первомъ и главнѣйшемъ основаніи общественнаго благоустройства. Кто не воліеть обѣ этомъ и у насъ въ несчастной, оболганный и оболживленной чужеземною ложью Россіи? Вопіютъ въ удивительной непослѣдовательности и такъ-называемые славянофилы, мнищіе возстановить и водворить историческую правду учрежденій въ землѣ Русской. И они, присоединяясь въ этомъ къ хору либераловъ, совокупленныхъ съ поборниками началъ революцій, говорятъ, совершенно по западному: „общественное мнѣніе, то есть, соединенная мысль, съ чувствомъ и юридическимъ сознаніемъ всѣхъ и каждого, служить окончательнымъ решеніемъ въ дѣлахъ общественнаго быта; итакъ, всякое стѣсненіе свободы слова не должно быть допускаемо, ибо въ стѣсненіи сего рода выражается насилие меньшинства надъ всеобщею волею.“

Таково ходячее положеніе новѣйшаго либерализма. Оно принимается на вѣру многими, и мало кто, вдумываясь въ него, примѣчає, сколько въ немъ лжи и легкомысленаго самообольщенія.

Оно противорѣчитъ первымъ началамъ логики, ибо основано на вполнѣ ложномъ предположеніи, будто общественное мнѣніе тождественно съ печатью.

Чтобы удостовѣриться въ этой лживости, стоитъ только представить себѣ, что такое газета, какъ она возникаетъ и кто ее дѣлаетъ.

Любой уличный проходимецъ, любой болтунъ изъ неизвестныхъ геніевъ, любой искатель гешефта можетъ, имѣя свои или доставъ для наживы и спекуляціи чужія деньги, основать газету, хотя бы большую, собрать около себя по первому кличу толпу писакъ, фельетонистовъ, готовыхъ разглагольствовать о чемъ угодно, репортеровъ, поставляющихъ безграмотныя сплетни и слухи,—и штабъ у него готовъ, и онъ можетъ съ завтрашняго дня стать въ положеніе власти судящей всѣхъ и каждого, дѣйствовать на министровъ и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность. Это особый видъ учредительства и грюндерства, и притомъ самаго дешеваго свойства. Разумѣется, новая газета тогда только приобрѣтаетъ силу, когда пошла въ ходъ на рынкѣ, т. е. распространена въ публикѣ. Для этого требуются таланты, требуется содержаніе привлекательное, сочувственное для читателей. Казалось бы, тутъ есть нѣкоторая гарантія правственной солидности предпріятія: талантливые люди пойдутъ-ли въ службу къ ничтожному или презрѣнному издателю и редактору? Читатели станутъ-ли брать такую газету, которая не будетъ вѣрнымъ отголоскомъ общественнаго мнѣнія? Но это гарантія только мнимая и отвлеченная. Ежедневный опытъ показываетъ, что тотъ-же рынокъ привлекаетъ за деньги какіе угодно таланты, если они есть на рынкѣ—и таланты пишутъ что угодно редактору. Опытъ показываетъ, что самые ничтожные люди—какой-нибудь бывшій ростовщикъ, жидъ факторъ, газетный разносчикъ, участникъ банды червонныхъ валетовъ, разорившійся содержатель рулетки—могутъ основать газету, привлечь талантливыхъ сотрудниковъ, и пустить свое изданіе на рынокъ въ качествѣ органа общественнаго мнѣнія. Нельзя положиться и на здравый вкусъ публики. Въ массѣ читателей—большею частью праздныхъ—господствуютъ, на-

ряду съ иѣкоторыми добрыми, жалкіе и низкіе инстинкты празднаго развлеченія, и любой издатель можетъ привлечь къ себѣ массу разсчетомъ на удовлетвореніе именно такихъ инстинктовъ, на охоту къ скандаламъ и прынностямъ всякаго рода. Мы видимъ у себя ежедневные тому примѣры, и въ нашей столицѣ недалеко ходить за ними: стоитъ только присмотрѣться къ спросу и предложенію у газетныхъ разносчиковъ возлѣ людныхъ мѣсть и на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ. Всѣмъ извѣстенъ недостатокъ серьезности въ нашей общественной бесѣдѣ: въ уѣздномъ городѣ, въ губерніи, въ столицѣ — извѣстно, чѣмъ она пробавляется — картами и сплетней всякаго рода — и анекдотомъ, во всѣхъ возможныхъ его формахъ. Самая бесѣда о такъ-называемыхъ вопросахъ общественныхъ и политическихъ является большею частью въ формѣ *пересуда* и отрывочной фразы, пересыпаемой тою-же сплетней и анекдотомъ. Вотъ почва необыкновенно богатая и благодарная для литературного промышленника, и на ней-то рождается, подобно ядовитымъ грибамъ, и эфемерные, и успѣвшіе стать на ноги, органы общественной сплетни, нахальпо выдающіе себя за органы общественнаго мнѣнія. Ту же самую гнусную роль, которую посреди празднай жизни какого-нибудь губернского города играютъ безыменныя письма и пасквили, къ сожалѣнію, столь распространенные у насъ, — ту же самую роль играютъ въ такой газетѣ *корреспонденціи*, присылаемая изъ разныхъ угловъ и сочиняемая въ редакціи. Не говоримъ уже о массѣ слуховъ и извѣстий, сочиняемыхъ невѣжественными репортерами, не говоримъ уже о гнусномъ промыслѣ *шантажа*, орудіемъ коего нерѣдко становится подобная газета. И она можетъ процвѣтать, можетъ считаться органомъ общественнаго мнѣнія и доставлять своему издателю громадную прибыль... И никакое изданіе, основанное на твердыхъ нравственныхъ нача-

лахъ и разсчитанное на здравые инстинкты массы,—не въ силахъ будетъ состязаться съ нею.

Стоитъ всмотрѣться въ это явленіе: мы распознаемъ въ немъ одно изъ безобразнѣйшихъ логическихъ противорѣчий новѣйшей культуры, и всего безобразнѣе является оно именно тамъ, гдѣ утвердились начала повѣйшаго либерализма,—именно тамъ, гдѣ требуется для каждого учрежденія санкція выбора, авторитетъ всенародной воли, гдѣ правлѣніе сосредоточивается въ рукахъ лицъ, опирающихся на мнѣніе большинства въ собраніи представителей народныхъ. Отъ одного только журналиста, власти коего практически на все простирается,—не требуется никакой санкціи. Никто не выбираетъ его и никто не утверждаетъ. Газета становится авторитетомъ въ государствѣ, и для этого единственнаго авторитета не требуется никакого признания. Всякий, кто хочетъ, первый встрѣчный можетъ стать органомъ этой власти, представителемъ этого авторитета,—и притомъ вполнѣ *безответственнымъ*, какъ никакая иная власть въ мірѣ. Это такъ, безъ преувеличенія: примѣры живые на лицо. Мало-ли было легкомысленныхъ и бессовѣстныхъ журналистовъ, по милости коихъ подготавливались революціи, запипало раздраженіе до ненависти между сословіями и народами, нерходившее въ опустошительную войну. Иной монархъ за дѣйствія этого рода потерялъ бы престоль свой; министръ подвергся бы позору, уголовному преслѣдованію и суду: но журналистъ выходитъ сухъ какъ изъ воды, изо всей заведенной имъ смуты, изо всякаго погрома и общественного бѣдствія, коего былъ причиной, выходитъ съ торжествомъ, улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушительную работу.

Спустимся ниже. Судья, имѣя право карать нашу честь, лишать пасъ имущества и свободы, пріемлетъ его отъ го-

сударства и долженъ продолжительнымъ трудомъ и испытаниемъ готовиться къ своему званію. Онъ связанъ строгимъ закономъ; всякия ошибки его и увлеченія подлежать контролю высшей власти, и приговоръ его можетъ быть измѣненъ и исправленъ. А журналистъ имѣеть полнѣйшую возможность занятьтнать, опозорить мою честь, затронуть мои имущественные права; можетъ даже стѣснить мою свободу, затруднивъ своими нападками или сдѣлавъ невозможнымъ для меня пребываніе въ извѣстномъ мѣстѣ. Но эту судейскую власть надо мною самъ опѣ себѣ присвоилъ: ни отъ какого вышаго авторитета онъ не пріялъ этого званія, не доказалъ никакимъ испытаниемъ, что онъ къ нему приготовленъ,ничѣмъ не удостовѣрилъ личныхъ качествъ благонадежности и безпристрастія, въ судѣ своемъ надо мною не связанъ никакими формами процесса, и не подлежитъ никакой апелляціи въ своемъ приговорѣ. Правда, защитники печати утверждаютъ, будто она сама излѣчиваетъ наносимыя ею раны; но вѣдь всякому разумному попятно, что это одно лишь праздное слово. Нападки печати на частное лицо могутъ причинить ему вредъ неисправимый. Всѣ возможныя опроверженія и объясненія не могутъ дать ему полнаго удовлетворенія. Не всякий изъ читателей, кому попалась на глаза первая поносительная статья, прочтетъ другую оправдательную или объяснительную, а при легкомысліи массы читателей—позорящее вину или наругательство оставляютъ во всякомъ случаѣ ядъ въ мнѣніи и расположеніи массы. Судебное преслѣдованіе за клевету, какъ извѣстно,—даетъ плохую защиту, и процессъ по поводу клеветы служитъ почти всегда средствомъ не къ обличенію обидчика, но къ новымъ оскорблениямъ обиженнаго; а притомъ журналистъ имѣеть всегда тысячу средствъ уязвлять и тревожить частное лицо, не давая ему прямыхъ поводовъ къ возбужденію судебнаго преслѣдованія.

Итакъ—могно-ли представить себѣ деспотизмъ болѣе насильственный, болѣе безответственный, чѣмъ деспотизмъ нечатнаго слова? И не страшно-ли, не дико-ли и безумно, что о поддержаніи и охраненіи именно этого деспотизма хлопочутъ всего болѣе—ожесточенные поборники *свободы*, вспіюющіе съ озлобленіемъ противъ всякоаг насилия, противъ всякихъ законныхъ ограниченій, противъ всякаго стѣснительного распоряженія *установленной власти*? Невольно приходитъ на мысль вѣковѣчное слово объ умникахъ, которые совсѣмъ обезумѣли отъ того, что возмнили себя мудрыми!

II.

Въ нашемъ вѣкѣ распространенія изобрѣтеній всего удивительнѣе быстрое распространеніе газетной литературы, ставшей въ короткое время страшно дѣйствительною общественною силой. Значеніе газеты возрасло въ первый разъ послѣ Іюльской революціи 1830 года, усугубилось еще послѣ революціи 1848 года и затѣмъ стало возрастать не годами только, но днями. Нынѣ съ этою силой считаются правительства, и стало даже невозможно представить себѣ не только общественную, но и частную жизнь безъ газеты, и прекращеніе выхода газетъ, еслибы возможно было бы представить его себѣ, было бы однозначительно съ прекращеніемъ всякаго дѣйствія желѣзныхъ дорогъ.

Газета несомнѣнно служитъ для человѣчества важнѣйшимъ орудіемъ культуры. Но, признавая все удобство и пользу отъ распространенія массы свѣдѣній и отъ обмѣна мыслей и мнѣній путемъ газеты, нельзя не видѣть и того вреда, который происходитъ для общества отъ безграничнаго распространенія газеты, нельзя не признать съ чувствомъ нѣ-

котораго страха, что въ ежедневной печати скапляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая надъ человѣчествомъ.

Каждый день, поутру, газета приноситъ памъ кучу разнообразныхъ новостей. Въ этомъ множествѣ—многое-ли пригодно для жизни нашей и для нашего образовательнаго развитія? Многое-ли способно поддерживать въ душѣ нашей священный огонь одушевленія на добро? И напротивъ—сколько здѣсь такого, что льститъ самымъ пизменнымъ написаніемъ склонностямъ и побужденіямъ! Могутъ сказать, что намъ даютъ то, что требуется вкусомъ читателей, что отвѣчаетъ на спросъ. Но это возраженіе можно обернуть: спросъ былъ бы не такой, еслибы не такъ ретиво было предложеніе.

Но пускай бы еще предлагались однѣ новости: нѣтъ, онѣ предлагаются въ особливой формѣ, окрашенныя особливымъ мнѣніемъ, соединенныя съ безъименнымъ, по очень решительнымъ сужденіемъ. Есть, конечно, серьезные умы, руководящіе газетой: такихъ немногихъ; а газетъ великое множество, и всякое утро нѣкто, совсѣмъ незнаемый мною, и можетъ быть такой, какого я и знать не хотѣлъ бы, навязываетъ мнѣ свое сужденіе, выдавая его авторитетно за голосъ общественнаго мнѣнія. Но всего важнѣе то, что эта газета, обращаясь ежедневно даже не къ извѣстному кругу людей, но ко всему люду, умѣющему лишь разбирать печатное, предлагаетъ каждому готовыя сужденія обо всемъ, и такимъ образомъ, мало по малу, силою привычки, отучастъ своихъ читателей отъ желанія и отъ всякаго старанія имѣть свое собственное мнѣніе: иной не имѣтъ возможности самъ себѣ составить его и воспринимаетъ механически мнѣніе своей газеты; иной и могъ бы самъ разсудить основательно, по ему никогда думать посреди дневной суеты и заботы, и ему удобно, что за него думаетъ газета. Очевидно, какой

происходить отъ этого вредъ, именно въ наше время, когда повсюду дѣйствуютъ сильныя теченія тенденціозной мысли, и стремится уравнять всякие углы и отличія индивидуального мышленія и свести ихъ къ единообразному уровню такъ называемаго *общественного мнѣнія*: въ этихъ условіяхъ газета служить сильнейшимъ орудіемъ такого уравненія, ослабляющаго всякое самостоятельное развитіе мысли, воли и характера. А притомъ, для какого множества людей газета служить почти единственнымъ источникомъ образованія, жалкаго, мнимаго образованія,—когда масса разныхъ свѣдѣній и извѣстій, приносимая газетой, принимается читателемъ за *дѣйствительное знаніе*, которымъ онъ съ самоувѣренностью вооружаетъ себя. Вотъ одна изъ причинъ, почему наше время такъ бѣдно *цѣльными* людьми, характерными дѣятелями. Новѣйшая печать похожа на сказочнаго богатыря, который, написавъ на челѣ своеемъ таинственныя буквы—символъ божественной истины, поражалъ всѣхъ своихъ противниковъ, дотолѣ, пока не явился безстрашный боецъ, который стеръ съ лица его таинственныя буквы.—На челѣ нашей печати написаны доселѣ знамена общественнаго мнѣнія, дѣйствующія неотразимо.





Народное просвѣщеніе.

I.

Когда разсужденіе отдѣлилось отъ жизни, оно становится искусственнымъ, формальнымъ и, вслѣдствіе того, мертвымъ. Къ предмету подходить и вопросы рѣпаются съ точки зреінія общихъ положеній и началъ, па вѣру принятыхъ: скользя по поверхности, не углубляясь внутрь предмета и не всматриваясь въ явленія дѣйствительной жизни,—даже отказываясь всматриваться въ нихъ. Такихъ общихъ началъ и положеній расплодилось у насъ множество, особенно съ конца прошаго столѣтія—они заполонили нашу жизнь, совсѣмъ отрѣшили отъ жизни наше законодательство, и самую науку ставятъ иерѣдко въ противоположность съ жизнью и ея явленіями. Вслѣдь за доктринерами науки, доходящими до фанатизма въ своемъ доктринерствѣ, и за школьнными адептами патверженныхъ учений—идетъ стадный обычаемъ толпа интеллигенціи. Общія положенія пріобрѣтаютъ значеніе непререкаемой аксиомы, борьба съ кою становится

крайне тягостна, иногда совсѣмъ невозможна. Трудно исчислить и взвѣсить, сколько ломки произвели эти аксиомы въ законодательствѣ, какъ опутали онъ по рукамъ и по ногамъ живой организмъ народнаго быта искусственными, силою навязанными формами! Впереди этого движенія пошла Франція: она ввела въ моду нивелировку быта народнаго посредствомъ общихъ началь, выведенныхъ изъ отвлеченної теоріи. За нею потянулись всѣ—даже государства, соединяющія въ себѣ безкопечное разнообразіе условій быта, племеннаго состава, пространства и климата. Сколько пострадало отъ того и наше отечество—не перечтешь.

Вотъ, напримѣръ, слова—натверженныя до пресыщенія у насъ и повсюду: даровое обученіе, обязательное обученіе, ограниченіе работы малолѣтнихъ обязательнымъ школьнімъ возрастомъ... Нѣть спора, что ученье свѣтъ, а неученье—тьма; но въ примѣненіи этого правила необходимо знать мѣру и руководствоваться здравымъ смысломъ, а главное—не насплювать ту самую свободу, о которой столько твердятъ и которую такъ рѣшительно нарушаютъ наши законодатели. Повторяя на всѣ лады пошлое изреченіе, что школьній учитель побѣдитъ подъ Садовою, мы разводимъ по казенному лекалу школу и школьнаго учителя, пригибая подъ него потребности быта дѣтей и родителей, и самую природу и климатъ. Мы знать не хотимъ, что школа (какъ показываетъ опытъ) становится одною обманчивою формой, если не вросла самыми корнями своими въ народъ, не соответствуетъ его потребностямъ, не сходится съ экономіей его быта. Только та школа прочна въ народѣ, которая люба ему, которой просвѣтительное значеніе видитъ онъ и ощущаетъ; противна ему та школа, въ которую пихаютъ его насилиемъ, подъ угрозою еще наказанія, устроивая самую школу не по народному вкусу и потребности, а по фантазіи доктринеровъ.

школъ. Тогда дѣло становится механически: школа уподобляется канцеляріи, со всею тяготой канцелярскаго производства. Законодатель доволенъ, когда заведено и расположено по памѣченіемъ пунктамъ извѣстное число однообразныхъ помѣщеній съ надписью: *школа*. И на эти заведенія собираются деньги — и уже грозятъ загонять въ нихъ подъ страхомъ наказа; и учреждаются съ великими издержками наблюдатели за тѣмъ, чтобы родители, и бѣдные, и рабочіе люди высыпали дѣтей своихъ въ школу со школьнаго возраста... Но, кажется, всѣ государства далеко перешли уже черту, за которую школьное ученье показываетъ въ народномъ бытѣ оборотную свою сторону. Школа формальная уже развивается всюду на счетъ той дѣйствительной, воспитательной школы, которую должна служить для каждого сама жизнь въ обстановкѣ семейнаго, профессионального и общественнаго быта.

Сколько надѣлало вреда смыщленіе понятія о *знаніи* съ понятіемъ обѣ *умнѣніи!* Увлекшись мечтательною задачей всеобщаго просвѣщенія, мы назвали просвѣщеніемъ извѣстную сумму *знаній*, предположивъ, что она приобрѣтается прохожденіемъ школьнай программы, искусственно скомпопованной кабинетными педагогами. Устроивъ такимъ образомъ школу, мы отрѣзали ее отъ жизни и задумали насильственно загонять въ нее дѣтей для того, чтобы подвергать ихъ процессу умственнаго развитія, по нашей программѣ. Но мы забыли или не хотѣли сознать, что масса дѣтей, которыхъ мы просвѣщаемъ, должна жить насущнымъ хлѣбомъ, для приобрѣтенія коего требуется не сумма голыхъ знаній, коими программы папи папичкапы, а *умнѣніе* дѣлать извѣстное дѣло, и что отъ этого умѣнія мы можемъ отбить ихъ искусственно, на воображаемомъ знаніи, построенному школой. Таковы и бываютъ послѣдствія школы, мудрено устроенной,

и вотъ причина, почему народъ не любить такой школы, не видя въ ней толку.

Понятіе народное о школѣ есть истинное понятіе, но, къ несчастью, его перемудрили повсюду въ устройствѣ новой школы. По народному понятію, школа учитъ читать, писать и считать, но, въ пера兹дѣльной связи съ этимъ, учить знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. Вотъ сумма знаній, умѣній и ощущеній, которыя въ совокупности своей образуютъ въ человѣкѣ *сознаніе* и даютъ ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновѣсіе въ жизни и выдерживать борьбу съ дурными побужденіями природы, съ дурными внушеніями и облазнами мысли.

Плохо дѣло, когда школа отрываетъ ребенка отъ среды его, въ которой онъ привыкаетъ къ дѣлу своего званія—упражненіемъ съ юныхъ лѣтъ и примѣромъ, пріобрѣтая безсознательно искусство и вкусъ въ работѣ. Кто готовится быть кандидатомъ или магистромъ, тому необходимо начинать ученіе въ известный срокъ и проходить послѣдовательно известный рядъ наукъ; по масса дѣтей готовится къ труду ручному и ремесленному. Для такого труда необходимо приготовленіе физическое съ ранняго возраста. Закрывать путь къ этому приготовленію, чтобы не потерять времени для школьнаго цѣля, значитъ—затруднять способы къ жизни массы людей, бывающихъ въ жизни изъ-за насущнаго хлѣба, и стѣснять посреди семьи естественное развитіе экономическихъ силъ ея, составляющихъ въ совокупности капиталъ общественнаго благосостоянія. Морякъ воспитывается для морского дѣла, съ дѣства выростая на водѣ; рудокопъ привыкаетъ къ своему дѣлу и пріучаетъ къ нему свои легкія—не иначе, какъ опускаясь съ юныхъ лѣтъ въ подземныя мины. Тѣмъ болѣе землемѣлецъ—привыкаетъ къ своему труду и получаетъ

любовь къ нему, когда съ дѣтства живетъ, не отрываясь отъ природы, возлѣ домашней скотины, возлѣ сохи и плуга, возлѣ поля и луга.

А мы все пренираемся о курсѣ для народной школы, о курсѣ обязательномъ, съ коимъ будто бы соединяется полное развитіе. Иной хочетъ вмѣстить въ него энциклопедію знаній подъ дикимъ названіемъ Родиновѣдѣнія; иной настаиваетъ на необходимости поселянину знать физику, химію, сельское хозяйство, медицину; иной требуетъ энциклопедію политическихъ наукъ и правовѣдѣніе... Но мало кто думаетъ, что, отрывая дѣтей отъ домашняго очага на школьную скамью съ такими мудреными цѣлями, мы лишаемъ родителей и семью рабочей силы, которая *необходима* для поддержанія домашняго хозяйства, а дѣтей развращаемъ, наводя на нихъ миражъ минимаго или фальшиваго и отрѣшеннаго отъ жизни знанія, подвергая ихъ соблазну мелькающихъ передъ глазами образовъ суеты и тщеславія.

II.

Новѣйшая школа народныхъ просвѣтителей предлагаетъ одно средство, одинъ рецептъ для блага человѣчества: войну съ предразсудками и невѣжествомъ массы народной. Всѣ бѣдствія человѣчества, по мнѣнію писателей этой школы, происходили отъ того, что въ массѣ пародной держались слишкомъ упорно въ теченіе вѣковъ пѣкоторыя безотчетныя ощущенія и мнѣнія, которыя необходимо во чтобы то ни стало разрушить, вырвать съ корнемъ. Къ такимъ вреднымъ ощущеніямъ и мнѣніямъ они относятъ все, чего нельзя доказать, что не оправдывается логикой. Когда бы,—такъ разсуждаются эти философы,—всѣ люди могли привести въ дви-

жение свою умственную силу, развить свое мышление и имъ руководствовались бы,—вмѣсто того, чтобы думать, чувствовать и жить по миѣніямъ, принятымъ на вѣру,—тогда пачался бы золотой вѣкъ для человѣчества. Въ одно поколѣніе человѣчество подвинулось бы такъ, какъ донынѣ не подвигалось и въ теченіе пѣсколькихъ столѣтій. Когда бы хоть на одинъ градусъ поднялся уровень мыслительной силы въ массѣ, отъ этого произошли бы послѣдствія неисчислимые. У всѣхъ почти есть какой-нибудь одинъ силлогизмъ, который слагается въ головѣ по непосредственному впечатлѣнію съ первыхъ лѣтъ юности. Если бы къ этому запасу прибавился у всѣхъ еще другой силлогизмъ, и мысль у каждого стала бы способна связать оба въ одну цѣнь мышленія, отъ этого одного измѣнился бы видъ вселенной, преобразовалась бы судьба всего человѣчества. Вотъ цѣль, къ которой хотять вести насть, вотъ задача просвѣщенія и прогресса, которую ставятъ новые философы 19-му столѣтію.

Кажется,—какъ спорить противъ этого? А между тѣмъ у предлагаемой задачи есть и другая сторона, обратная и темная, которую обыкновенно упускаютъ изъ виду.

Есть въ человѣчествѣ натуральная, земляная сила инерціи, имѣющая великое значеніе. Ею, какъ судно балластомъ, держится человѣчество въ судьбахъ своей исторіи,—и сила эта столь необходима, что безъ нея поступательное движение впередъ становится невозможнымъ. Сила эта, которую близорукіе мыслители новой школы безразлично смѣшиваютъ съ невѣжествомъ и глупостью,—безусловно необходима для благосостоянія общества. Разрушить ее—значило бы лишить общество той устойчивости, безъ которой нѣгдѣ найти и точку опоры для дальнѣйшаго движения. Въ пренебреженіи или забвеніи этой силы—вотъ въ чемъ главный порокъ новѣйшаго прогресса.

Что такое предразсудокъ? Предразсудокъ, говорятъ, есть мнѣніе, не имѣющее разумнаго основанія, не допускающее логической аргументаціи; всѣ такія мнѣнія предполагается искоренить, какимъ способомъ?—возбудивъ въ каждомъ человѣкѣ мыслительную дѣятельность и поставивъ мнѣніе у каждого человѣка въ зависимость отъ *логического вывода*. Прекрасно, но прекрасно лишь въ отвлеченной теоріи. Въ дѣйствительной жизни мы видимъ, что въ большей части случаевъ невозможно довѣриться дѣйствію одной *способности логического мышленія* въ человѣкѣ; что во всякомъ дѣлѣ жизни дѣйствительной мы болѣе полагаемся на человѣка, который держится упорно и безотчетно мнѣній, непосредственно принятыхъ и удовлетворяющихъ инстинктамъ и потребностямъ природы, нежели на того, кто способенъ измѣнить свои мнѣнія по выводамъ своей логики, которые въ данную минуту представляются ему неоспоримымъ гласомъ разума. Въ такомъ расположениіи человѣку легко сдѣлаться послушнымъ рабомъ *всякою разсужденіемъ, на которое онъ не умѣетъ въ данную минуту отвѣтить*, сдаваться безусловно, со всѣмъ своимъ міровоззрѣніемъ, на всякий новый приемъ логической аргументаціи по какому угодно предмету. Онъ становится беззащитенъ противъ всякой теоріи, противъ всякаго вывода, если не обладаетъ самъ такимъ арсеналомъ логического оружія, какимъ располагаетъ въ данную минуту противникъ его. Стоитъ только признать силлогизмъ высшимъ, безусловнымъ мѣриломъ истины,— и жизнь дѣйствительная попадеть въ рабство къ отвлеченной формулѣ разсудочнаго мышленія, умъ со здравымъ смысломъ долженъ будетъ покориться пустотѣ и глупости, владѣющей орудіемъ формулы, и искусство, испытанное жизнью, должно будетъ смолкнуть передъ разсужденіемъ первого пошавшающагося юноши, знакомаго съ азбукою формального разсужденія. Можно себѣ представить, что

сталось бы съ массою, если-бъ удалось, наконецъ, нашимъ реформаторамъ привить къ массѣ вѣру въ безусловное, руководительное значеніе логической формулы мышленія. Въ массѣ изчезло бы то драгоценное свойство устойчивости, съ помощью коего общество успѣвало до сихъ поръ держаться на твердомъ основаніи.

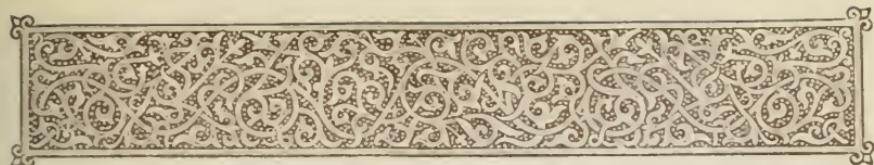
Притомъ, справедливо ли признать, что упорство въ мнѣніи, на вѣру принятомъ, состоить необходимо и всегда въ противорѣчіи съ логикой, что такъ называемый предразсудокъ означаетъ всегда тупость или недѣятельность мышленія? Нѣтъ, несправедливо. Если человѣкъ склоненъ сдаться со своимъ мнѣніемъ и вѣрованіемъ на доказательную аргументацію логики, это совсѣмъ еще не означаетъ, что онъ логичнѣе, послѣдовательнѣе того, кто, не уступая аргументаціи, упорно держится въ своемъ мнѣніи. Напротивъ того, приверженность простого человѣка къ принятому на вѣру мнѣнію происходитъ, хотя большею частью и безсознательно для него самого, отъ инстинктивнаго, но *въ высшей степени логическая побужденія*. Простой человѣкъ инстинктивно чувствуетъ, что съ перемѣною одного мнѣнія обѣ одномъ предметѣ, которую хотятъ произвестъ въ немъ посредствомъ неотразимой, повидимому, аргументаціи, соединяется перемѣна въ цѣлой цѣпи воззрѣній его на міръ и на жизнь, въ которыхъ онъ не отдастъ себѣ отчета, по которымъ неразрывно связаны со всѣмъ его мышленіемъ и бытомъ, и составляютъ духовную жизнь его. Эту-то цѣпь стремится и разорвать по звенямъ лукавая діалектика современныхъ просвѣтителей и, къ несчастію, легко иногда успѣваетъ. Но простой человѣкъ съ здравымъ смысломъ чувствуетъ, что, уступивъ беззащитно въ одномъ—первому нападенію логической аргументаціи, онъ поступилъ бы всѣмъ, а цѣльнымъ міромъ своего духовнаго представленія онъ не можетъ

поступиться изъ-за того только, что не въ состояніи логически опровергнуть аргументацію, направленную противъ одного изъ фактовъ этого міра. Напрасно лукавый совопрощникъ сталъ бы стыдить такого простого человѣка и уличать его въ глупости: въ этомъ простой человѣкъ совсѣмъ не глупъ, а разумнѣе своего противника: онъ не умѣеть еще осмыслить во всей совокупности явленія и факты своего духовнаго міра, и не располагаетъ діалектическимъ искусствомъ своего противника, но, упираясь на своеемъ, тѣмъ самымъ показываетъ, что дорожитъ своимъ мнѣніемъ, бережетъ его и цѣнитъ истину убѣжденія—не въ формѣ разсудочнаго выраженія, а во всей ея цѣлости.

А такъ хотятъ нынче просвѣщать простого человѣка. Про всѣ подобные пріемы просвѣщенія можно сказать, что они—отъ *лукаваго*. Ночью, когда люди спятъ или въ пропонкахъ безсильны, приходитъ лукавый и потихоньку, подъ видомъ доброго и благонамѣренаго человѣка, сѣть свои плевелы. И совсѣмъ не нужно для этого быть ни умнымъ, ни ученымъ человѣкомъ—пужно быть только *лукавымъ*. Требуется ли много ума, напримѣръ, чтобы подойти въ удобную минуту къ простому человѣку и пустить въ него смуту: „Что ты молишься своему Николѣ? Развѣ видалъ когда-нибудь, чтобы Никола помогалъ тому, кто ему молится?“ Или подольститься къ дѣвушкѣ въ простой семье такою рѣчью: „Кто тебѣ докажеть, что доля твоя всегда зависѣть отъ другихъ и быть рабою мушки? Разумъ говоритъ тебѣ, что ты равна ему во всемъ и на все рѣшительно одинаково съ нимъ имѣешь право“. Или—прокрасться между родителями и юношеско-сыномъ съ такою рѣчью: „По какой логикѣ обязанъ ты повиноваться родителямъ? Кто тебѣ велѣлъ уважать ихъ, когда они по твоему разумѣнію того не стоятъ? Что, какъ не случайное явленіе природы, связь твоя съ ними

и развѣ ты не свободный человѣкъ, прежде всего равный
всѣмъ и каждому?“ Съ такими рѣчами и множествомъ подо-
бныхъ бродить уже лукавый между *простыми и малыми*
въ близкихъ и дальнихъ мѣстахъ земли нашей, отбиваешь
отъ стада овецъ и велитъ звать себя *учителемъ*, и уводить
и выгонять въ пустыню...





Гербертъ Спенсеръ о народномъ воспитаніи.

The Study of Sociology. XV.

Правильное законодательство не должно отступать отъ психологической истины. Не подлежитъ сомнѣнію слѣдующая истина, которую такъ часто упускаютъ изъ виду. Дѣйствія человѣческія зависятъ непосредственно отъ *ощущенія*, а не отъ *вѣданія*. Вѣданіе, само по себѣ, не производить дѣйствія. Когда я печально накалываюсь на булавку или попадаю пальцемъ въ книжокъ, я невольно вздрагиваю. Отъ сильнаго ощущенія происходитъ движеніе непосредственно, безо всякой мысли. Напротивъ того, одно сознаніе, что булавка колеть, что книжокъ обжигаетъ — не производить во мнѣ никакого движенія. Безъ сомнѣнія, если съ этимъ сознаніемъ соединяется мысль о близкой опасности отъ булавки или отъ книжки, то возникаетъ болѣе или менѣе рѣшительное побужденіе отпрянуть. Но къ этому побуждаетъ меня воображаемая боль. Голое сознаніе, что отъ укола или отъ обжога бываетъ боль — не производить дѣйствія; дѣйствіе начинается съ той минуты, когда боль словесно утверждаемая, или идеально сознаваемая, становится дѣйствительно сознаваемою или угрозою.

жающею болью, когда въ сознаніи возникаетъ живое представлѣніе боли, какъ смутный образъ боли, уже непытанной прежде. Стало быть причиною дѣйствія, въ этомъ случаѣ, равно какъ и въ другихъ, служить не вѣдѣніе, а ощущеніе. То же самое, что видно въ этомъ простомъ дѣйствіи, оказывается и въ дѣйствіяхъ самыхъ сложныхъ. Двигателемъ дѣятельности служитъ не вѣдѣніе само по себѣ, по не иначе какъ въ соединеніи съ возбуждающимъ его ощущеніемъ. Пьяница очень хорошо знаетъ, что послѣ сегодняшняго распутства завтра утромъ явится головная боль съ тяжестью; но сознаніе этой истины не устрашаетъ его, пока не возникнетъ въ немъ живое представлѣніе угрожающей ему тягости, покуда ощущеніе, противодѣйствующее пьяной похоти, не достигаетъ такой силы, которая могла бы уравновѣсить эту похоть. То же вообще слѣдуетъ примѣнить ко всякой безпечности. Когда угрожающее зло явственно представляется воображенію, и угрожающее страданіе вполнѣ ощутительно въ духѣ, тогда налагается дѣйствительная узда на стремленіе къ немедленному удовлетворенію настоящаго желанья; но когда нѣтъ явственнаго сознанія объ угрожающемъ страданіи,—настоящее желаніе не встрѣчаетъ достаточнаго себѣ противодѣйствія. Умственно сознается вполнѣ та истина, что безпечность приводить къ бѣдственному положенію, къ лишненіямъ; но это сознаніе остается безъ дѣйствія, покуда бѣдствіе не представляется въ воображеніи живою картиной. На берегу стоитъ толпа народу. Въ воду опрокинулась лодка, человѣкъ тонетъ. Всѣ видятъ ясно, какъ дважды два четыре, что онъ утонетъ, если не подадутъ помощи. Всѣ знаютъ, что его можно спасти, если какой-нибудь пловецъ бросится въ воду и поплынетъ къ нему. Всѣмъ настѣржено отъ рожденія, что на каждомъ лежитъ долгъ помочь ближнему въ опасности; всѣ сознаютъ, что рискнуть

собою для того, чтобы счасти человѣка отъ смерти — дѣло честное и славное. Многіе умѣютъ и плавать, но отчего же никто не бросается въ воду, а всѣ только зовутъ: помогите! или кричатъ совѣты утопающему? Но вотъ — выходитъ одинъ, сбрасываетъ верхнее платье, бросается и плыветъ на помощь. Эта одинъ чѣмъ отличается отъ остальныхъ? Неужели вѣдѣніемъ? Нисколько. Сознаніе у него то же самое, что и у всѣхъ; и онъ также, какъ всѣ, знаетъ, что жизнь человѣка въ опасности, знаетъ, какъ можно помочь ему. Но у него вмѣстѣ съ этимъ сознаніемъ возбуждаются нѣкоторыя соотносительныя ощущенія, и возбуждаются сильнѣе, чѣмъ у другихъ. Во всѣхъ возбуждается по нѣскольку соотносительныхъ ощущеній; но у другихъ преобладаютъ отвращающія ощущенія страха и т. п., а у него избытокъ ощущенія произведенъ сочувствіемъ, въ совокупности, можетъ быть, съ другими ощущеніями низшаго разряда. Въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣйствіе опредѣлилось не вѣдѣніемъ, а ощущеніемъ. Чѣмъ же, стало быть, можно произвести перемѣну въ бездѣйственному отношеніи зрителей къ бѣдственному событию? Очевидно, не уясненіемъ въ нихъ вѣдѣнія, а усиленіемъ въ нихъ *высшихъ ощущеній*.

Вотъ, повидимому, основная психологическая истина, съ которою должна бы сообразоваться всякая разумная система человѣческой дисциплины. Не явно ли, что когда законодатель оставляетъ безъ вниманія эту истину, но держится противоположнаго съ нею представлениія,—онъineизбѣжно впадаетъ въ ошибку. А нынѣшнее законодательство по большей части такъ и поступаетъ; обманываясь заодно съ общественнымъ мѣрѣніемъ, оно съ горячностью стремится къ приятию мѣръ, основанныхъ на томъ предположеніи, что человѣческая дѣятельность опредѣляется не ощущеніемъ, но вѣдѣніемъ.

Развѣ не это самое предположеніе лежитъ въ основѣ всѣхъ мѣръ, съ такою настоятельностью вводимыхъ для организаціи школьнаго обученія? И у той, и у другой изъ обѣихъ партій, пропиравшихся по этому вопросу, основное понятіе одно и то же,—что для улучшенія нравовъ и дѣятельности единственнымъ средствомъ служитъ распространеніе знаній. Всѣ обольщены разными обманчивыми статистическими цифрами и упорно стоятъ на томъ, что отъ государственного школьнаго воспитанія прямо зависитъ сокращеніе преступлений и улучшеніе общественной правственности. Всѣ находятъ въ газетахъ сравнительные выводы о числѣ неграмотныхъ преступниковъ съ числомъ грамотныхъ, видятъ, что первое гораздо больше послѣдняго числа, и заключаютъ отсюда безъ разсужденій, что источникъ преступлений—невѣжество. Имъ не приходитъ въ голову, что изъ статистики можно прибрать какія угодно цифры и доказывать ими, точно съ такою же достовѣрностью, что число преступлений зависитъ, напримѣръ, отъ того, сколько разъ въ день люди моются, часто ли перемѣняютъ бѣлье, какова у нихъ въ квартире вентиляція, есть ли у нихъ особая спальня, и т. п. Стоитъ сходить въ тюрьму и справиться, сколько преступниковъ изъ такихъ, которые имѣли привычку брать по утрамъ ванну, мыться по стольку-то разъ въ день; тотчасъ явится представленіе о томъ, что преступное расположеніе состоить въ связи съ состояніемъ кожи—въ грязи или въ опрятности. Сочтите всѣхъ тѣхъ, у кого было больше одной пары платья, и сравненіе чиселъ сейчасъ покажетъ вамъ, что подъ привычку перемѣнять платье подходитъ очень небольшой процентъ преступниковъ. Справьтесь, гдѣ они жили, на большихъ улицахъ или въ закоулкахъ, и вы увидите, что городскія преступленія—безъ малаго всѣ исходятъ изъ угловъ и подваловъ. Точно также, фанатический членъ общества воз-

держаниј, поборникъ санитарныхъ мѣръ всякаго рода — найдеть въ статистическихъ цифрахъ сколько угодно сильныхъ доказательствъ своей доктрины. Но кто не принимаетъ на вѣру предлагаемое ему положение принятой доктрины, что невѣжество — причина, а преступление — слѣдствіе, и захотеть удостовѣриться, нѣтъ ли разныхъ другихъ причинъ, отъ которыхъ въ равной мѣрѣ зависитъ преступность — тотъ увидитъ ясно, что преступленіе въ дѣйствительности зависитъ отъ *нашего образа жизни*, соединенного болѣею частью съ *низшими свойствами* прирожденного естества. Тогда необходимо будетъ признать, что невѣжество есть лишь одно изъ многихъ и разнообразныхъ обстоятельствъ, коими обыкновенно сопровождается преступленіе.

Казалось бы, какъ можно отвергать эту критическую повѣрку существующаго мнѣнія и выводъ, изъ нея слѣдующій. Но существующее мнѣніе знать не хочетъ этого вывода и отвергаетъ его упорно; до того вѣилось въ умы принятие понятіе. Его можетъ измѣнить и оболживить въ умахъ только дѣйствительность, когда она покажетъ, какія вышли послѣдствія. Когда волна принятаго мнѣнія достигла извѣстной высоты, ее не отразишь никакимъ убѣжденіемъ, никакою очевидностью; надо, чтобы она истощила свою силу въ постепенномъ течениі дѣлъ человѣческихъ: лишь съ этой поры, не прежде, возникаетъ поворотъ въ мнѣніи. Это вѣрно. Иначе было бы совершенно непонятно, какъ эта увѣренность въ цѣлительной силѣ школьнаго обучения, въ которую люди вдались, наслушавшись безъ разсужденія всего, что имъ каждый день толкуютъ политическіе *доктринеры*, — какъ эта увѣренность могла устоять предъ очевидными свидѣтельствами ежедневнаго житейскаго опыта. Любая мать, любая гувернантка приходитъ каждый день въ смущеніе отъ того, что рѣчи ея не дѣйствуютъ, хотя она твердитъ безпрестанно

о томъ, что хорошо, что дурно. Отовсюду слышатся постоянныя жалобы, что убѣжденье, толкованье, разъясненіе очевидныхъ послѣдствій — не оказываетъ на нѣкоторыя натуры ровно никакого дѣйствія; что если оно дѣйствуетъ на иные натуры, то лишь благодаря восиримчивости ощущенія; а гдѣ оно, бывъ спачала безплодно, начинаетъ оказывать дѣйствіе, тамъ причиною оказывается не столько уясненіе понятія, сколько измѣненіе въ ощущеніи. Въ каждомъ хозяйствѣ услышите, что всѣ возможныя замѣчанія не производятъ дѣйствія на прислугу; сколько имъ ни толкуй, они упорно держатся старыхъ своихъ привычекъ, хотя бы самыхъ нелѣпыхъ; исправить прислугу возможно не наставленіями, а страхомъ штрафовъ и взысканій — то-есть, возбужденіемъ ощущенія. Обратимся въ сферу совсѣмъ иныхъ отношеній — увидимъ то же самое. Злостные банкроты, учредители дутыхъ компаний, производители поддельного товара, фабриканты, пользующіеся чужими марками, торговцы съ фальшивыми вѣсами, страхователи поддельного имущества, охотники, надувающіе другъ друга, игроки ведущіе большую игру, — развѣ все это не воспитанные люди? Возьмемъ крайніе случаи: всѣ извѣстные на нашей памяти отправители — принадлежать болѣею частію къ образованному классу.

Вѣра въ безусловное нравственное дѣйствіе умственного образования, опровергаемая фактами, есть не что иное, какъ предвзятое положеніе (*a priori*), натянутое до нелѣпости. Человѣкъ научился, что тотъ или другой знакъ, на бумагѣ поставленный, означаетъ то или другое слово: какую связь можно себѣ представить между этимъ знаніемъ — и высшимъ сознаніемъ долга? Умѣніе означать на бумагѣ знаками слова и звуки — неужели имѣеть силу утвердить въ человѣкѣ волю, направленную къ добру и правдѣ? Неужели таблица умноженія, умѣніе слагать и вычитать — усиливаетъ въ человѣкѣ

силу сочувствія и удерживаетъ его отъ обиды ближнему? Чувство правды—развѣ усиливается въ чемъ-нибудь отъ грамотности, или отъ знанія географіи, хотя бы самаго подробнаго? Доказывать, что одно происходит отъ другого—не все ли равно, что утверждать будто ноги укрепляются отъ упражненія пальцевъ на рукахъ, что кто выучился полатыни, тотъ узнаетъ геометрію и т. п.? Неужели менѣе неразумно утверждать, что дисциплина умственныхъ способностей сама по себѣ ведетъ къ настроенію въ человѣкѣ ощущеній па благо и па правду?

Вѣра во всемогущество школы, въ книжные уроки и чтенія принадлежитъ къ числу главныхъ суевѣрій нашего времени. Книгѣ, даже какъ орудію умственнаго образованія, придается слишкомъ много значенія. Знаніе непосредственное, изъ первыхъ рукъ, важнѣе знанія изъ вторыхъ рукъ; послѣднее должно служить только замѣпою первого, гдѣ первое невозможно; а у насъ послѣднему отдается предпочтеніе передъ первымъ. Дѣло ставится такъ, что все восприимаемое изъ печатной страницы входитъ въ курсъ воспитанія, а то, что заимствуется изъ непосредственного наблюденія въ жизни и въ природѣ—допускается въ этотъ курсъ съ трудомъ.

Читать—значитъ видѣть чужими глазами, значитъ учиться посредствомъ чужихъ способностей вмѣсто того, чтобы учиться непосредственно съ помощью своей способности; по существующей предразсудокъ вошелъ въ такую силу, что непрямой способъ ученья предпочитается прямому способу и величается образованіемъ. Намъ смѣшно слышать, что дикие считаютъ письмо волшебною грамотой; насъ забавляетъ история того негра, который, неся корзинку съ фруктами при письмѣ, сѣлъ фрукты и спряталъ подъ камень письмо, чтобы оно не донесло па него. Но не далеко отъ этого анек-

дота — заблужденіе, которое таится въ ходячихъ понятіяхъ обѣ обученій посредствомъ печати; идеямъ, пріобрѣтаемымъ посредствомъ искусственнаго орудія, приписывается какая-то магическая сила, въ сравненіи съ идеями, инымъ путемъ пріобрѣтаемыми. Это заблужденіе дѣйствуетъ очень вредно даже на умственное образованіе; но оно еще нагубнѣе дѣйствуетъ на образованіе нравственное, возбуждая предположеніе, будто и нравственнаго образования можно достигнуть чтеніемъ и повтореніемъ уроковъ.

Итакъ, повторяю, дѣйствія человѣческія опредѣляются не вѣдѣніемъ, а чувствомъ. Отсюда таковъ долженъ быть заключительный выводъ: наклонность къ тѣмъ или другимъ дѣйствіямъ укрѣпляется только опытомъ, то-есть, часто повторяемымъ переходомъ отъ чувства къ дѣйствію. Когда двѣ идеи часто повторяются въ извѣстномъ порядкѣ, онѣ, наконецъ, въ этомъ порядке между собою связываются; механическія движения мускуловъ, въ извѣстной комбинаціи, спачала очень затруднительны, но по мѣрѣ упражненія становятся легки и, наконецъ, совершаются безсознательно; точно также, съ повтореніемъ дѣйствій, возбуждаемыхъ тѣми или другими ощущеніями, извѣстный образъ дѣйствій становится у человѣка естественнымъ, не требующимъ особыхъ усилий. Нравственная привычка образуется не посредствомъ наставленія, хотя бы оно каждый день повторялось, даже не посредствомъ примѣра (если примѣръ не возбуждаетъ къ подражанію); но лишь посредствомъ дѣйствія, повторительно возбуждаемаго соотвѣтственнымъ чувствомъ. Вотъ истина очевидная изъ психологіи и оправдываемая опытомъ ежедневной жизни; тѣмъ не менѣе истина эта отрицается фанатиками ходячей теоріи образования.

Едва-ли кто станетъ сознательно утверждать, что умственное знаніе важнѣе для человѣка, нежели образованіе

характера. Всякому приходилось въ жизни дѣлать замѣчаніе, что работникъ, хоть и неграмотный, по трезвый, честный и прилежный къ дѣлу, несравненно болѣе имѣть цѣни и для себя, и для другихъ, нежели обученный и знающій, но неисправный, беспорядочный, пьяный, не думающій о семье. Въ высшихъ классахъ моть и игрокъ, какъ бы ни былъ образованъ и умственно развитъ, не стонть человѣка, который, хотя и не проходилъ патентованаго курса, дѣлаетъ добросовѣстно свое дѣло и самъ устраиваетъ дѣтей своихъ, не оставляя ихъ въ бѣдности на попеченіе роднымъ. Стало быть, если взять дѣло, какъ оно есть въ дѣйствительности, надо будетъ всѣмъ согласиться, что для благосостоянія общественнаго, характеръ—несравненно важнѣе многаго знанія. Противъ этого не спорятъ, а вывода, который отсюда слѣдуетъ, не принимаютъ. Не ставить и вопроса о томъ, какъ отразятся на характерѣ всѣ искусственные средства, употребляемыя для распространенія знанія. Изъ всѣхъ цѣлей, которая можетъ имѣть въ виду законодатель, самая первая, самая важная—образованіе характеровъ въ народѣ и утвержденіе сознанія личной ответственности каждого; а эта именно цѣль и оставляется безъ вниманія.

Размыслимъ, что вся будущность націи зависитъ отъ свойства единицъ, изъ коихъ нація составлена; что эти свойства неизбѣжно подвергаются измѣненію сообразно условіямъ, въ которыхъ поставлены; что ощущенія, возбуждаемыя этими условіями, неизбѣжно должны усиливаться; а ощущенія, которыхъ условія эти не вызываютъ, должны ослабѣвать и глохнуть. Тогда убѣдимся въ томъ, что улучшенія общественной правственности можно достигнуть не повтореніемъ правилъ и наставлений, и еще менѣе того одпою заботой о распространеніи умственнаго образования, а ежедневнымъ упражненіемъ высшихъ ощущеній духа и борѣбою съ низ-

шими ощущениями. Способъ къ этому одинъ: содергать людей въ строгомъ подчиненіи порядку общественной жизни, чтобы всякое его нарушение неизбѣжно отзывалось зломъ, а соблюдение его—благомъ для всякаго человѣка. *Въ этомъ, и только въ этомъ одномъ, состоитъ національное воспитаніе.*





З а к о н ъ.

Сколько стародавнихъ понятій помрачилось и запуталось въ наше время! Сколько стародавнихъ именъ, измѣнившихъ или, на глазахъ у насъ, измѣняющихъ свое значеніе!

Измѣняется—и не къ добру измѣняется—понятіе о законѣ. Законъ—съ одной стороны *правило*, съ другой стороны—*заповѣдь*, и на этомъ понятіи о заповѣдіи утверждается нравственное сознаніе о законѣ. Основнымъ типомъ закона остается десятословіе: „чи отца твоего... не убий... не укради... не завидуй“. Независимо отъ того, что зовется на новомъ языкѣ *санкціей*, независимо отъ кары за нарушение, заповѣдь имѣеть ту силу, что она будить совѣсть въ человѣкѣ, полагая свыше властное раздѣленіе между *свѣтомъ* и *тьмой*, между *правдою* и *неправдою*. И вотъ гдѣ,—а не въ материальной карѣ за нарушение,—основная, непрекаемая санкція закона—въ томъ, что нарушение заповѣдіи немедленно обличается въ душѣ у нарушителя—его совѣстью. Отъ кары материальной можно избѣгнуть, кара материальная можетъ пасть иногда, безъ мѣры, или свыше мѣры, на невинного, по несовершенству человѣческаго правосудія,—а отъ этой внутренней кары никто не избавленъ.

Объ этомъ высокомъ и глубокомъ значеніи закона совсѣмъ забываетъ новое учение и новая политика законодательства. На виду поставлено одно лишь значеніе закона, какъ правила для виѣнной дѣятельности, какъ механическаго уравнителя всѣхъ разнообразныхъ отправлений человѣческой дѣятельности въ юридическомъ отношеніи. Все вниманіе обращено на анализъ и на технику въ созиданіи законныхъ правилъ. Безспорно, что техника и анализъ имѣютъ въ этомъ дѣлѣ великое значеніе; но совершенствуя то и другое, разумно ли забывать основное значеніе законнаго правила. А оно не только забыто, но доходитъ уже до отрицанія его.

И вотъ, мы громоздимъ, безъ числа и безъ мѣры, необъятное зданіе законодательства, упражняемся непрестанно въ изобрѣтеніи правилъ, формъ и формулъ всякаго рода. Строимъ все это во имя свободы и правъ человѣчества, а до того уже дошло, что человѣку двинуться некуда отъ сплетенія всѣхъ этихъ правилъ и формъ, отовсюду связывающихъ, отовсюду угрожающихъ, во имя гарантій свободы. Пытаемся все опредѣлить, все вымѣрить и взвѣсить человѣческими—слѣдовательно, увы! пеполными, несовершенными и часто обманчивыми формулами. Хотимъ освободить *личо*,—но всюду разставляемъ ему ловушки, въ которыхъ чаще попадается правый, а не виноватый. Посреди безконечнаго множества постановлений и правилъ, въ коемъ путается мысль и составителей, и исполнителей,—извѣстная фикція, что невѣдѣніемъ закона никто отговариваться не можетъ,—получаетъ чудовищное значеніе. Простому человѣку становится уже невозможно ни знать законъ, ни просить о защитѣ своего права, ни обороняться отъ нападенія и обвиженія: онъ попадаетъ роковымъ образомъ въ руки стряпчихъ, присяжныхъ механиковъ при машинѣ правосудія,—и долженъ оплачивать каждый шагъ свой, каждое движеніе своего дѣла на аренѣ

суда и расправы... А между тѣмъ громадная сѣть закона продолжаетъ плестись и сплетается въ паутину, скимая и совершенствуя свои клѣточки. Недаромъ еще въ 16-мъ столѣтіи знаменитый Баконъ примѣнялъ къ этой сѣти древнее пророческое слово: „Сѣти снадуть на нихъ, говорить пророкъ, и пѣть сѣтей гибельнѣе, чѣмъ сѣти законовъ: когда число ихъ умножилось, и теченіе времени сдѣлало ихъ безполезными,—законъ уже перестаетъ быть свѣтильникомъ, освѣщающимъ путь папъ, ио становится сѣтью, въ которой путаются наши ноги“.

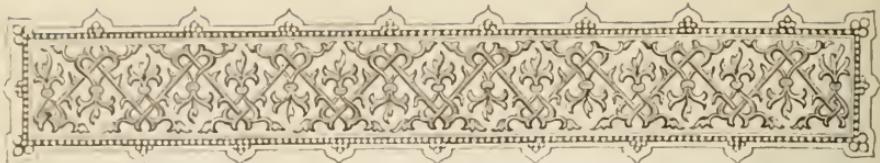
Съ 16-го столѣтія, въ отечествѣ Бакона, эта сѣть, которая въ то время уже казалась ему невозможпою,—продолжала сплетаться ежедневно и достигла чудовищныхъ размѣровъ. Масса парламентскихъ актовъ, постановлений, рѣшений представляетъ нѣчто, хаотически громадное и хаотически нестройное. Нѣть ума, который могъ бы разобраться въ ней и привести ее въ порядокъ, отдѣливъ случайное отъ постоянного, потерявшее силу отъ дѣйствующаго, существенное отъ несущественного. Масса законовъ какъ будто сложена вся въ громадный амбаръ, въ которомъ по мѣрѣ надобности выискиваютъ, что угодно, люди привыкшіе входить въ него и въ немъ разбираться. На такомъ состояніи закона опирается однако правосудіе, опирается вся дѣятельность общественныхъ и государственныхъ учрежденій. Если попытіе о правѣ не заглохло въ сознаніи народномъ,—это объясняется единственно силою преданія, обычая, знанія и искусства править и судить, преемственно сохраняемаго въ дѣйствіи старинныхъ, вѣками существующихъ властей и учрежденій. Стало быть, кромѣ закона, хотя и въ связи съ нимъ, существуетъ разумная сила и разумная *воля*, которая дѣйствуетъ властно въ примѣненіи закона, и которой всѣ сознательно повинуются. Итакъ, когда говорится объ уваженіи

къ закону въ Англіи,— слово законъ ничего еще не изъясняетъ: сила закона (коего люди не знаютъ) поддерживается въ сущности уваженiemъ къ *власти*, которая орудуетъ закономъ, и довѣріемъ къ разуму ея, искусству и знанію. Въ Англіи не пренебрежено, но строго охраняется главное, необходимое условие для поддержанія законного порядка: *определенность* поставленныхъ для того властей и принадлежащаго каждой изъ нихъ круга, такъ что ни одна изъ нихъ не можетъ сомнѣваться въ твердости и колебаться въ сознаніи предѣловъ своего государственного полномочія. На этомъ основаніи власть орудуетъ не одною буквою закона, рабски подчиняясь ей въ страхѣ отвѣтственности, но орудуетъ закономъ въ цѣльномъ и разумномъ его значеніи, какъ нравственною силой, исходящею отъ государства.

А гдѣ этой существенной силы нѣть, гдѣ нѣть древнихъ учрежденій, изъ рода въ родъ служащихъ храпилищемъ разума и искусства въ примѣненіи закона, тамъ умноженіе и усложненіе законовъ производить подлинно лабиринтъ, въ коемъ запутываются дороги всѣхъ подзаконныхъ людей, и нѣть выхода изъ сѣти, которая на нихъ наброшена. Законы становятся сѣтью не только для гражданъ, но,— что всего важнѣе, для самыхъ властей, призванныхъ къ примѣненію закона,— стѣснія для нихъ, множествомъ ограничительныхъ и противурѣчивыхъ предписаній, ту свободу разсужденія и решенія, которая необходима для разумнаго дѣйствованія власти. Когда открывается зло и насилие, когда предстоитъ защитить обиженнаго, вдоворить порядокъ и воздать каждому должное, необходимо властное дѣйствіе воли, направляемое стремленіемъ къ правдѣ и къ благу общественному. Но если при томъ лицо, обязанное дѣйствовать, на всякомъ шагу встрѣчается въ самомъ законѣ съ ограничительными предписаніями и искусственными формулами, если

на всякомъ шагу грозитъ ему опасность перейти ту или другую черту, изъ множества памѣченныхъ въ законѣ,—если при томъ предѣлы властей и вѣдомствъ, соприкасающихся въ своемъ дѣйствiи, перенутаны въ самомъ законѣ множествомъ дробныхъ опредѣленiй,—тогда всякая власть теряется въ недоумѣнiяхъ, обезсиливается тѣмъ самymъ, что должно бы вооружить ее силою, т. е. закономъ, и подавляется страхомъ отвѣтственности въ такую минуту, когда не страху, а сознанію долга и права своего—надлежало бы служить единственнымъ побужденiемъ и руководствомъ. Нравственное значеніе закона ослабляется и утрачивается въ массѣ законныхъ статей и опредѣленiй, пагромождаемыхъ въ непрерывной дѣятельности законодательной машины, и напослѣдокъ самый законъ—въ сознаніи народномъ получаетъ значеніе какой-то виѣшией силы, невѣдомо зачѣмъ ниспадающей и отовсюду связующей и стѣсняющей отправленiя народной жизни...





Болѣзни нашего времени.

I.

Всѣ недовольны въ наше время, и отъ постояннаго, хронического недовольства многіе переходятъ въ состояніе хронического раздраженія. Противъ чего они раздражены?— противъ судьбы своей, противъ правительства, противъ общественныхъ порядковъ, противу другихъ людей, противу всѣхъ и всего, кромѣ себя самихъ.

Мы всѣ бываемъ недовольны, когда обманываемся въ ожиданіяхъ: это недовольство разочарованія, приносимое жизнью на новоротахъ, сглаживается обыкновенно на другихъ новоротахъ тою же жизнью. Это—временная, прходящая болѣзнь, не то, что нынѣшнее недовольство—болѣзнь повальной, эпидемическая, которою заражено все новое поколѣніе. Люди выростаютъ въ чрезмѣрныхъ ожиданіяхъ, проходящихъ отъ чрезмѣрного самолюбія и чрезмѣрныхъ, искусственно образовавшихся потребностей. Прежде было больше довольныхъ и спокойныхъ людей, потому что люди не столько ожидали отъ жизни, довольствовались малою, средней мѣрой, не спѣшили расширять судьбу свою и ея горизонты. Ихъ сдерживало свое мѣсто, свое дѣло и сознаніе

долга, соединенного съ мѣстомъ и дѣломъ. Глядя на другихъ, широко живущихъ въ свое удовольствіе, маленькие люди думали: гдѣ намъ? и на этой возможности успокаивались. Нынѣ эта невозможность стала возможностью, доступною воображению каждого. Всякій рядовой мечтаетъ попасть въ генералы фортуны, попасть не трудомъ, не службою, не исполненiemъ долга и дѣйствительнымъ отличиемъ,—но попасть случаемъ и внезапною наживой. Всякій успѣхъ въ жизни сталъ казаться дѣломъ случая и удачи,—и этою мыслью всѣ возбуждены болѣе или менѣе, точно азартною игрою и надеждой на выигрышъ.

Въ экономической сферѣ преобладаетъ система кредита. Кредитъ въ наше время сталъ могущественнымъ орудіемъ для создания новыхъ цѣнностей;—но это средство сдѣлалось доступно каждому, и, при относительной легкости его употребленія, далеко не всѣ создаваемыя цѣнности получаютъ дѣйствительное значеніе и служатъ для производительныхъ цѣлей: большую частью создаются цѣнности мимыхъ, дутыхъ, для удовлетворенія случайныхъ и временныхъ интересовъ, съ разсчетомъ на внезапное обогащеніе. Вследствіе того успѣхъ каждого предпріятія не въ той мѣрѣ, какъ бывало прежде, зависитъ отъ личной дѣятельности, отъ способности, энергіи и знанія предпринимателя: въ общественной и экономической средѣ, около каждого дѣла, образовалось великое множество невидимыхъ теченій, неуловимыхъ случайностей, которыхъ нельзя предвидѣть и обойти. Каждому дѣятелю приходится вступать въ борьбу не съ тѣмъ или другимъ определеннымъ затрудненiemъ, но съ цѣлою сѣтью затрудненій, которыми дѣло со всѣхъ сторонъ обставлено. Разсчеты путаются, потому что данные, съ которыми необходимо считаться, ускользаютъ отъ разсчета. Отсюда—состояніе неувѣренности, тревоги и истомы, отъ котораго всѣ болѣе или

менѣе страдаютъ. Всякая дѣятельность парализуется такимъ душевнымъ состояніемъ, въ которомъ дѣятель чувствуетъ, что не въ силахъ справляться съ обстоятельствами, что воля его и разумъ безсилы передъ окружающими его препятствіями. Энергія ослабѣваетъ, человѣкъ дѣла становится фаталистомъ и привыкаетъ разсчитывать въ успѣхѣ не на силу распоряженія и предвидѣнія, но на слѣпой случай, на удачу. Вотъ одна изъ причинъ того пессимизма, которымъ заражены столь многіе въ наше время, и отчасти причина другой, общей болѣзни — практическаго материализма,— потребности чувственныхъ наслажденій. Чувственныя инстинкты возбуждаются съ особенной силой въ жизни, основанной на невѣрномъ и случайномъ, въ тревожной и лихорадочной дѣятельности.

Тѣ же явленія замѣтны и въ другихъ сферахъ общественной дѣятельности. Повсюду ея орудіемъ становится тотъ же кредитъ, повсюду создаются съ удивительною быстротою и легкостью мнимыя, дутыя цѣнности, которыя инымъ,—при благопріятныхъ случайностяхъ, приносятъ фортуну, у другихъ—разсыпаются въ прахъ отъ столкновенія съ дѣйствительностью жизни. Примѣчательно, съ какою легкостью нынѣ создаются репутаціи, проходится, или, лучше сказать, обходится воспитательная дисциплина школы, получаются важныя общественные должности, сопряженныя со властью, раздаются знатныя награды. Невѣжественный журнальный писака вдругъ становится известнымъ литераторомъ и публицистомъ; посредственныій стряпчій получаетъ значеніе пресловутаго оратора; шарлатанъ науки является ученымъ профессоромъ; педоучившійся, неопытный юноша становится прокуроромъ, судью, правителемъ, составителемъ законодательныхъ проектовъ; былинка, вчера только поднявшаяся изъ земли, становится на мѣсто крѣпкаго дерева...

Все это — мнимыя, дутыя цѣнности, а онѣ возникаютъ у насъ ежедневно во множествѣ на житейскомъ рынке, и владельцы ихъ посятся съ ними точь-въ-точь какъ биржевики съ своими раздутыми акціями. Многіе проживутъ съ этими цѣнностями весь свой вѣкъ, оставилъ съ суїности пустыми, мелкими, безсильными, непроизводительными людьми. Но у многихъ эти цѣнности вскорѣ разсыпаются въ прахъ, и владельцы оказываются несостоительными. Между тѣмъ самолюбіе успѣло раздуться до неестественныхъ размѣровъ, претензіи и потребности разрослись пе въ мѣру, желанія раздрожены,—а въ рѣшительныя минуты, когда надоѣно дѣйствовать, не оказывается силы, нѣтъ ни разума, ни характера, ни знанія. Отсюда множество нравственныхъ банкротствъ, которые происходятъ въ своемъ родѣ отъ тѣхъ же причинъ, какъ и банкротства въ сферѣ экономической. Трудно исчислить, сколько гибнетъ силъ въ наше время отъ неправильнаго, уродливаго, случайнаго ихъ распределенія, отъ неправильнаго обращенія всяческихъ капиталовъ на нашемъ рынке. Въ результатѣ являются — люди молодые, но уже надломленные, искалеченные, разбитые жизнью. Иные не выносятъ тяготы своей и, подобно сосуду неравномѣрно нагрѣтому, лопаются: въ петербургіи, они оканчиваютъ жизнь самоубийствомъ, которое, повидимому, недорого стоитъ человѣку, когда онъ привыкъ себя одного ставить центромъ своего бытія, мѣрить его материальною мѣрой, и чувствуетъ, что мѣра эта ускользаетъ отъ него, и расчеты его спутались. Другіе бродятъ по свѣту, умножая собою число недовольныхъ, раздраженныхъ, возмущенныхъ противъ жизни и общества: бѣда, если ихъ накопится слишкомъ много, и откроются имъ случаи выместить свою злобу и удовлетворить свою ненависть...

II.

Древніе ставили, говорять, скелетъ или мертвую голову посреди роскошныхъ иировъ своихъ, для напоминанія пи-рующимъ о смерти. Мы не имѣемъ этого обычая: мы весе-лясь и пируя, желаемъ далече отъ себя отбросить мысль о смерти. Тѣмъ не менѣе она сама, смерть, за плечами у ка-ждаго, и грозный образъ ея готовъ ежеминутно воспрянуть нередъ очами.

Каждый день приноситъ намъ извѣстія о самоубийствахъ, то тутъ, то тамъ случившихся, необъяснимыхъ, неразгадан-ныхъ, грозящихъ превратиться въ какое-то обыденное, при-вычное явленіе нашей общественной жизни... Страшно и подумать,—неужели мы уже привыкли къ этому явленію? Когда у насъ бывало что-либо подобное, когда цѣнилась такъ дешево душа человѣческая, и когда бывало такое об-щественное равнодушіе къ судьбѣ живой души, по образу Божию созданной, кровью Христовой искупленной? Богатый и бѣдный, ученый и безграмотный, дряхлый и старецъ, и юноша, едва начинающій жить, и ребенокъ, едва стоящій на ногахъ своихъ,—всѣ лишаютъ себя жизни съ непонятною, безумною легкостью—одинъ просто, другой драпируя въ по-слѣдній часъ себя и свое самоубийство.

Отчего это?—Оттого, что жизнь наша стала до невѣ-роятности уродлива, безумна и лжива; оттого, что исчезъ всякий порядокъ, пропала всякая послѣдовательность въ на-шемъ развитіи; оттого, что разслабла посреди насъ всякая дисциплина мысли, чувства и нравственности. Въ обществен-ной и въ семейной жизни попортились и разстроились всѣ простыя отношенія органическія, на мѣсто ихъ протѣсни-лись и стали учрежденія или отвлеченные начала, большую ча-стью ложныя или лживо приложенные къ жизни и дѣй-

ствительности. Простыя потребности духовной и тѣлесной природы уступили мѣсто множеству искусственныхъ потребностей, и простыя ощущенія замѣнились сложными, искусственными, обольщающими и раздражающими душу. Самолюбія, выроставшія прежде ровнымъ ростомъ, въ соотвѣтствіи съ обстановкой и условіями жизни, стали разомъ возникать, разомъ подниматься во всю безумную величину человѣческаго „я“, не сдерживаемаго никакою дисциплиной, разомъ вступать въ безмѣрную претензію отдалнаго „я“ на жизнь, на свободу, на счастье, на господство надъ судьбой и обстоятельствами. Умы—крѣпкіе и слабые, высокіе и низкіе, большиe и мелкіе—всѣ одинаково, утративъ способность познавать невѣжество свое, способность учиться, т. е. покоряться законамъ жизни,—разомъ поднялись на минимую высоту, съ которой каждый большой и малый считаетъ себя судьей жизни и вселенной.

Такъ накопилась въ нашемъ обществѣ необъятная масса лжи, проникшей во всѣ отношения, заразившей самую атмосферу, которую мы дышемъ, среду, въ которой движемся и дѣйствуемъ, мысль, которую мы направляемъ свою волю, и слово, которымъ выражаемъ мысль свою. Посреди этой лжи, что можетъ быть, кромѣ хилаго возрастанія, хилаго существованія и хилаго дѣйствованія? Самая представленія о жизни и о цѣляхъ ея становятся лживыми, отношенія спутываются, и жизнь лишается той *равномѣрности*, которая необходима для спокойнаго развитія и для нормальной дѣятельности. Мудрено ли, что многіе не выдерживаютъ такой жизни и теряютъ окончательно равновѣсие нравственныхъ и умственныхъ силъ, необходимое для жизни? Хрустальный сосудъ, равномѣрно нагрѣваемый, можетъ выдержать высокую степень жара; нагрѣтый неравномѣрно и внезапно—онъ лопается. Не то же ли происходитъ у насъ и съ тѣми несчастными самоубийцами, о коихъ мы ежедневно слышимъ?

Одни погибаютъ отъ внутренней лжи своихъ представлений о жизни, когда, при встрѣчѣ съ дѣйствительностью, представлѣнія эти и мечты разсыпаются въ прахъ: несчастный человѣкъ, не зная кромѣ своего „я“ никакой другой опоры въ жизни, не имѣя вѣръ своего „я“ никакого нравственнаго начала для борьбы съ жизнью, бѣжитъ отъ борьбы и разбивается себѣ. Другие—погибаютъ оттого, что не въ силахъ примирить свой, можетъ быть возвышенный, идеалъ жизни и дѣятельности съ ложью окружающей ихъ среды, съ ложью людей и учреждений; разувѣряясь въ томъ, во что обманчиво вѣровали, и не имѣя въ себѣ другой истинной вѣры,—они теряютъ равновѣсіе и малодушно бѣгутъ воинъ изъ жизни.... А сколько такихъ, коихъ погубило внезапное и неравномѣрное возвышеніе, погубила *власть*, къ которой они легко-мысленно стремились, которую взяли на себя—не по силамъ? Наше время—есть время минимыхъ, фиктивныхъ, искусственныхъ величинъ и цѣнностей, которыми люди взаимно прельщаютъ другъ друга; дошло до того, что дѣйствительному достоинству становится иногда трудно явить и оправдать себя, ибо на рынке людскаго тщеславія имѣть ходъ только дутая блестящая монета. Въ такую эпоху люди легко берутся за все, воображая себя въ силахъ со всѣмъ справиться,—и успѣваютъ при некоторомъ искусствѣ проникать, безъ большихъ усилий, на властное мѣсто. Властное званіе соблазнительно для людскаго тщеславія; съ нимъ соединяется представленіе о почетѣ, о льготномъ положеніи, о правѣ раздавать честь и создавать изъ ничего иныхъ власти. Но каково бы ни было людское представленіе, нравственное начало власти одно, непреложное: „Кто хочетъ быть первымъ, тотъ долженъ быть всѣмъ слугою“. Если бы всѣ обѣ этомъ думали,—кто пожелалъ бы брать на себя невыносимое бремя? Однако, всѣ готовы съ охотою идти во власть, и это *бремя власти*—

многихъ погубило и раздавило, ибо въ наше время задача власти — усложнилась и запуталась чрезвычайно, особенно у насъ. И такъ много есть людей, передъ коими власть, легко-мысленно взятая, легкомысленно возложенная, становится роковымъ сфинксомъ и ставить свою загадку. Кто не сумѣлъ разгадать ее,— тотъ погибаетъ.

III.

Для того чтобы уразумѣть, необходимо подойти къ предмету и стать на вѣрную точку зрѣнія: все зависитъ отъ этого, и всѣ человѣческія заблужденія происходятъ оттого, что точка зрѣнія невѣрная. Мы привыкли довѣряться своему впечатлѣнію, а впечатлѣніе получаемъ скользя по поверхности предмета,— что мы умѣемъ дѣлать съ ловкостью и быстро-тою. Довольствуясь впечатлѣніемъ, мы спѣшимъ обнаружить его передъ всѣми, по свойственному памъ нетерпѣнію; вы-сказавшись, соединяемъ съ нимъ свое самолюбіе. Затѣмъ лѣнъ, совокупно съ самолюбіемъ, не допускаетъ насъ вглядѣться ближе въ сущность предмета и повѣрить свою точку зрѣнія. Итакъ, по передачѣ впечатлѣній между воспріимчивыми пастурами, образуется, развивается и растетъ заблужденіе, объ-емлющее цѣлья массы и иерѣдко принимаемое въ смыслѣ общественнаго мірѣнія.

Это вѣрно и въ маломъ, и въ большомъ. Цѣлья си-стемы міровоззрѣнія господствовали въ теченіе вѣковъ, со-ставляя неоспоримое убѣжденіе, доколѣ не открывалось па-конецъ, что они ложны, ибо исходятъ изъ невѣрной точки зрѣнія. Такова была Птоломеева астрономическая система. Люди въ теченіе вѣковъ упорно смотрѣли на вселенную сбоку, искоса, потому что утвердили на землѣ свою цен-

тральной точку зреія, потому что земля казалась имъ такъ безусловно необъятна: иного центра не могли они себѣ и представить. Система была исполнена путаницы и противорѣчій, для соглашенія коихъ избрѣтались наукою искусственные циклы, эпициклы и т. п. Вѣка проходили такъ, пока явился Коперникъ и выпулъ фальшивый центръ изъ этой системы. Все стало ясно, какъ скоро обнаружилось, что вселенная не обращается около земли, что земля совсѣмъ не имѣетъ государственного значенія, что она не что иное, какъ одна изъ множества планетъ, и зависитъ отъ силъ, безконечно превышающихъ ее мощью и значеніемъ.

Итоломеева система давно отжила свой вѣкъ; но вотъ— какъ понять, что въ наше время возстановляется господство въ иномъ кругѣ идей и понятій? Развѣ не впадаетъ въ подобную же путаницу повѣйшая философія, опять отъ той-же грубой ошибки, что *человѣка* принимаетъ она за центръ вселенной и заставляетъ всю жизнь обращаться около него, подобно тому, какъ въ ту пору наука заставляла солище обращаться около земли. Видно, ничто не ново подъ луною. Это *старые* выдается за новость, за послѣднее слово науки, въ коей слѣдуютъ, одно за другимъ, противорѣчія, отреченія отъ прежнихъ положеній, новыя, категорически высказываемыя положенія, опроверженія на нихъ, съ той же авторитетностью высказываемыя, поразительныя открытія, о коихъ вскорѣ открывается, что лучше и не поминать обѣ нихъ. Все это называется прогрессомъ, движениемъ науки впередъ. Но по правдѣ, развѣ это не тѣ же самые циклы и эпициклы Итоломеевой системы? И когда явится новый Коперникъ, который сниметъ очарованіе и покажетъ вѣяль, что центръ не въ человѣкѣ, а вѣтъ его, и безконечно выше и человѣка, и земли, и цѣлой вселенной?

И развѣ не то же самое мы видимъ, напримѣръ, въ истории всѣхъ сектъ, начиная съ гностиковъ или арианъ и кончая паниковцами, сюляевцами, толстовцами и нигилистами? Вся причина въ томъ, что человѣкъ, слѣдя впечатлѣнію, становится на ложную точку зрѣнія; въ своемъ я утверждаетъ онъ эту точку, и ему кажется, что вся вселенная около него движется,— и опь ищетъ и правды во всемъ и всюду, на все и всѣхъ негодуетъ, все обличаетъ, исключая себя, съ тѣми же грѣхами и страстями.... Какое странное, какое роковое заблужденіе!

IV.

Упорство догматического вѣрованія всегда было и, кажется, будетъ удѣломъ бѣдного, ограниченаго человѣчества, и люди широкой, глубокой мысли, широкаго кругозора, всегда будутъ въ немъ исключеніемъ. Одни вѣрованія уступаютъ мѣсто другимъ— мѣняются догматы, мѣняются предметы фанатизма. Въ наше время умами владѣетъ, въ такъ называемой интеллигентціи, вѣра въ общія начала, въ логическое построеніе жизни и общества по общимъ началамъ. Вотъ новѣйшіе фетиши, замѣнившіе для насъ старыхъ идоловъ; но, въ сущности, и мы, такъ же какъ прародѣды наши, творимъ себѣ кумира и ему покланяемся. Развѣ не кумиры для насъ такія понятія и слова, какъ, напримѣръ, *свобода, равенство, братство*, со всѣми своими примѣненіями и развѣтвленіями? Развѣ не кумиры для насъ общія положенія, добытыя учеными и возведенныя въ догматъ, напримѣръ, происхожденіе видовъ, борьба за существованіе и т. п.?

Вѣра въ общія начала есть великое заблужденіе нашего вѣка. Заблужденіе состоитъ именно въ томъ, что мы вѣруемъ въ нихъ догматически, безусловно, забывая о жизни

со всѣми ея условіями и требованіями, не различая ни времени, ни мѣста, ни индивидуальныхъ особенностей, ни особенностей исторіи.

Жизнь—не наука и не философія; она живеть сама по себѣ, живымъ организмомъ. Ни наука, ни философія не господствуютъ надъ жизнью, какъ иѣчто виѣнище: они черпаютъ свое содержаніе изъ жизни, собирая, разлагая и обобщая явленія жизни; но странно было бы думать, что они могутъ обнять и исчерпать жизнь со всѣмъ ея безконечнымъ разнообразіемъ, дать ей содержаніе, создать для нея новую конструкцію. Въ примѣненіи къ жизни всякое положеніе науки и философіи имѣетъ значеніе *впроятнаго* предположенія, гипотезы, которую необходимо всякой разъ повѣрить здравымъ смысломъ и искусствомъ разумомъ, по тѣмъ явленіямъ и фактамъ, къ которымъ требуется приложить ее: иное примѣненіе общаго начала было бы насилиемъ и ложью въ жизни. Одно то уже должно смутить насъ, что въ наукѣ и философіи очень мало бесспорныхъ положеній: почти всѣ составляютъ предметъ пререканій между школами и партіями, почти всѣ колеблются новыми опытами, новыми ученіями. Нѣть ни одной *прикладной* къ жизни науки, которая представляла бы цѣльную одежду: всякая спита изъ лоскутовъ, болѣе или менѣе искусно, съ измѣненіемъ покроя по модѣ,— а иногда куски эти висятъ въ клочкахъ, разодраныхъ школьною полемикою различныхъ ученій. Между тѣмъ, представители каждой школы въ наукѣ вѣрюютъ въ положенія свои догматически и требуютъ безусловнаго примѣненія ихъ къ жизни. Стоитъ привести въ примѣръ хоть политическую экономію: экономисты составили себѣ репутацію величайшихъ педантовъ и догматиковъ потому, что хотятъ непремѣнно вторгнуться въ жизнь, въ законодательство, въ промышленность непрекрасмою властью, со своими общими законами

производства и распределения силъ и капиталовъ; но при этомъ всѣ болѣе или менѣе забываютъ о живыхъ силахъ и явленіяхъ, которые въ каждомъ данномъ случаѣ составляютъ элементъ, противодействующій закону, возмущающей его операциѣ. Они вывели формулу изъ великаго множества фактовъ и явлений, по ис могли исчерпать всего безконечнаго ихъ разнообразія, всего ряда комбинацій, которыхъ въ каждомъ данномъ случаѣ представляются. И эти формулы были великимъ благодѣяніемъ для науки, которая, благодаря имъ, уяснилась и двинулась впередъ, но ни одна изъ нихъ не составляетъ неподвижнаго, безусловнаго закона для жизни: каждая служитъ только указаніемъ для изслѣдованія, каждая выражаетъ только известное движеніе, направленіе силы, которая въ данномъ случаѣ непремѣнно возмущаетъ или уравновѣшиваетъ другими силами, дѣйствующими въ противоположныхъ направленияхъ. Исчислить математически дѣйствіе этихъ силъ невозможно, ихъ можно распознать только вѣрнымъ чутьемъ практическаго смысла, и потому общія заключенія и выводы политической экономіи, хотя и сдѣланы изъ безспорныхъ фактовъ, имѣютъ только предположительное гипотетическое значеніе, а не значеніе решительнаго, безусловнаго закона. Такъ и будетъ разумѣть ихъ всегда истинный ученый, незараженный педантизмомъ книжной науки. Но таковы далеко не всѣ ученые. Что же сказать о массѣ, о тѣхъ поверхностныхъ читателяхъ, законоподателяхъ, юристахъ, администраторахъ, которые болѣею частію слышали звонъ, да не знаютъ, гдѣ онъ, которые почерпаютъ изрѣдка все свое знаніе изъ пѣсколькихъ страницъ руководства, изъ современной журнальной статьи, и любятъ, безъ дальнихъ изслѣдований, находить въ минуту для каждой задачи готовое рѣшеніе въ статьѣ указателя за номеромъ и печатью? Для нихъ каждое общее положеніе служить

непрекаемымъ „авторитетомъ науки“, дешевымъ средствомъ для готоваго рѣшенія важиѣйшихъ вопросовъ жизни и удобнымъ оружиемъ, которымъ отражаются всѣ аргументы здраваго смысла, опровергаются заразъ всѣ факты исторіи и практики. Благодаря этимъ-то общимъ положеніямъ и начальству, нынѣ такъ легко стало самому пустому и поверхностному уму, самому бездѣльному и равнодушному пролазу, съ помощью фразы, просить за глубокаго философа, политика, администратора, и одержать дешевую побѣду надъ здравымъ смысломъ и опытомъ. Такой ученый можетъ вспрыгнуть разомъ на „высоту науки и современной мысли“. На этой высотѣ кто въ силахъ ему противиться?

Масса не можетъ принять общаго положенія въ истинномъ, условномъ его значеніи: разумѣнію массы доступно всякое правило, всякое явленіе, только въ живомъ, конкретномъ образѣ и представлениі. Великая ошибка папшего вѣка состоитъ въ томъ, что мы, воспринимая сами съ чужого голоса фальшивую вѣру въ общія отвлеченные положенія, обращаемся съ ними къ народу. Это — новая игра въ общія понятія, пущенная въ ходъ идеалистами народнаго просвѣщенія въ наше время, игра — слишкомъ опасная потому, что она ведетъ къ развращенію пароднаго сознанія. Въ эту игру играеть, къ сожалѣнію, слишкомъ часто, съ народомъ — наша школа; по прежде всего въ нее начали играть народныя правительства, и многія уже дорого за нее поплатились, — поплатились *правдою нравственнаго отношенія* къ народу. Одна ложь производить другую; когда въ народѣ образуется ложное представлениe, ложное чаяніе, ложное вѣрованіе, правительству, которое само заражено этою ложью, трудно вырвать ее изъ народнаго понятія; ему приходится считаться съ нею, играть съ нею вновь и поддерживать свою силу въ народѣ искусственно, новымъ сплетенiemъ лжи въ учре-

жденіяхъ, въ рѣчахъ, въ дѣйствіяхъ,—сплетеніемъ, неизбѣжно порожденымъ первою ложью.

Это можно видѣть всего явственнѣе на примѣрѣ Франціи. Въ прошломъ столѣтіи фантазія идеалистовъ-философовъ издала новое евангеліе для человѣка,—евангеліе, которое все составилось изъ идеализаций и отвлеченныхъ обобщеній. Школа Руссо показала человѣчеству въ розовомъ свѣтѣ натурального человѣка и провозгласила всеобщее довольство и счастіе на землѣ—по природѣ; она раскрыла передъ всѣми вновь разгаданія, будто бы, тайны общественной и государственной жизни, и вывела изъ нея мнимый законъ контракта между народомъ и правительствомъ. Появилась знаменитая *схема* народнаго счастія, изданъ рецептъ мира, согласія и довольства для народовъ и правительствъ. Этотъ рецептъ построенъ былъ на чудовищномъ обобщеніи, совершенно отрѣшенному отъ жизни, и на самой дикой, самой падутой фантазіи; тѣмъ не менѣе, эта ложь, которая, казалось, должна была разсыпаться при малѣйшемъ прикосновеніи съ дѣйствительностью, заразила умы страстнымъ желаніемъ примѣнить ее къ дѣйствительности и создать, на основаніи рецепта, новое общество, новое правительство. Еще шагъ—и изъ теоріи Руссо вырождается знаменитая формула: *свобода, равенство, братство*. Эти понятія заключаютъ въ себѣ вѣчную истину правственного, идеального закона, *въ нераздѣльной связи со вполню идеей дома и жертвы*, на которой держится, какъ живое тѣло на костяхъ, весь организмъ правственного міросозерцанія. Но когда эту формулу захотѣли обратить въ обязательный законъ для общественного быта, когда изъ нея захотѣли сдѣлать *формальное право*, связующее народъ между собою и съ правительствомъ во вѣнчанихъ отношеніяхъ, когда ее возвели въ какую-то новую религию для народовъ и правителей,—она оказалась роковою ложью,

и идеальный законъ любви, мира и терпимости, сведеній на почву виѣшней законности, явился закономъ насилия, раздора и фанатизма. Общія положенія эти брошены были въ массу народную не какъ евангельская проповѣдь любви, не какъ возваніе къ долгу, во имя нравственнаго идеала, но какъ слово завѣта между правительствомъ и народомъ, какъ объявление новой эры естественнаго блаженства, какъ торжественное обѣтованіе счастья. *Иначе не моі народъ ни принять, ни понять это слово.* Масса не въ состояніи философствовать; и свободу, и равенство, и братство она приняла какъ право свое, какъ состояніе, ей присвоенное. Какъ ей, послѣ того, помириться со всѣмъ, что составляетъ бѣдствіе жалкаго бытія человѣческаго — съ идеей бѣдности, низкаго состоянія, лишений, нужды, самоограниченія, повиненія? Терпѣть невозможно, масса ропщетъ, негодуетъ, протестуетъ, волнуется, ниспровѣргаетъ учрежденія и правительства, не сдержавшія словъ, не осуществившія ожиданий, возбужденныхъ фантастическимъ представлениемъ, созидаетъ новыя учрежденія и вновь разрушаетъ ихъ, бросается къ новымъ властителямъ, отъ которыхъ заслушала то же льстивое слово, и — низвергаетъ ихъ, когда и они не въ состояніи удовлетворить ее. И править этою массою стало уже невозможно прямымъ отношеніемъ власти, безъ льстивыхъ словъ, безъ льстивыхъ учрежденій; правительству приходится вести игру и передергивать карты. Жалкий и ужасный видъ хаоса въ общественномъ учрежденіи: съ шумомъ мечутся во всѣ стороны волны страстей, успокоиваясь на минуту, подъ волшебные звуки словъ: свобода, равенство, публичность, верховенство народное... и кто умѣеть искусно и во-время играть этими словами, тотъ становится народнымъ властителемъ...

V.

Въ древиемъ Римъ разсѣлась однажды земля: открылась бездонная пропасть, угрожавшая поглотить весь городъ. Какъ ни трудились, какъ ни старались поправить бѣду,—ничто не удавалось. Тогда обратились къ оракулу; оракулъ отвѣтилъ, что пропасть закроется, когда Римъ принесетъ ей въ жертву первую свою драгоцѣнность. Извѣстно, что затѣмъ послѣдовало. Курцій, первый гражданинъ Рима, доблестный изъ доблестныхъ, бросился въ пропасть, и она закрылась.

И у насъ, въ новомъ мірѣ, открывается страшная бездонная пропасть,—пропасть науперизма, отдѣляющая бѣдного отъ богатаго непроходимою бездоною. Чего мы не ввергаемъ въ нее для того, чтобы ее наполнить! цѣлыми возами деньги и всяческие капиталы, массу проповѣдей и пазидательныхъ книгъ, потоки энтузіазма, сотни и тысячи придуманныхъ нами общественныхъ учрежденій—и все пропадаетъ въ ней, и бѣдна зіяетъ передъ нами попрежнему. Нѣтъ ли и у насъ оракула, который возвѣстилъ бы намъ вѣрное средство? Слово этого оракула давно сказано и всѣмъ намъ знакомо: „заповѣдь новую даю вамъ—да любите другъ друга. Какъ Я возлюбилъ васъ, такъ и вы другъ друга любите“. Еслибы умѣли мы углубиться въ это слово и взойти на высоту его, еслибы рѣшились мы бросить въ бездну то, что всего для насъ драгоцѣнѣе—наши теоріи, наши предразсудки, наши привычки, связанныя съ исключительностью житейскаго положенія, въ которомъ каждый утверждалъ себя,—мы принесли бы себя самихъ въ жертву бѣдѣ,—и она навсегда бы закрылась.

VI.

Самое правое чувство въ душѣ человѣческой остается истиннымъ чувствомъ лишь дотолѣ, пока держится въ *свободѣ* и охраняется *простотою*: что просто, только то право. Но камень преткновенія для всякаго простого чувства — это отраженіе въ самосознаніи человѣка — это рефлексія. Чувство приобрѣтаетъ особенную силу, когда укрѣпляется въ душѣ сознаніемъ, объединяется съ идею; но тутъ же оно подвергается опасности пережить себя въ идеѣ, поколебаться въ простотѣ своей. Случается, что чувство, опираясь на идею и обобщаясь въ ней, разрѣшается въ формулу сознанія — и въ ней выдыхается. Форма, какъ и буква, можетъ убить духъ животворный. Форма обманываетъ, потому что подъ формою незамѣтно развивается лицемѣріе, самообольщеніе человѣческаго я. Что свѣтлѣе, что драгоцѣннѣе, что плодотворнѣе простого чувства любви въ душѣ человѣческой! Но съ той минуты, какъ оно соединилось съ идеей,— ему предстоитъ опасность отъ той же рефлексіи. И оно можетъ создать для себя форму, разбиться на виды, пути, категоріи, порядки, ученія. Такъ приходитъ, наконецъ, такая минута, что не чувство простое и цѣльное наполняетъ душу и оживляеть ее,— а бѣдное я человѣческое начинаетъ воображать, что оно владѣетъ чувствомъ, или идеей чувства, служить его *носителемъ* и дѣятелемъ. Здѣсь конецъ простотѣ, здѣсь начинается разложеніе чувства и легко можетъ перейти въ лицемѣріе. Умножится, можетъ быть, количество дѣлъ любви, установятся въ нихъ порядки, но простоты чувства уже иѣть,— благоуханіе его пропало.

Приходятъ въ голову эти мысли, когда смотришь на дѣятельность нашихъ организованныхъ благотворительныхъ

учреждений и обществъ, съ ихъ уставами, собраніями, почетными членами, почетными наградами и пр. Все учрежденіе по идеѣ посвящено любви и благотворительности, но при видѣ проиходящихъ въ немъ явленій, нерѣдко спрашивается: гдѣ же обрѣтается тутъ мѣсто простому чувству любви со-страдательной и дѣятельной? Видишь собраніе, на коемъ произносятся рѣчи, видишь мужскіе и дамскіе комитеты, куда съѣзжаются со скучой и равнодушіемъ лица, вовсе не-изнакомыя съ дѣломъ, обсуждать какія-то правила и параграфы, видишь бумаги, составленныя секретаремъ, коему выпрашиваются за то награды и пособія; слышишь напыщенные разсужденія самозванныхъ педагоговъ о школьныхъ системахъ и методахъ преподаванія; видишь — о, верхъ общественнаго лицемѣрія! — благотворительные базары, на коихъ иная продавицца-дама, ничего отъ себя не жертвую-щая, носить на себѣ костюмъ, стоящій иной разъ не менѣе того, что выручается отъ цѣлой продажи, — и это называется дѣломъ любви христіанской!...

Это любовь, въ видѣ общественнаго учрежденія. Но вотъ еще — *правда*, правда, на которой міръ стоитъ и держится, правда, безъ которой жизнь становится какимъ-то маревомъ дикаго воображенія, — чѣмъ она является въ новѣйшей, искусственной, выглаженной и выстроганной по европейской модѣ — формѣ судебнаго учрежденія! Мы видимъ машину для *искусственнаго дѣланія* правды, по самой правды не видно въ торжественной суетѣ машинаго производства, не слышно въ шумѣ колесъ громаднаго механизма. Вы ищете нравственной силы — увы! едвали не вся сила, какая есть въ дѣйствіи машины, уходитъ на *трение* колесъ, совершающихъ непрерывное движеніе, — едвали не вся нравственная усиля дѣятелей уходятъ на *смазку* этихъ колесъ и проводниковъ къ нимъ. Засѣдаютъ суды, въ величавомъ

сознаніи своего жреческаго достоинства, и, подобно древнимъ авгурамъ, слушаютъ, сколько вмѣстить вниманіе; ораторствуютъ адвокаты, проводя величавыя слова и громкія фразы по узенькимъ коридорамъ и трубочкамъ хитросплетенаго мышленія, и заранѣе взвѣшивая на звонкую монету каждый изъ длинныхъ своихъ періодовъ; тянутся длинные, томительные часы словесной пытки, а между тѣмъ главная жертва этой пытки, злосчастная *правда*, должна переходить въ обѣтованный рай по тонкому волоску Магометова моста: горе тому, кто положится при этомъ переходѣ на свою собственную силу. Правъ только тотъ, кто, изучивъ прежде въ совершенствѣ искусство акробата, съумѣеть не оступиться и не упасть на дорогѣ....

VII.

Вся жизнь человѣческая—исканіе счастья. Неутолимая жажда счастья вселяется въ человѣка съ той минуты, какъ онъ начинаетъ себя чувствовать, и не истощается, не умираетъ, до послѣдняго вздоханія. Надежда на счастье не имѣть конца, не знаетъ предѣла и мѣры: она безграницна, какъ вселенная, и иѣтъ ей конечной цѣли, потому что начало ея и конецъ—въ безконечномъ. Это безконечное стремленіе къ счастью одна монгольская сказка олицетворяетъ въ видѣ матери, потерявшей любимую дочь, единственное дитя свое. Грубая фантазія степного жителя представляеть эту матерь въ видѣ старой женщины съ однимъ глазомъ на самой макушкѣ. Съ воплемъ ходить она по свѣту, отыскивая потерянное дитя свое, и подходитъ по временамъ то къ тому, то къ другому предмету—туда, гдѣ ей чудится, не дитя-ли свое она встрѣтила. Она хватаетъ руками свою находку, упосить ее и потомъ высоко поднимаетъ надъ головою, чтобы

удостовѣриться, точно ли нашла свое сокровище. Но лишь только вглядывается въ нее единственнымъ глазомъ, какъ видитъ, что ошиблась, и съ отчаяніемъ бросаеть на землю и разбиваетъ находку свою, и опять идетъ по свѣту на поискъ. Счастье, котораго ищетъ человѣкъ, опредѣляется судьбою его, отзыается въ немъ *несчастiemъ*. Несчастье человѣка,— сказано у Карлайля,—пронходить отъ его величія: оттого онъ несчастенъ, что въ немъ самомъ—безконечное, и это безконечное—человѣкъ, при всемъ своемъ искусствѣ, при всемъ стараніи, не въ силахъ совершенно заключить и закопать въ конечномъ.

Стало быть, невозможно счастье, потому что оно небыятно. Но отчего же вмѣстѣ съ сознаніемъ этой необъятной цѣли, въ душѣ человѣческой такъ живо созиадіе возможности счастья? Отчего человѣкъ, и отрицаешься отъ настоящаго, и отворачиваешься съ отчаяніемъ отъ будущаго, обращается къ прошедшему и находить эту возможность тамъ? У рѣдкаго человѣка иѣть въ прошедшемъ такой поры, про которую говоритъ дума его: „а счастье было такъ возможно, такъ близко“!

Счастье отлетѣло отъ человѣка съ той минуты, какъ онъ захотѣлъ *овладѣть* безконечнымъ, сдѣлать его своимъ, познать его. „Будете знать добро и зло, будете какъ боги“. Этого знанія не получилъ онъ, но въ немъ произошло *раздвоеніе*, и съ тѣхъ поръ одна половина его ищетъ другую для того, чтобы возстановить единство и цѣлость сознанія и жизни.

Если есть гдѣ что-либо подходящее къ званію счастья, такъ есть развѣ у иныхъ, немногихъ, въ той порѣ простого бытія и простого сознанія, когда душа ощущаетъ жизнь въ себѣ и поконится въ чувствѣ жизни, не стремясь знать, но отражая въ себѣ безконечное, какъ капля чистой воды на

вѣткѣ отражаетъ въ себѣ солнечный лучъ. Если есть у кого такая пора, дай только Боже, чтобы она длилась дольше, чтобы самъ человѣкъ по своей волѣ не стремился изъ судьбы своей въ новые предѣлы. Дверь такого счастья *не внутире отворяется*: нажимая ее *изнутри*, ее не удержишь на мѣстѣ. Она *отворяется изнутри*, и кто хочетъ, чтобы она держалась, *не долженъ трогать ее*.

Прошедшее свое мы осудили, осудили за то, что не распознаемъ въ немъ тѣхъ *принциповъ*, которые составляютъ для насъ мѣрило истины и благополучія. По кодексу этихъ принциповъ, изъ коихъ главный есть *равенство*,—хотимъ мы передѣлать жизнь, отвести въ другую сторону старые ключи ея, которыми питались прежнія поколѣнія, расположить ее вновь по сочиненному нами плану—и составляемъ и пересоставляемъ этотъ планъ по правиламъ науки, при чёмъ первѣко обличаемъ въ себѣ глубокое невѣжество въ той самой науцѣ, по которой планы составляются. Не бѣда!— говоримъ мы смѣло:—жизнь исправить ошибки нашего плана,— и противорѣчимъ себѣ сами, ссылаясь на жизнь, которой знать не хотѣли, когда принимались за планъ свой. Жизнь на каждомъ шагу обличаетъ насъ слѣдами неправды, вмѣсто той правды, которую мы обѣщали внести въ нее; явленіями эгоизма, корыстолюбія, насилия,—вмѣсто любви и мира; язвами бѣдности и оскудѣнія, вмѣсто богатства и умноженія силы; жалобами и воплями педовольства—вмѣсто того довольства, которое мы пророчили. Не бѣда!—повторяемъ мы громче и громче, стараясь заглушить всѣ вопросы, сомнѣнія и возраженія:—лишь бы *принципы* нашего вѣка были сохранены и поддержаны. Что нужды, если страдаетъ современное поколѣніе; что за бѣда, если вмѣсто крѣпкихъ людей являются отовсюду дрянные людшки; пусть будетъ сегодня плохо: завтра, послѣ завтра будетъ лучше. Новыя поколѣнія про-

цвѣтуть на развалинахъ старого,— и наши принципы оправдываютъ себя блестательно въ новомъ мірѣ, въ потомствѣ, въ будущемъ... Мечты, которыми наполнена жизнь наша и дѣятельность, осуществляются же когда-нибудь послѣ... Увы! развѣ осуществляется онѣ въ такомъ смыслѣ, какъ случилось со Свифтомъ: въ молодости онъ *устроилъ домъ сумасшедшыхъ* и подъ старость нашелъ себѣ пріютъ *въ этомъ самомъ домѣ.*

VIII.

Какъ рѣдко общественные отношения наши бываютъ просты и непосредственны! Какъ рѣдко приходится, встрѣчая людей, вести и продолжать бесѣду съ ними простымъ и естественнымъ обмѣномъ мысли! Когда живешь въ такъ называемомъ обществѣ, приходится ежеминутно вступать въ отношения съ людьми, съ которыми у тебя нѣть ничего общаго, кромѣ человѣчества. Некогда останавливаться, некогда высматривать и выжидать молча, въ спокойномъ состояніи: если бы я захотѣлъ поступить такъ, другой, кто комѣ подошелъ, кого познакомили со мною, не допустилъ бы до этого. Надобно въ ту же минуту завязывать сношеніе, и приличіе требуетъ, чтобы оно казалось естественнымъ. Надобно говорить, и разговоръ вступаетъ немедленно на дряблую почву легкой попытки, на обмѣнѣ фразъ о предметахъ (какъ въ свидѣтельствѣ сумасшедшаго) „до обыкновенной жизни касающихся“. Люди подходятъ другъ къ другу со стороны „попытки“, которой довольно у каждого,— и нерѣдко случается, что при всѣхъ дальнѣйшихъ встрѣчахъ случайная ихъ бесѣда не сходитъ съ этой почвы, на которую оба сразу ступили. Но бываетъ и еще хуже: люди съ перваго шага начинаютъ кривляться и ломаться другъ

передъ другомъ. Это случается всего чаще при *неравныхъ* встрѣчахъ, т. е. когда одинъ, представляя себѣ въ другомъ иѣчто особенное или знаменитое, съ своей точки зрењія, желаетъ поставить себя вровень съ нимъ на соціальной почвѣ, не ударить лицомъ въ грязь, выказаться. Съ другой стороны, кто же не воображаетъ въ себѣ самомъ какои-нибудь особенности или знаменитости? Такъ начинается дуэль двухъ маленькихъ, иногда очень маленькихъ я, и у каждого всѣ помышленія направлены къ тому, чтобы выказать себя, не уступить другому, возбудить о себѣ въ другомъ, по возможности, блестящее представление. Блестѣть предполагается обыкновено умомъ,—а кто не признаетъ въ себѣ ума, или остроумія, или житейской опытности, замѣняющей, а иногда и превосходящей умъ? Какая обицарная практика, какое нескончаемое поприще для пошлости мелкаго *самолюбія!*

Къ пей присоединяется еще пошлость *любезности*. Всякая добродѣтель общественной жизни имѣеть оборотную сторону пошлости, и эта сторона выказывается тамъ, где добродѣтель принимаетъ видъ общественного приличія, общественного обычая, размѣниваясь на мелкую монету извѣстнаго чекана. Сколько выпущено у насъ въ обращеніе такой размѣнной монеты, и какъ уже вся она перстерлась, какая стала слѣпая, переходя ежеминутно изъ рукъ въ руки—и черезъ какія руки! Лучшія слова потеряли свое первоначальное значеніе, переставъ быть правымъ выраженіемъ мысли; самыя глубокія истины опопалились, являясь въ рубищѣ ходячаго слова; драгоценнѣйшія чувства изпосились и истрепались на людяхъ, выставляясь напоказъ встрѣчному и попречному.

Надо быть умнымъ, надо быть любезнымъ—вотъ два главные мотива, возбуждающіе нашу дѣятельность въ бесѣдной встрѣчѣ. И мы привыкли явную пошлость первого мотива оправдывать видимою уважительностью послѣдняго.

Совѣсть шепчетъ: сколько говорилъ ты вздору! какъ ты рисовалъся! сколько притворнаго напускалъ на себѣ! какъ игралъ словами!—У насъ готово возраженіе: я старался быть любезнымъ; надобно было оживить рѣчъ въ собраніи, пособить хозяину или хозяйкѣ устроить, чтобы не скучно было.

Однако, совѣсть права, и пошлость напрасно стала бы прикрывать и оправдывать себя любезностью. Изъ-за одной любезности,—безъ побужденій мелкаго самолюбія,—не сталъ бы человѣкъ, уважающій себя и слово свое, въ теченіе цѣлыхъ часовъ играть въ пошлую игру фразами, настраивать себя, по мѣрѣ надобности, на тоиъ любви и негодованія, ходить на ходуляхъ, раскрашивать придуманные разсказы и сочиненныя ощущенія и давать волю пасмѣнкѣ и остроумному злословію тамъ, гдѣ открывались виды на слабости и грѣшки близняго.

IX.

Девятнадцатый вѣкъ справедливо гордится тѣмъ, что онъ вѣкъ преобразованій. Но преобразовательное движение, во многихъ отношеніяхъ благодѣтельное, составляеть въ другихъ отношеніяхъ и язву нашего времени. Ускоренное обращеніе анализующей и преобразующей мысли въ нашихъ жилахъ дожило, кажется, до лихорадочнаго состоянія, отъ котораго едва-ли не пора уже намъ лѣчиться успокоеніемъ и дѣтой; а покуда продолжаются еще пароксизмы возбужденной мысли, трудно повѣрить, чтобы дѣятельность ея была здоровая и плодотворная. Жизнь пошла такъ быстро, что многіе съ ужасомъ спрашиваютъ: куда мы несемся и гдѣ мы успокоимся? Если мы летимъ вверхъ, то уже скоро захватить у насъ дыханіе; если внизъ—то не падаемъ-ли мы въ бездну?

Съ идеей преобразования происходит то же, что со всякою, новою, въ существѣ глубокою и истинною, идеей, когда она *пошла въ ходъ*. Въ началѣ она является достояніемъ немногихъ, глубокихъ умовъ, горяющихъ огнемъ мысли, прожившихъ и прочувствовавшихъ глубоко то, что пропонѣдуютъ и къ осуществлению чего стремятся. Потомъ, когда, распространяясь дальше и дальше, идея становится достояніемъ массы и переходитъ въ то состояніе, въ которомъ слово принимается на вѣру, лишь только произнесено, идея переходитъ на рынокъ и на этомъ рынке опровергивается, мельчасть. Въ минуту сильного возбужденія, великие поборники движения поднимаютъ знамя, и когда они несутъ его, знамя это служитъ подлинно символомъ великаго дѣла, скликающимъ на служеніе дѣлу; но когда знамя это переходитъ на людской рынокъ, и мальчишки начинаютъ съ нимъ прогуливаться въ пору и не въ пору, составляя игру съ безсмысленными криками, тогда знамя теряетъ свой смыслъ, и люди серьезные, люди дѣла начинаютъ сторониться оттуда, гдѣ это знамя показывается.

Есть эпохи, когда преобразование является назрѣвшимъ плодомъ общественнаго развитія, выраженіемъ потребности, всѣми ощущаемой, развязкою узловъ, вѣками сплетенныхъ въ общественныхъ отношеніяхъ; преобразователь является пророкомъ, изрекающимъ слово общественной совѣсти, и осуществляетъ мысль, которую всѣ въ себѣ носятъ.

Слова его и дѣла его властствуютъ падъ всѣми, потому что свидѣтельствуютъ обѣ истинѣ, и всѣ, кто отъ истины, отзываются на это слово. Но когда дѣло его совершилось,— является иногда вслѣдъ его полчище лживыхъ пророковъ. Всѣ хотятъ быть пророками, отъ мала до велика, у всѣхъ на устахъ новое слово, невыполнимое въ душѣ, непрограммированное въ жизни, дешевое и потому гнилое, схваченное

на людскомъ рынке и потому опопленное. Всякий, кто не дѣлалъ никакого дѣла и кому лѣнъ дѣлать дѣло, къ которому приставленъ, сочиняетъ проектъ новаго закона, или строить себѣ маленькую каюедру, съ которой проповѣдуетъ преобразованіе, требуя, чтобы дѣло, котораго онъ не дѣлалъ и потому не знаетъ, было поставлено въ новой формѣ и на новомъ основаніи. Таковы *малые*: что же сказать о *великихъ*, страдающихъ наравнѣ съ малыми преобразовательною горячкой?

Общая и господствующая болѣзнь у всѣхъ такъ называемыхъ государственныхъ людей — честолюбіе или желаніе прославиться. Жизнь течетъ въ наше время съ непомѣрной быстротою, государственные дѣятели часто мѣняются, и потому каждый, покуда у мѣста, горитъ нетерпѣніемъ прославиться поскорѣе, пока еще есть время и пока въ рукахъ кормило. Скучно поднимать нить на томъ мѣстѣ, на которомъ покинулъ ее предшественникъ, скучно заниматься мелкою работой организаціи и улучшенія текущихъ дѣлъ и существующихъ учрежденій. И всякому хочется передѣлать все свое дѣло заново, поставить его на новомъ основаніи, очистить себѣ ровное поле, *tabula rasa*, и на этомъ полѣ творить, ибо всякий предполагаетъ въ себѣ творческую силу. Изъ чего творить, какіе есть подъ рукою материалы, — въ этомъ рѣдко кто дастъ себѣ явственный отчетъ съ практическимъ разумѣніемъ дѣла. Нравится именно высший приемъ творчества — *творить изъ ничего*, и возбужденное воображеніе подсказываетъ на всѣ возраженія извѣстные отвѣты: „учрежденіе само поддержитъ себя, учрежденіе создастъ людей, люди явятся“, и т. п. Замѣчательно, что этотъ приемъ тѣмъ соблазнительнѣе, тѣмъ сильнѣе увлекаетъ мысль государственного дѣятеля, чемъ менѣе онъ приготовленъ знаніемъ и опытомъ къ своему званію. Этотъ приемъ соблазнителенъ еще и тѣмъ, что, при-

крывая действительное знаніе, онъ даетъ широкое поле дѣйствію политического *шарлатанства* и помогаетъ прославиться самыи дешевымъ способомъ. Гдѣ требуется дѣятельное управление дѣломъ, знаніе дѣла, направлениe и усовершенствование существующаго, тамъ опытааго и знающаго не трудно распознать отъ невѣжды и пустозвона; но гдѣ начинаютъ съ осужденія и отрицанія существующаго и гдѣ требуется организовать дѣло вновь, по расхваленному чертежу, па прославленныхъ началахъ—тамъ чертежъ и начало па первомъ планѣ, тамъ можно безъ прямого знанія дѣла аргументировать общими фразами, виѣшиимъ совершенствомъ конструкціи, указаниемъ па образцы, существующіе гдѣ-то за моремъ и за горами; па этомъ полѣ не легко бываетъ отличить умѣлаго отъ незнающаго и шарлатана отъ дѣльного человѣка; па этомъ полѣ всякий *великій* человѣкъ можетъ, ничего не смысля въ дѣлѣ и не давая себѣ большого труда, защищать какой бы то ни было проектъ преобразованія, составленный въ подначальныхъ канцеляріяхъ кѣмъ-нибудь изъ *малыхъ* преобразователей, подстрекаемыхъ тоже желаніемъ дешево прославиться...

Это удивительное явленіе слѣдуетъ причислить, по истинѣ, къ знаменіямъ нашего времени,—а оно замѣтно повсюду, хотя не всюду въ одинаковой мѣрѣ и степени: въ любомъ правлениi, въ любомъ совѣщательномъ собраниi или комитетѣ. Разумѣется, всего явственнѣе выражается оно тамъ, гдѣ менѣе заложено въ прошедшей исторіи твердыхъ учрежденій, гдѣ быть старинной, вѣкамъ утвержденной школы и дисциплины, гдѣ жизнь общественная въ историческомъ своемъ развитіи не выработала опредѣленныхъ разрядовъ, стѣпокъ и клѣточекъ, полагающихъ преграду вольному устройству быта и порыву мысли и желанія. Гдѣ шире и вольнѣе историческое и экономическое поле, тамъ

есть гдѣ разгуляться какимъ-угодно преобразовательнымъ фантазіямъ,—тамъ пѣтъ иногда и борьбы, пѣтъ и затруднительного расчета съ утвердившимися идеями, интересами и партіями, по полная свобода широкому размаху руки, патинку груди, быстрому налету первого падѣзника...

А на ряду съ этимъ явлениемъ, происходящимъ на вершинахъ, совершается другое подобное же движение изъ долинъ, ущелій и пропастей земныхъ. Оно также преобразовательное, по въ иномъ, совсѣмъ уже безусловномъ смыслѣ. Масса людей, недовольныхъ своимъ положеніемъ, недовольныхъ тѣмъ или другимъ состояніемъ общественнымъ, и ослѣпленныхъ или дикимъ инстинктомъ животной природы, или идеаломъ, созданнымъ фантазіей узкой мысли,—отрицаю всю существующую, выработанную исторіей экономію общественныхъ учрежденій, отрицаю Церковь и государство, и семью и собственность,—стремится къ осуществленію дикаго своего идеала на землѣ. И эти люди требуютъ, чтобы про-повѣдуемое ими преобразованіе началось съ начала, т. е. на ровномъ полѣ, *tabula rasa*, которое хотятъ они прежде всего расчистить на обломкахъ существующихъ учрежденій.

Это враги цивилизациіи,—вопіютъ по всей Европѣ государственные люди, и во имя цивилизациіи вооружаются противъ массы непривычныхъ преобразователей. Но не время-ли имъ самимъ, защитникамъ существующаго порядка, подумать о томъ, что сами они первые стремятся иногда слишкомъ легко-мысленно налагать смѣлую руку на существующее, разрушать старыя зданія и строить на мѣсто ихъ новыя, сами они слишкомъ беззаботно и самоувѣренно спѣшать осуждать утвердившіеся порядки и разрушать преданія и обычай, созданные народнымъ духомъ и исторіей; сами они, строя громаду новыхъ законовъ, которые пронесли мимо жизни, и съ которыми жизнь не можетъ справиться.—насилуютъ въ сущности тѣ самыя

условія дѣйствительной жизни, которыя отрицаєтъ рѣшительно масса отъявленныхъ враговъ цивилизаціи. Борьба съ ними можетъ быть успѣшина лишь во имя жизненныхъ началь и на почвѣ здорової дѣйствительности...

Слово *преобразованіе* такъ часто повторяется въ наше время, что его уже привыкли смѣшивать со словомъ—*улучшеніе*. Итакъ, въ ходячемъ мнѣніи поборникъ преобразованія есть поборникъ улучшенія, или, какъ говорятъ, *прогресса*, и, наоборотъ, кто возражаетъ противъ необходимости и пользы преобразованія, какого бы то ни было, на новыхъ началахъ, тотъ врагъ прогресса, врагъ улучшенія, чуть-ли не врагъ добра, правды и цивилизаціи. Въ этомъ мнѣніи, пущенному въ оборотъ на рынкѣ нашей публичности, заключается великое заблужденіе и обольщеніе. Въ силу этого мнѣнія здравому смыслу, здравому взгляду на предметъ, становится трудно проложить себѣ дорогу и пробиться сквозь предразсудокъ,—и конкретное, реальное здравое воззрѣніе уступаетъ мѣсто воззрѣнію отвлеченному отъ жизни и фантастическому; люди дѣла и подлинаго знанія принуждены стирониться отъ дѣла и теряютъ кредитъ передъ людьми отвлеченной идеи, окутанной фразою. Напротивъ того, кредитомъ пользуется съ первого слова тотъ, кто выставляетъ себя представителемъ новыхъ началъ, поборникомъ преобразованій и ходитъ съ чертежами въ рукахъ для возведенія новыхъ зданій. Поприще государственной дѣятельности наполняется все *архитекторами*, и всякий, кто хочетъ быть работникомъ, или хозяиномъ, или жильцомъ—долженъ выставить себя архитекторомъ. Очевидно, что при такомъ направленіи мысли и вкуса открывается безграничное поле всякому шарлатанству, всякой ловкости лицемѣрія и бойкости невѣжества. Съ другой стороны, дѣятельность положительная, практическая, затрудняется чрезмѣрно, когда она совершается посреди

общаго настроенія къ анализу и критикѣ, къ повѣркѣ вся-
каго дѣла общими началами, общими фразами, преобладаю-
щими въ общественной средѣ. Тому, кому следовало бы
сосредоточить все вниманіе и всѣ силы на своемъ дѣлѣ и
на томъ, какъ лучшіе и совершеніг҃е исполнить его,—при-
ходится безпрерывно считаться съ мнѣніемъ о дѣлѣ, думать
о томъ, какъ оно *показается*, какое произведетъ впечатлѣніе
и въ обществѣ, и въ начальствѣ, если это начальство про-
буетъ все на томъ же камѣ новой идеи, новаго напра-
вленія. Такъ развлекается попусту на критику и на борьбу
съ критикою, по большей части пустою, масса великихъ силъ,
которыя могли бы совершить великое дѣло; такъ много
времени уходитъ у дѣятелей на это механическое треніе,
на эту безнадѣную борьбу съ возбужденной мыслью, что
немнога уже остается его для дѣйствительной, сосредоточен-
ной дѣятельности. Человѣкъ окруженъ со всѣхъ сторонъ
призраками и образами дѣла, которые тревожатъ его, но
истинное, реальное дѣло исчезаетъ у него подъ руками—
и не дѣлается. Такого положенія не могутъ вытерпѣть лучшіе,
правдивые дѣятели. Они чувствуютъ въ себѣ силу, когда
имѣютъ дѣло съ *реальностями* жизни, съ фактами и живыми
силами; тогда они *вѣрютъ* въ дѣло, и эта *вѣра* даетъ имъ
возможность *творить чудеса* въ мірѣ реальностей. Но они
теряютъ духъ, когда приходится имъ орудовать съ образами,
призраками, формами и фразами; теряютъ духъ, потому что
не чувствуютъ вѣры, а безъ вѣры—мертва всякая дѣятель-
ность. Мудрено-ли, что лучшіе дѣятели отходятъ, или, что
еще хуже и что слишкомъ часто случается,—не покидая
места, становятся равнодушны къ дѣлу и стерегутъ только
видъ его и форму, ради своего прибытка и благосостоянія...

Вотъ каковы бываютъ иногда плоды преобразователь-
ной горячки, когда она свыше мѣсяца длится. Какой врачъ

вылечить отъ иел современное общество, современныхъ дѣятелей? Какой богатырь направить силы наши на дѣйствительныи улучшениія, въ которыхъ мы такъ много и со всѣхъ сторонъ нуждаемся, и которыхъ жаждетъ жизнь дѣйствительная. Намъ говорять: подождите еще немнога: вотъ поднимутся таинственные покровы преобразованій — и явится изъ-подъ нихъ новая, дѣвственная жизнь въ полнотѣ красы и силы, и засияеть новая заря, и откроется страна, медомъ и млекомъ текущая. И мы ждемъ давно, по все не шевелятся покровы, новый міръ не является, наша „незнакомка спитъ глубокимъ сномъ“, и къ прежнимъ покровамъ прибавляются только новые.

Междуд тѣмъ стоитъ только пройтись по улицамъ большого или малаго города, по большой или малой деревни, чтобы увидать разомъ и на каждомъ шагу, въ какой бездѣлѣ улучшений мы нуждаемся, и какая повсюду лежитъ безобразная масса покинутыхъ дѣлъ, пренебреженныхъ учрежденій, разсыпанныхъ храминъ. Вотъ школы, въ которыхъ учитель, покинувъ дѣтей, составляетъ рефераты о методахъ преподаваній и фразистыя рѣчи для публичныхъ засѣданій; вотъ учебники заведенія, гдѣ, подъ видомъ и формою преподаванія, обученіе не производится, и безтолковые учители сами не знаютъ, чому учить и чего требовать въ смѣшеніи понятій, приказаний и инструкцій; вотъ больница, въ которую боится идти народъ потому, что тамъ холодъ, голодъ, беспорядокъ и равнодушіе своеокрыстнаго управлениія; вотъ общественное хозяйство, въ которомъ деньги собираются большія, и никто ни за чѣмъ не смотритъ, кроме своего прибытка или тицеславія; вотъ библиотека, въ которой все разрознено, растеряно и распущенено, и нельзя найти толку ни въ употребленіи суммъ, ни въ пользованіи книгами; вотъ улица, по которой пройти нельзя безъ ужаса и омерзенія отъ не-

чистотъ, заражающихъ воздухъ, и отъ скопления домовъ разврата и пьянства; вотъ присутственное мѣсто, призванное къ важнѣйшему государственному отправленію, въ которомъ водворился хаосъ неурядицы и неправды, за неспособность чиновниковъ, туда назначаемыхъ; вотъ департаментъ, въ который, когда ни придешь за дѣломъ, не находишь нужныхъ для дѣла лицъ, обязанныхъ тамъ присутствовать; вотъ храмы—свѣтильники народные, оставленные посреди сель и деревень запертыми, безъ службы и пѣнія, и вотъ другое, изъ коихъ, за крайнимъ безчиниемъ службы, не выносить народъ ничего, кромѣ хаоса, невѣдѣнія и раздраженія... Великъ этотъ свитокъ, и сколько въ немъ написано у насъ *рыданія, и жалости, и горя!*

Вотъ жатва, на которую требуются дѣлатели, куда надобно направить личныя силы мысли, любви и негодованія, гдѣ потребны не законодательные пріемы преобразованія, отвлекающіе только силу, а пріемы правителя и хозяина,— собирающіе силу къ одному мѣсту для воздѣлыванія и улучшенія. Вотъ истинная потребность нашего времени и нашего мѣста—и ею-то пренебрегаетъ нашъ вѣкъ изъ-за общихъ вопросовъ, изъ-за громкихъ словъ, звенящихъ въ воздухѣ. „Не расширяй судьбы своей—было вѣщаніе древняго оракула:—не стремись брать па себя больше, чѣмъ па тебѣ положено“. Какое мудрое слово! Вся мудрость жизни—въ сосредоточеніи мысли и силы, все зло—въ ея разсѣяніи. Дѣлать—значить не теряться во множествѣ общихъ мыслей и стремлений, но выбрать себѣ дѣло и мѣсто въ мѣру свою, и па немъ конять, и садить, и воздѣлывать, къ нему собирать потоки своей жизненной силы, въ немъ восходить отъ работы къ знанію, отъ знанія къ совершенію и отъ силы въ силу.

X.

Богатство приводить въ движение множество низкихъ побуждений человѣческой природы. Богатство налагаетъ на человѣка тяжелыя повинности, связываетъ его свободу во многомъ. Одна изъ самыхъ ощущительныхъ невзгодъ для богача — то, что онъ становится предметомъ эксплуатации, около него образуется сплетеніе лжи всякаго рода. Еслибы не притуплялось въ немъ чувство, — онъ чувствовалъ бы ежеминутно, что отношенія его къ людямъ перемѣнились, что многие — даже изъ самыхъ близкихъ къ нему лицъ — подходить къ нему не просто; и что для великаго множества людей, входящихъ съ нимъ въ отношенія, личность его совсѣмъ исчезаетъ, а мѣсто ея занимаютъ виѣшнія черты его, черты принадлежащаго ему капитала. Для чувствительной души такое положеніе несносно, и потребна большая простота души богатому человѣку для того, чтобы онъ съумѣлъ сохранить въ себѣ ясное и благоволительное отношеніе къ людямъ и не обезумѣлъ бы, не опошлился бы самъ отъ всей той пошлости, которая вокругъ него поднимается и выказывается подъ вліяніемъ представлениія объ его богатствѣ.

Подобной же участіи подвергается и другая сила человѣческая — умъ, особенно умъ изъ ряда выходящій, господственный. Когда умный человѣкъ приобрѣтаетъ авторитетъ, входитъ въ славу между людьми, — поднимаются около него пошлые побуждения человѣческой природы. Сближеніе съ нимъ ставить себѣ въ честь; люди начинаютъ подходить къ нему не просто, а съ заднею мыслью — показаться передъ нимъ умными людьми и возбудить его вниманіе. Когда умный человѣкъ входитъ въ моду, неѣтъ такой пошлости, которая не пыталась бы надѣваться на себя передъ нимъ маску умнаго человѣка и кривляться передъ нимъ со всею аффекціей,

на которую способна пошлость. Это ощущение лжи и аффекции для умного человека было бы нестерпимо и заставило бы его бежать от людей, когда бы самъ онъ не подвергался действию той-же пошлости. Отъ того мы встречаемъ нерѣдко умныхъ людей, которые, привыкая къ аффекции, рисуются передъ окружающею ихъ пошлостью мелкихъ умовъ и охотниче вступаютъ въ общеніе съ ними, нежели съ равными себѣ. Немногіе умы свободны отъ этой слабости тщеславія.

Жена Карлейля въ одномъ изъ своихъ остроумныхъ писемъ къ мужу, говоритъ: „Вчера была у меня мистрия N. Мы долго съ нею бесѣдовали, и наша бесѣда показалась бы очень интересной даже тебѣ, если бы ты могъ тутъ-же быть невидимкою,— но испрѣменно невидимкою, въ волшебномъ плащѣ.— Кого считаютъ „мудрецомъ и глубочайшимъ мыслителемъ нашего века“, тому приходится жить одному, въ тяжкомъ, можно сказать, царственномъ уединеніи. Онъ осужденъ— ни отъ кого не слышать простого слова, въ простотѣ сказанаго,— всякая рѣчь подходитъ къ нему украшенная, въ нарядѣ. Вотъ отъ чего Артуръ Гельпсъ (извѣстный писатель) и многіе другіе говорятъ со мною очень просто, очень умно и занимательно,— а съ тобой начнуть говорить— и приводить тебя въ томительную тоску. Со мной они не боятся становиться на скромную почву своей собственной личности, какова она есть. А съ тобой— они представляютъ изъ себя Талони и принимаются балансировать, поднимаясь на носкѣ умственнаго или нравственнаго величія“.

XI.

Въ темные эпохи исторіи бывало такое состояніе общества, въ которомъ падъ всѣми гражданами тяготѣло чувство взаимнаго недовѣрія и подозрѣнія. Современники

съ ужасомъ разсказываютъ о своей эпохѣ или о своемъ городѣ, что люди боятся прямо смотрѣть въ глаза другъ другу, боятся сказать вслухъ близкихъ и домашнихъ свободное, неподкупное слово, или отдатьсяльному душевному движению, чтобы оно не было подхвачено, переведено и не послужило поводомъ къ жестокому преслѣдованію, во имя государства или начала общественной безопасности. Изъ темныхъ угловъ и изъ послѣднихъ слоевъ общества поднимается и сама собою образуется въ корпорацію прибыльная профессія доносчиковъ,—тайная сила, предъ которой всѣ преклоняются, всѣ молчатъ въ страхѣ или, когда молчать невозможно, одѣваютъ мысль свою въ лживыя, льстивыя и лицемѣрныя формы.

Читая такие разсказы изъ временъ нашей Бироновщины или изъ эпохи французского террора, мы радуемся, что живемъ въ иную пору, и что события той эпохи составляютъ для насъ преданіе. Но взмотримся ближе въ совершающіяся около насъ явленія—и принуждены будемъ сознаться, что и наше время изобилуетъ признаками подобнаго же состоянія. Больше того: между нами взаимное недовѣріе пустило, можетъ быть, корни еще глубже во внутреннюю жизнь общества, нежели въ ту пору. Всего болѣе поражаетъ въ состояніи нашего общества, за послѣдніе годы, отсутствіе той простоты и искренности въ отношеніяхъ, которая составляетъ главный интересъ общественной жизни, оживлять ее вѣяніемъ свѣжести и служить признакомъ здоровья. Какъ рѣдко случается видѣть, что люди сходятся просто; а какъ отрадно было бы сойтись съ человѣкомъ просто, безъ задней мысли, безъ искусственнаго задняго плана, на которомъ рисуются смутныя тѣни, мѣшающія свободному общению! Такихъ тѣнѣй образовалось въ послѣднее время безчисленное множество,—точно множество темныхъ духовъ, разсѣ-

ающихъ смути въ воздухѣ. Откуда взялись они? хорошо,огда-бы ихъ порождала идея опредѣленная, сознательная;огда-бы еще возможно было устранить ихъ тоже посредствомъ идей. Но пѣть, ихъ порождаются, по большей части, несознательныя представлія и впечатлѣнія, всосанныя и хваченыя случайно, изъ воздуха, какъ подхватываются и сасываются атомы испорченной матеріи, при развитіи всякой эпидеміи. Въ воздухѣ кишатъ теперь атомы умственныхъ и правственныхъ эпидемій всякаго рода: имя имъ регіонъ, и иное название трудно для нихъ придумать.

Посмотрите, какъ сходятся люди въ нашемъ обществѣ—знакомые и незнакомые,—для дѣла и безъ дѣла. Едва зглянули въ глаза другъ другу, едва успѣли обмѣняться словомъ, какъ уже стала между ними тѣнь. Съ первого слова, которое сказаль, съ первого приема рѣчи, который потребилъ одинъ—у другого возникла уже задняя мысль:,—вотъ какого онъ мнѣнія, вотъ какой онъ школы, вотъ какого онъ *убѣжденія* (любимый изъ повѣшнихъ терминовъ, одинъ изъ самыхъ обманчивыхъ). Онъ *либералъ*, онъ *клерикалъ*, онъ *крѣпостникъ*, онъ *соціалистъ*, онъ *анархистъ*, онъ *бритредеръ*, онъ *протекціонистъ*, онъ поклонникъ *„Московскихъ Вѣdomостей“*, онъ сторонникъ *„Недѣли“*, *„Вѣстника Европы“*, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Присмотритесь, прислушайтесь, какъ, вслѣдъ за этимъ первымъ впечатлѣніемъ, разгорается все сильнѣе взаимное *подозрѣніе*, какъ оно потомъ срѣходитъ въ *раздраженіе*, какъ, затѣмъ, всякий спокойный обмѣнъ мысли становится невозможенъ, какъ отрывистыя и рѣзкія фразы смѣняются въ принужденной бесѣдѣ толь же рѣзкими паузами, и какъ, наконецъ, люди расходятся, не узнавъ другъ друга и осудивъ уже другъ другаъ первой встрѣчи. Каждый сразу поставилъ другъ друга въ извѣстную категорію, въ извѣстную клѣточку, съ кото-

рою, какъ онъ давно уже рѣшилъ, нѣть у него ничего общаго. Изъ-за чего весь этотъ безсмысленный раздоръ? Изъ-за убѣждений? Можно сказать павѣриое, въ большинствѣ случаевъ, что съ той и съ другой стороны нѣть никакого осмыслиннаго убѣженія, нѣть организованной партіи, а есть только пѣчто вчера услышанное, вчера вычитанное въ газетахъ, вчера привившееся изъ разговора съ такимъ же точно гражданиномъ, только что покупавшимъ точно такой же дѣтской кашн...

Сколько силъ тратится даромъ или лежитъ въ бесплодії изъ-за этой безсмысленной игры во впечатлѣнія и въ призраки убѣждений? Люди, въ сущности, честные, добрые, способные, вмѣсто того, чтобы дѣлать, сколько можно каждому, практическое, насущное дѣло жизни, на нихъ положенное, складываютъ руки, теряютъ энергию, истощаются въ бесплодномъ раздраженіи и негодованіи,—рѣшая, что на такихъ принципахъ, съ такою теоріею, съ такими взглядаами—дѣятельность невозможна. Они еще руки не приложили къ своему дѣлу, а оно имъ уже опротивѣло, они извѣрились въ него потому, что оно не соответствуетъ воображаемой теоріи дѣла. Куда ни посмотришь, всюду тотъ же порокъ, не имѣющій смысла. Педагоги, въ ожесточенной бранѣ о принципахъ, системахъ и способахъ преподаванія, забыли школу, въ которой несчастныя дѣти преданы въ жертву тупымъ, безтолковымъ или лѣтнимъ учителямъ, а каждый изъ этихъ учителей готовъ въ каждую минуту спорить объ общихъ началахъ того самаго дѣла, котораго онъ не дѣластъ и не разумѣеть. Суды наши плачутъ по юристамъ, по опытнымъ практикамъ, преданнымъ дѣлу изъ-за самого дѣла; университеты наши плачутъ по юристамъ-профессорамъ, облюбовавшимъ свое дѣло, какъ дѣло жизни; а юристы наши—ученые и практики—едва сойдутся,—глядншь, скоро

уже готовы разорвать другъ друга изъ-за подозрѣнія въ ретроградности, въ клерикализмѣ, въ радикализмѣ, изъ-за идей паказанія, изъ-за идей суда присяжныхъ, изъ-за гражданскаго брака, изъ-за тюремнаго устройства той или другой системы. Войдите въ засѣданіе одной изъ многочисленныхъ комиссій для разсмотрѣнія того или другого *проекта*; прислушайтесь къ рѣчамъ, которыми въ такомъ дикомъ беспорядкѣ перебиваются другъ друга, съ концовъ зеленаго стола, члены, насланные изъ разныхъ вѣдомствъ; всмотритесь во взгляды, которые они мечутъ другъ въ друга: какое недовѣріе, какая подозрительность! какая аффектація въ приемахъ рѣчи! какое пустозвонство фразъ! Изъ-за чего все это? Изъ-за дѣла, которымъ рѣдко кто занимался въ дѣйствительности? Нѣть, все изъ-за какой-то идеи, которую схватилъ гдѣ-то случайно ораторъ и которую понесъ себѣ, или, лучше сказать, на которой понесъ себя — *ad astra*; все изъ-за какой-то теоріи, да еще изъ-за теоріи, въ рѣдкихъ случаяхъ хорошо вычитанной изъ хорошей книги! Въ любой гостиной, едва разговоръ выйдетъ изъ коленъ обычныхъ фразъ и новостей, повторяется въ иномъ видѣ то же явленіе. Происходитъ смѣшеніе языковъ съ такою путаницей понятій, съ такими иногда рѣзкими, внутренними противорѣчіями мысли, что останавливаешься въ изумлениі и въ ужасѣ. Не рѣдкость встрѣчать людей, которые своими рѣчами и образомъ дѣйствій своихъ точно протестуютъ съ гордостью противъ своего же имени, противъ званія, которое носятъ, противъ дѣла, которому паружно служатъ и которымъ живутъ и содержатся. Случается слышать, какъ воспитатель, управляющій заведеніемъ, презрительно отзывается о педагогахъ, отстаивающихъ строгость дисциплины въ воспитаніи; какъ военный офицеръ съ негодованіемъ громитъ отсталыхъ людей, доказывающихъ необходимость дисциплины для арміи;

какъ священникъ съ высшей точки зреинія обсуживаетъ обычай ходить по праздникамъ къ обѣднѣ; какъ судья и ученый юристъ обзываютъ певѣждами людей, требующихъ наказанія вору, утверждающихъ, что прислуга должна по-виноваться хозяевамъ... Всѣ попали врознь, всѣмъ стало трудно соединяться для дѣятельности, потому что всѣ съ первыхъ же шаговъ расходятся въ мысляхъ о дѣлѣ, или, вѣрнѣе сказать, во фразахъ, облекающихъ неясныя мысли.

Отчего происходитъ все это? Кажется, главную причину надо бы искать въ непомѣрномъ, уродливомъ развитіи *самолюбія* у всѣхъ и каждого. Это то же самое дешевое, жиденъкое самолюбіе, въ силу котораго молодой, не видавшій еще свѣта человѣкъ, входя въ незнакомое ему общество, сразу относится къ нему враждебно, теряетъ спокойное самосознаніе, становится рѣзокъ, отрывистъ и дерзокъ. Онъ приноситъ въ незнакомую среду единственный капиталъ — высокое о себѣ мнѣніе, и одна мысль, что его разумѣютъ ниже, чѣмъ онъ самъ себя разумѣетъ, приводитъ уже его въ раздраженіе, отнимаетъ у него простоту, ставить его на ходули, облекаетъ его въ протестъ, не имѣющій смысла... Представимъ себѣ цѣлую компанію, составленную изъ такихъ болѣзненно, не въ мѣру самолюбивыхъ людей: это сопоставленіе довольно комично, взятое само по себѣ; но, какъ ни смѣшино, оно служить образомъ того состоянія, въ которомъ находится у насъ такъ часто компанія людей, случайно сопшедшися вмѣстѣ или соединившихся для общей дѣятельности...

XII.

Есть термины, износившися до пошлости отъ того, что ихъ безпрерывно употребляютъ безъ опредѣлительной мысли, отъ того, что ихъ слышишь во всякомъ углу отъ

всякаго, и, произнося ихъ, глупый готовъ почитать себя умнымъ, невѣжда воображаетъ себя стоящимъ на высотѣ знанія. До того можетъ износиться ходячее на рынке слово, что серьезному человѣку становится уже совсѣмъ употреблять его: онъ чувствуетъ, что это слово, прозвучавъ въ воздухѣ, принимаетъ отраженіе всѣхъ пустыхъ и пошлыхъ представлений, съ которыми ежеминутно произносится оно на рынке ходячей фразы. Тогда наступаетъ пора сдѣть такой терминъ въ кладовую мысли: надо ему вылежаться въ покоѣ, надо ему очиститься въ глубокомъ горнилѣ самоиспытующей мысли, пока можетъ оно снова явиться на свѣтѣ яснымъ и опредѣлительнымъ ея выраженіемъ.

Такая судьба угрожаетъ, кажется, одному изъ любимыхъ нашихъ терминовъ: *развивать, развитіе*. Въ книгахъ, въ брошюрахъ, въ руководящихъ статьяхъ и фельетонахъ, въ застольныхъ рѣчахъ, въ проповѣдяхъ, въ салонныхъ разговорахъ, въ офиціальныхъ бумагахъ, на лекціяхъ, въ урокахъ гимназіи и народной школы,—всюду, всюду прожужжало слухъ это ходячее слово, и уже тоска нападаетъ на душу, когда оно произносится. Пора бы, кажется, приняться за серьезную проверку понятія, которое въ этомъ словѣ заключается; пора бы вспомнить, что этотъ терминъ: *развитіе* не имѣеть опредѣлительнаго смысла безъ связи съ другимъ терминомъ: *сосредоточеніе*. Пора бы обратиться за разъясненіемъ понятій къ общей матери и учительницѣ—природѣ. Отъ нея не трудно паучиться, что всякое развитіе проходитъ изъ центра и безъ центра немыслимо,—что ни одинъ цветокъ не распустится изъ почки, и ни въ одномъ цветкѣ не завяжется плодъ, если иссохнетъ центръ зиждительной силы образованія и обращенія соковъ. Но о природѣ мы, какъ будто на бѣду, забыли, и, не справляясь съ нею, составляемъ свои дѣтскіе рецепты развитія: въ цветочной

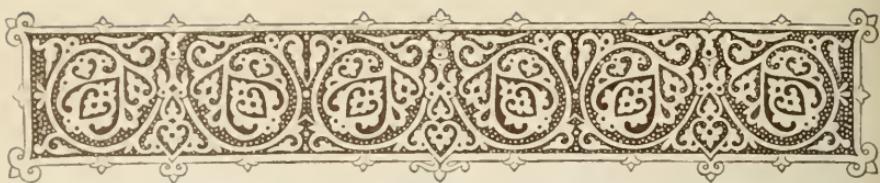
иочекъ мы хотимъ механически раскрыть и расправить лестинки грубою рукою прежде, нежели настала имъ пора раскрыться внутреннимъ дѣйствіемъ природной силы,— и радуемся, и называемъ это развитіемъ: мы только уродуемъ почку, и раскрытые нами лестинки засыхаютъ, безъ здороваго цвѣтенія, безъ надежды на плодъ здоровый! Не безумное ли это дѣло? и не похоже ли оно на фантазію того ребенка въ баснѣ, который думалъ чашкою вычерпать море?

А сколько является отовсюду такихъ безумныхъ ребятъ, такихъ непривычныхъ развивателей и учителей! Страсть ихъ къ развианію доходитъ до фанатизма, и нѣтъ такого глупца и певѣцъ, который не считалъ бы себя способнымъ развивать кого-нибудь. Но пусть бы они одни носились съ своею неразумною страстью: всего поразительнѣе то, что вмѣстѣ съ ними, иногда вслѣдъ за ними, и люди, новидимому, разумные, люди серьезнай мысли, точно околоводанные волшебнымъ словомъ, ходящею монетою рынка, принимаются повторять его, поддакивать ему, и на этомъ словѣ, и на смутномъ понятіи, съ нимъ соединяя, строятъ цѣлья системы образовательной и педагогической дѣятельности.

И всѣ эти фантазіи разыгрываются, всѣ эти планы сочиняются для того, чтобы оперировать, точно *in anima vili*, на массѣ такъ называемыхъ темныхъ людей, на массѣ народа. На нее готовится походъ: но ни полководцы, ни воины, никто не даетъ себѣ труда слиться съ нею, пожить въ ней, изслѣдовать ея психическую природу, ея *душу*, потому что у народа есть душа, къ которой надоѣно пріобщиться для того, чтобы уразумѣть ее! Нѣтъ, преобразователи и просвѣтители видятъ въ ней только известную величину, известную данную умственной силы, надъ которой требуется производить опыты. И притомъ, какая удивитель-

ная смѣлость и самоувѣренность!—Требуется во имя какой-то высшей и безусловной цѣли производить эти опыты *обязательно и принудительно!!* Какъ производить ихъ—въ этомъ сами учителя несогласны: сколько головъ, столько системъ и приемовъ. Въ одномъ только сходятся—въ твердомъ на мѣреніи дѣйствовать на мысль и *развивать, развивать* ее! Напрасно возражаютъ имъ слабые голоса, что у простого человѣка не одинъ умъ, что у него *душа* есть, такая же какъ у всякаго другого, что въ сердцѣ у него та крѣпость, на которой надо ему строить всю жизнь свою, и на которой до сихъ поръ стоитъ у него *церковное строеніе...* Нѣтъ,—они обращаются все къ мысли и хотятъ вызвать ее къ *праздной*, въ сущности, дѣятельности, на вопросахъ, давно уже, легко и дешево разрешенныхъ самими просвѣтителями. Какое заблужденіе! Если бы потрудились они, безъ самоувѣренности и безъ высокомѣрной мысли о своемъ разумѣ, войти въ темную массу и пріобщиться къ ней, они увидѣли бы, что темный человѣкъ самъ ищетъ и проситъ свѣта и жаждетъ просвѣщенія, но открываетъ входъ ему только съ той стороны, съ которой оно можетъ взаимно просвѣтить его, не смутивъ душу его, не разоривъ его жизни. Онъ чувствуетъ, что всего дороже ему духовная его природа, и чрезъ *сердце* хочетъ пролить свѣтъ въ нее. Когда съ этой стороны прильетъ ему свѣтъ разума,—онъ не ослѣнить его, не разорить его жизни, не перевыснить центра тяжести, на которомъ утверждено его основаніе. Но когда операція развиванія направлена исключительно на мысль его, когда его хотятъ начинить, такъ называемыми, знаніями и фактами учебниковъ и общими выводами теорій, съ нимъ произойдетъ то же, что происходит съ конусомъ, когда хотятъ утвердить конусъ на острой вершинѣ.





Знаніе и дѣло.

Съ того времени какъ проснулась и припала въ движение мысль въ нашемъ обществѣ, стали намъ твердить на всѣ лады о необходимости *зананія*; столько твердили, что самое понятіе о *просвещеніи* отождествилось въ умахъ нашей интеллигентціи съ *количествомъ знаній*. Отсюда—расширеніе программъ и высшаго, и средняго, и даже начального обученія, отсюда—полки наскоро навербованныхъ безтолковыхъ учителей, приставленныхъ къ каждой наукѣ для того, чтобы пустоты не было, отсюда—формализмъ экзаменовъ и испытательныхъ комиссій, отсюда расположение журналовъ, трактующихъ *de omni re scibili et quibusdam aliis* и наполняющихъ головы читателей на рынкѣ интеллигентціи массою отрывочныхъ, перепутанныхъ между собою мыслей и свѣдѣній. Результатъ всего этого жалкій—расположеніе минимой интеллигентціи, воображающей себя знающею, но лишенной того, къ чему должно вести всякое знаніе—то есть *умнънья* взяться за дѣло, дѣлать его добросовѣстно и искусно и поставить его интересомъ своей жизни.

Всякій человѣкъ призванъ къ дѣлу и долженъ выбратьъ себѣ извѣстное дѣло; а для того, чтобы умѣть дѣлать его,

необходимо собраться въ себя, сосредоточиться. „Не расширяй судьбы твоей—было слово древняго оракула—старайся не гулять за предѣлами твоего дѣла“. Разсѣяніе въ разныя стороны развлекаетъ мысль, разслабляетъ волю и мѣшаетъ сосредоточиться на дѣлѣ. Развлекаясь во всѣ стороны—разнообразными движеніями любознательности и любопытства, человѣкъ не можетъ скопить въ себѣ и сосредоточить такой запасъ жизненной силы, какой необходимъ для рѣшительного перехода отъ *знанія* къ *дѣланію*. Сколько бы ни поглотилъ въ себя образовъ и свѣдѣній дилеттантизмъ любознательности и вкуса, все останется безплодно, если не можетъ онъ сбратъ все свое существо въ себѣ и двинуть его—къ дѣлу.

Знаніе, само по себѣ, не воспитываетъ ни умѣнья, ни воли. Мы видимъ ежедневные тому примѣры. Много видимъ людей умныхъ, острыхъ памятью и воображеніемъ, образованныхъ, ученыхъ—и безсильныхъ въ рѣшительную минуту, когда требуется рѣшеніе для дѣла или твердо слово въ совѣтѣ. Но жизнь наша—и частная, и общественная, при усложненіи отнosiеній, при смѣшаніи понятій и вкусовъ,—требуетъ непрестанно скораго и твердаго рѣшенія. И мы видимъ, когда оно требуется, люди идутъ къ нему не твердыми ногами, а окольными путями, оглядываясь на всѣ стороны. Въ эту пору человѣкъ, имѣющій ясное сознаніе и волю, способный въ минуту сообразить все, что знаеть въ связи съ предметомъ рѣшенія,—стоитъ для дѣла дороже множества умовъ певѣрныхъ и колеблющихся.

Отсюда формализмъ и безплодность многихъ происходящихъ у насъ совѣтовъ и совѣщаній: люди говорятъ, не умѣя сосредоточиться на предметѣ разсужденія. Но лучший ораторъ не тотъ, кто изыскиваетъ лишь способы уловить и запутать противника мелкимъ оружiemъ казуистики или потокомъ пышныхъ угрозъ, по тотъ, кто приходитъ въ совѣтъ

съ твердымъ и яснымъ мнѣніемъ о дѣлѣ и высказываетъ его ясно и твердо; не тотъ, кто, смысливая цвѣта и оттенки, способенъ доказывать, что въ черномъ есть бѣлое и въ бѣломъ черное, но тотъ, кто прямо и сознательно называетъ бѣлое бѣлымъ и черное чернымъ. Не тотъ истинный судья, кто, разлагая по волоску каждое требование и возраженіе, творить формальный судъ по формальнымъ признакамъ правды, по тотъ, кто заботясь о существенной правдѣ, умѣеть яспою мыслю проникнуть въ существо отношеній между сторонами. Не тотъ годный на дѣло военачальникъ, кто изучилъ до подробности всю исторію походовъ и битвъ и всѣ пріемы военной тактики, но тотъ, кто можетъ въ решительную минуту острымъ взглядомъ сообразить въ умѣ своемъ положеніе мѣстности и воинскихъ силъ,—и решительнымъ дѣйствиемъ воли опредѣлить судьбу сраженія.





Вѣра.

I.

Здѣсь, па землѣ, подлинно мы ходимъ *вѣрою*, а не видѣніемъ, и жестоко ошибается тотъ, кто думаетъ, что погасилъ въ себѣ вѣру, и хочетъ жить отпрынѣ однимъ видѣніемъ. Какъ бы высоко ни поставилъ себя надъ міромъ умъ человѣческій, онъ не раздѣленъ съ душою, а душа все стремится вѣровать, и вѣровать безусловно: безъ вѣры прожить нельзя человѣку. И не жалкій-ли это обманъ, что человѣкъ, отвергая вѣру въ дѣйствительное, въ существующее, въ то, что оказывается душѣ его реальною истиной, дѣлаетъ предметомъ своей вѣры теорію и формулу, ее чествуетъ, ей, какъ идолу, покланяется, ей готовъ принести въ жертву себя самого и цѣлый міръ въ душѣ своей, и свободу свою, и всѣхъ своихъ ближнихъ. Теорія и формула, какія бы ни были, не могутъ заключать въ себѣ безусловное, и каждая изъ нихъ, возникнувъ въ умѣ человѣческомъ, есть, по необходимости, нечто ненполное, сомнительное, условное и лживое. Что выше меня неизмѣримо, что отъ вѣка было и есть, что неизмѣнно и безконечно, чего не могу я обнять, но что *меня объемлетъ и держитъ*— вотъ, во что хочу я вѣрить какъ въ безусловную

истину,—а не въ дѣло руку своихъ, не въ твореніе ума своего, не въ логическую формулу мысли. Безконечность вселенной и начало жизни невозможно вмѣстить въ логическую формулу. Бѣдный человѣкъ, кто, составивъ себѣ такую формулу, хочетъ съ нею пройти черезъ хаосъ бытія:—хаосъ поглотитъ его вмѣстѣ съ жалкою его формулой. Сознаніе своего бессмертнаго я, вѣра въ Единаго Бога, ощущеніе грѣха, исканіе совершенства, жертва любви, чувство долга—вотъ истины, въ которыхъ душа вѣритъ, не обманываясь, не идолопоклонствуя передъ формулой и теоріей.

II.

Какое таинство—религіозная жизнь народа такого, какъ нашъ, оставленнаго самому себѣ, неученаго! Спрашиваешь себя: откуда вытекаетъ она?—и когда пытаешься дойти до источника—ничего не находишь. Наше духовенство мало и рѣдко *учитъ*, оно служить въ церкви и исполняетъ требы. Для людей неграмотныхъ Библія не существуетъ; остается служба церковная и пѣсколько молитвъ, которыхъ, передаваясь отъ родителей къ дѣтямъ, служать единственнымъ соединительнымъ звеномъ между отдельнымъ лицомъ и церковью. И еще оказывается въ иныхъ, глухихъ мѣстностяхъ, что пародъ не понимаетъ рѣшительно ничего, ни въ словахъ службы церковной, ни даже въ „*Отче нашъ*,“ повторяемомъ нерѣдко съ пропусками или съ прибавками, отнимающими всякий смыслъ у словъ молитвы.

И однако—во всѣхъ этихъ невоспитанныхъ умахъ воздвигнуть,—какъ было въ Аѳинахъ,—неизвѣстно кѣмъ, алтарь *Невѣdomому Богу*; для всѣхъ—дѣйствительное присутствіе воли Провидѣнія во всѣхъ событияхъ жизни—есть фактъ

столъ безспорный, такъ твердо укоренившійся въ сознаніи, что, когда приходитъ смерть, эти люди, коимъ никто никогда не говорилъ о Богѣ, отверзаютъ Ему дверь свою, какъ извѣстному и давно ожидаемому Гостю. Они въ буквальномъ смыслѣ *отдаютъ Богу душу.*

III.

„Въ началѣ было слово“ — такъ благовѣстуетъ Евангелистъ. Великій германскій писатель захотѣлъ поправить эту мысль богослова своимъ философскимъ анализомъ, заставивъ надѣю задуматься Faуста. „Нѣтъ“ — говоритъ Faустъ: „въ началѣ было *дло*“. Когда бы Гете писалъ своего Faуста въ наше время, Faустъ сказалъ бы вѣроятно: „въ началѣ былъ *фактъ*.“ Фактъ — это излюбленное понятіе новѣйшей материальной философіи, ячейка, изъ которой она строитъ вселенную, столпъ и основаніе всего того, что она называетъ *истиной*.

Какая неправда! Истина есть нѣчто абсолютное, и только абсолютное можетъ быть основаніемъ жизни человѣческой. Все остальное не твердо, все остальное исчезаетъ въ колеблющихъ образахъ и очертаніяхъ, стало быть не можетъ служить основаніемъ. Фактъ есть нѣчто существенно реальное, неразрывно связанное съ условіями материальной природы, и въ ней только мыслимое. Но едва мы пытаемся отдѣлить этотъ фактъ отъ материальной его среды, опредѣлить духовное его начало, уловить его истинный разумъ, — какъ уже теряемся въ сѣти предположеній, гипотезъ, недоумѣний, возникающихъ въ умѣ каждого отдельного мыслителя, — и чувствуемъ свое безсиліе познать его *истину*. Вотъ почему исторія представляеть намъ такое смѣшнѣе

представлений о каждомъ событії, о каждомъ историческомъ дѣятелѣ, когда мы пытаемсяъ анализировать духовное значеніе того или другого. Самая высшая добросовѣстность исторического изслѣдованія можетъ стремиться лишь къ начертанію вѣрной картины событій и дѣйствій въ связи съ современными имъ условіями жизни и дѣятельности, къ возстановленію факта въ полной по возможности материальной его обстановкѣ, съ изслѣдованіемъ причинъ, послѣдствій и побудительныхъ причинъ исторической дѣятельности. Очевидно, что наука здѣсь не можетъ обойтись безъ художества, и всякий подлинный историкъ долженъ быть художникомъ въ трудахъ своемъ. Для художества необходимъ идеалъ; слѣдовательно историкъ, въ оценкѣ событій и дѣйствующихъ лицъ, непремѣнно имѣть въ виду идеалъ, черты коего могутъ быть не одинаковы у каждого. Каждый наклоненъ увлекаться своимъ идеаломъ, то есть своимъ представлениемъ о совершенствѣ въ побужденіяхъ, дѣлахъ и учрежденіяхъ человѣческихъ. Къ событіямъ, во взаимной ихъ связи, историкъ относится критически, и характеръ критики опредѣляется сложившимся у каждого міросозерцаніемъ. Вотъ почему такъ различны и часто противорѣчивы сужденія и приговоры исторической критики о знаменитѣйшихъ дѣятеляхъ и важнѣйшихъ событіяхъ исторіи. Кого одинъ возвышалъ вчера, того другой сегодня развѣчиваетъ, и наоборотъ, кого прежде историческая наука выставляла извергомъ, въ томъ послѣ находить черты нравственного превосходства. Едва ли когда будетъ конецъ этимъ колебаніямъ исторической критики;—ибо самый идеалъ ея представляеть колеблющіяся черты и съ каждымъ поколѣніемъ ученыхъ и художниковъ измѣняется.

Несравненно раньше pragmatической исторіи изъ глубины народнаго сознанія и творчества народнаго возникла легенда и продолжаетъ твориться наряду съ исторіей. Она

служить сама источникомъ для исторіи и предметомъ исторической критики, но, не взирая ни на какую критику, остается драгоцѣннымъ достояніемъ народа, сохрания въ себѣ всю свѣжесть непосредственнаго представленія. Народъ понимаетъ ее и любить ее,—и, прибавимъ, продолжаетъ творить ее, не только потому, что склоняется къ чудесному, но потому еще, что чуетъ въ ней глубокую истину, абсолютную истину иден и чувства,—истину, которой не можетъ дать ему никакой—самый тонкій и художественный—критический анализъ фактовъ. Тѣхъ героеvъ народной поэмы, которыхъ развѣичиваетъ исторія, народъ продолжаетъ чтить; въ нихъ драгоцѣнны для него черты идеала—идеала силы, добродѣтели, святости, ибо въ этихъ идеалахъ, а не въ людяхъ, не въ событияхъ, не въ преходящихъ образахъ жизни, народъ чуетъ *абсолютную истину*. Ученые не хотятъ понять, но народъ *чуестъ душой*, что эту абсолютную истину нельзя уловить материально, выставить осознательно, определить числомъ и мѣрою,—но въ нее можно и должно *вопросить*, ибо абсолютная истина доступна только *вѣрѣ*. Ничего неѣть совершенного, ничего—цѣльного, ничего—единаго въ дѣлахъ, чувствахъ и побужденіяхъ человѣческихъ, ибо всякий человѣкъ раздвоенъ самъ въ себѣ и только стремится къ объединенію, надая и колеблясь на каждомъ шагу. И такъ, если подойдемъ съ анализомъ къ каждому подвигу, къ каждому событию, къ каждому историческому лицу,—никто его не выдержитъ, и героеvъ не будетъ ни единаго. Каждому подвигу предшествуетъ такая цѣнь правственныхъ колебаний, его объемлетъ такая сѣть разнохарактерныхъ ощущеній, побужденій, случайныхъ событий, направляющихъ, измѣняющихъ, разсѣкающихъ волю человѣческую,—что для пытливаго ума не остается и мѣста подвигу, какъ цѣльному, свободному проявленію воли, направленной къ идеалу. Но

въ народномъ представлении подвигъ является именно цѣльнымъ и живымъ проявлениемъ силы: такъ вѣруетъ народъ, и безъ этой вѣры жить не можетъ, ибо на ней вся жизнь человѣка держится, посреди рыданія и жалости, и горя, и лжи, коею она материально наполнена.

Вотъ почему заблуждаются тѣ, которые хотятъ разложить эту вѣру въ народѣ, отнять ее у него, подъ предлогомъ заботы о мнимой исторической истинѣ. Людямъ необходима вѣра въ идеальныи и добра;—но какъ сохранить эту вѣру, какъ поддержать ее, если она не воплощается *въ живомъ образѣ?* Отнять у людей этотъ образъ, значитъ—отнять самую вѣру, которая въ немъ выражается, вѣру въ абсолютную истину, въ цѣльное совершенство. Вотъ почему, между ирочимъ, любимое по преимуществу чтеніе русскаго парода—житія святыхъ, Четья-минея, вся составленная изъ живыхъ образовъ подвига, добродѣтели, нравственнаго совершенства. Каждый изъ этихъ героевъ святости былъ—человѣкъ, со всѣми слабостями человѣческой природы, со всякимъ колебаніемъ мысли, побужденія и воли, со всею низостью паденія человѣческаго, и еслибы можно было разложить душу его, мы бы увидѣли въ ней всю тайну первороднаго грѣха и все безсиліе борьбы человѣка съ самимъ собою. Но изъ этой борьбы вышелъ онъ побѣдителемъ, по борьба эта совершилась во имя высшихъ идеаловъ совершенства, коего мѣра не на землѣ, а на небѣ, въ области абсолютнаго. И этотъ подвигъ его борьбы описала живыми чертами подобная, сочувственная душа благочестиваго списателя, которая вложила въ описание живую любовь къ той же истинѣ, живое стремленіе къ тому же идеалу. Вотъ въ чемъ народъ чуетъ *истину*—и не сомнѣвается, и вѣруетъ, въ то время, когда искливая философія ученаго агностика пытается факты и, думая познать въ нихъ материальную истину, въ то же

время о духовной истинѣ, объ истинѣ, которая сама отзы-
вается въ вѣрующей душѣ,— насмѣшливо спрашивается: „Что
есть истина?“

IV.

Въ миоѣ Прометея, связанаго Зевсомъ и пригвожден-
аго къ Кавказскому утесу, нельзя не распознать идею но-
вѣйшаго скептицизма, въ сопоставлениіи съ идеей Всемогу-
щаго Бога, Создателя вселенной. Это протестъ гордаго духа
противъ общаго вѣрованія въ бытіе Божіе, отрицаніе невы-
носимаго для гордости чувства стыдѣнія (reverentia) передъ
Божествомъ, покорности и поклоненія Божеству. Нужды
есть, что отъ Божества взять, у Божества похищенъ свя-
щенный огонь, которымъ живеть, согрѣвается, оплодотво-
ряется человѣчество,— человѣкъ знать этого не хочетъ и,
владѣя Божественнымъ огнемъ, хочетъ жить въ отчужденіи
отъ Божества, самовластию.

Сфинксъ древней басни сидѣть на распутіи и пред-
лагалъ каждому путнику свою загадку. Кто не умѣлъ раз-
гадать ее, тотъ былъ жертвою сфинкса и повергался въ про-
насть: одолѣть чудовище могъ лишь мудрецъ, находившій
разгадку.

Что такое сфинксъ въ нашей жизни? Вся наша жизнь—
безконечная, съ виду механическая цѣнь явлений и событий—
фактовъ). Другъ друга смѣяя, совокупляясь другъ съ дру-
гомъ, все они, пролетая мимо, несутъ на крыльяхъ свои
вопросы духу человѣческому, и каждая минута, въ коловора-
щемся времени, приводитъ свои, *современные* вопросы. По-
требна мудрость духа, чтобы отвѣтить на нихъ, чтобы разрѣ-
шить ихъ: у кого иѣть ея, тотъ становится *рабомъ* фактовъ

и явлений,—работою временем,—хотя бы и величался человѣкъ современнымъ. Факты подавляютъ его со всѣхъ сторонъ, господствуютъ надъ нимъ,—и выходитъ человѣкъ пошлымъ путемъ, чувственного обычая (рутинеръ),—и до того доходитъ въ стѣномъ новиновеніи фактамъ, что исчезаетъ въ немъ наконецъ послѣдняя искра свѣта, просвѣщающаго всякое существо достойное имени и званія человѣческаго. Но когда человѣкъ остается вѣренъ лучшимъ духовнымъ побужденіямъ своей природы, когда умѣетъ различать основныя начала духовной жизни и твердо стоять въ духѣ, не повинуясь фактамъ, но господствуя надъ ними, тогда всѣ они ровно ложатся около него въ жизни, каждый на свое мѣсто: не они его одолѣли, но онъ одолѣлъ ихъ...

Сфинксъ древняго Египта не то, что сфинксъ древней Греціи, хотя и тотъ и другой выражаетъ таинство души человѣческой.

Египетскій сфинксъ — мирное существо получеловѣческое, полуживотное. Передъ храмомъ, передъ царскою гробницей, проходя длиннымъ рядомъ сфинксовъ, человѣкъ ощущаетъ близость Божества — и таинства смерти. Сфинксъ является образомъ таинственнаго созерцанія, погруженного въ себя и въ идею Божества: древніе египтяне олицетворяли въ немъ Божество солнечнаго свѣта.

Не таковъ сфинксъ *новаго* міра, создание Греческой фантазіи. Это существо демонического происхожденія, рождение чудовищнаго Тифона и Ехидны, олицетвореніе не свѣтлого Божества, но темной силы Тартара,—существо злобное, хищное, губительное. И въ немъ выражается таинство, но не таинство погруженаго въ себя созерцанія,— а таинство страсти, отрицательной, насильственной и разрушительной мысли.

И этот сфинксъ доныпъ не перестаетъ задавать человѣчеству страшныя, таинственные загадки,—загадки неразрѣшивимыя. Тысячи умовъ пытаются найти рѣшеніе, разгадать загадку жизни и религіи,—и не могутъ. Но каждая и безуспѣшиая попытка рѣшенія—только погружаетъ мысль и чувство въ новыя бездны, и каждая загадка поражаетъ лишь сотни и тысячи новыхъ неразрѣшивимыхъ загадокъ,—и передъ бѣднымъ человѣчествомъ разверзается, въ виду чудовища, бездна погибели, и оно ринется въ бездину, если не остановится на камѣ простой твердой вѣры и яснаго мысленія...

V.

Великій вопросъ, не престающій смущать умъ и совѣсть во всемъ человѣчествѣ—вопросъ объ осуществлениіи въ отношеніяхъ человѣческихъ правды и любви, заповѣданныхъ Христомъ, полагаемыхъ христіанскою Церковью въ основаніе своего ученія. Нѣть разума, который нашелъ бы ключъ къ разрѣшенію этого противорѣчія, нѣть совѣсти, которая успокоила бы на немъ. Проходя мыслью кровавую исторію войнъ, раздоровъ, насилия, неправды, невѣжества и суевѣрія, длившуюся съ начала міра до днешняго дня—и въ общественной и въ частной жизни, всякий съ ужасомъ спрашививаетъ себя—гдѣ же и въ чемъ же исполненіе закона Христова посреди того ада, въ которомъ живемъ мы и движемся? Гдѣ выходъ изъ того состоянія, въ которомъ самая религія представляется какъ бы зерцаломъ лжи и лицемѣрія, показателемъ противорѣчій между дѣломъ и сознаніемъ, стѣю обрядовъ и формальностей, служащихъ покровомъ прельщаемой совѣсти и минимумъ оправданіемъ неправды? Есть избранные, есть люди правды, смиренные сердцемъ,

есть дѣла любви и разума, на которыхъ мысль отдыкаетъ и временно успокаивается; но, обозрѣвая совокупность жизни, видить начальства и власти, забывающія свое призваніе, видеть неправедные прибытки въ чести и славѣ, богатство нажитое хищеніемъ, иоглотившее самую власть и владѣющее міромъ, видеть беззаконіе самоувѣренное подъ покровомъ наружнаго благочестія, видеть тысячи и миллионы, приносимые въ жертву богу войны, идолу вражды и насилия, видеть иаконецъ безчисленныя массы, прозябающія безъ сознанія, раздираемыя нуждою, живущія и умирающія въ страданіи. Гдѣ-же, спрашивается, царство Христово, царство любви и правды, гдѣ-же дѣйственная сила религіи,— гдѣ цѣль и конецъ бѣдственной человѣческой жизни?

Сколько разъ слышалось и слышится—издревле и до нашихъ дней ожиданіе золотого вѣка въ человѣчествѣ—и оканчивается оно разочарованіемъ, если не безнадежностью—ибо христіанинъ не можетъ, не долженъ быть безнадеженъ. Ветхозавѣтные пророки изображаютъ будущее состояніе мира и благоденствія въ человѣчествѣ. Христость принесъ на землю заповѣдь любви и мира, но не исполненіе этой заповѣди—исполненіе, въ которомъ не осталось бы места свободы: эта самая заповѣдь, по Его слову, явилась мечемъ и должна была зажечь огонь въ сердцахъ человѣческихъ. И когда, по воскресеніи Его, отъ сердецъ, загорѣвшихся надеждою на обновленіе міра, послышался робкій вопросъ: „Господи, не въ это ли лѣто устрояешь Ты царство Израилево?“ отвѣтъ Его былъ: „не дано вамъ разумѣть времена и лѣта: ихъ Господь положилъ во Своей власти.“—Время, размѣренное малыми долями у людей, безгранично у Господа Бога: у Него и тысяча лѣтъ какъ день, и день какъ тысяча лѣтъ.

И юная Церковь Христова первыхъ столѣтій, посреди гоненій, посреди пороковъ и бѣдъ, жила тою же надеждой на устроеніе царства Израилева: эта надежда на побѣду правды въ человѣчествѣ была новою силой, которую внесло въ безотрадный языческій міръ христіанство. Настало страшное время, когда эта сила повидимому изсякла, и надежда перешла въ отчаяніе. Взятіе и разрушеніе Рима Аларихомъ поразило весь христіанская міръ певыразимымъ ужасомъ; и вѣрующія души омрачились сомнѣніемъ: гдѣ же сила христіанства, гдѣ же спасеніе? А міръ языческій воіяль: весь бѣды эти отъ новой религіи Христовой. Тогда Блаженный Августинъ ободрилъ смущенную совѣсть и возстановилъ надежду христіанскую своей одушевленною книгой „*O градѣ Божіемъ*,“ разъясняя людямъ судьбы Промысла Божественнаго въ исторіи человѣчества и непреложность ученія о царствѣ, еже не отъ міра сего.

Съ тѣхъ поръ и донынѣ, въ эпохи общественныхъ бѣдствій, въ разгарѣ насилія и разрата общественнаго, сколько разъ поднимается тотъ же самый вопросъ въ христіанскомъ мірѣ! И мы переживаемъ такое время, когда начинаетъ повидимому оживать давно прошедшее язычество и, поднимая голову, стремится превозмочь христіанство, отрицая и догматы его, и установлѣнія, и даже нравственныя начала его ученія,—когда новые проповѣдники, подобно языческимъ философамъ древняго вѣка, съ злобою ироніей обращаютъ къ остатку вѣрующихъ горькое слово: „вотъ къ чему привело міръ ваше христіанство? вотъ чего стоитъ ваша вѣра, искажившая природу человѣческую, отнявшая у ней свободу похоти, въ которой состоять счастіе!“ Что же, неужели погибаетъ передъ напоромъ древняго язычества „побѣда, побѣдившая міръ, вѣра наша“?

Нѣть, она остается цѣлою, въ святой Церкви, о коей Создавшій ее сказалъ: „врата адовы не одолѣютъ ей.“ Она

хранить въ себѣ ключи истины, и въ наши дни, какъ и во всѣ времена, всякий, кто отъ истины, слушаетъ гласа ея. Въ ней, подъ покровами образовъ и символовъ, содержатся силы, долженствующія собрать отовсюду разсѣянное и обновить лицо земли. Когда это будетъ, вѣдѣтъ Единъ, времена и лѣта положившій въ Своей власти.

А между тѣмъ, отъ самаго начала Церкви, нетерпѣливыя сердца, гордые умы не перестаютъ искать, помимо Церкви и вопреки ей, новыхъ учений, долженствующихъ обновить человѣчество, исполнить законъ любви и правды, водворить миръ и благоденствіе на землѣ. Поражаясь чудо-вившими противорѣчіями между учениемъ Христа Спасителя и жизнью христіанъ, составляющими Церковь Христову,—они возлагаютъ вину на Церковь съ ея установленіями и, приходя къ отрицанію существующей отъ начала христіанства Церкви, думаютъ утвердить вмѣсто нея свое, очищенное по миѳпію ихъ, ученіе Христово, отрѣшенное отъ Церкви, выводимое по ихъ усмотрѣнію изъ отдѣльныхъ текстовъ Евангелія.

Странное заблужденіе. Люди, подверженные той же похоти и тому же грѣху, какому подвержено все окружающее ихъ общество, люди одного со всѣми естества, раздвоенного въ себѣ, склоннаго хотѣть, чего не дѣлаетъ, и дѣлать, чего не хочетъ,—себя однихъ представляютъ едиными въ духѣ и являются непривѣзанными учителями и пророками. Похоже на то, какъ бы они одни воображали себя стоящими на неподвижной точкѣ, тогда какъ весь міръ и они вмѣстѣ съ міромъ кругомъ обращаются. Начиная съ разрушенія закона, сами они не въ силахъ создать новый законъ изъ тѣхъ частей и обрывковъ цѣльнаго ученія, которое отвергли. Отрицаютъ Церковь,—они приходятъ однако къ тому, что хотятъ создать свою церковь съ своими проповѣдниками и служи-

телями, и если усилютъ въ томъ, повторяется на нихъ то же, что они осуждали и противъ чего возставали,—только съ новымъ умноженiemъ лжи и лицембрія, и безумной гордости, возвышающейся надъ міромъ. Гордость ума, съ презрѣniемъ къ людямъ той же илоти и крови, возбуждаетъ ихъ разорять старый законъ и созидать новый. Они забываютъ, что Тотъ же Учитель Божественный, имя Коего призываютъ они, будучи кротокъ и смиренъ сердцемъ, не хотѣлъ измѣнять ни одной черты въ законѣ, по каждую черту ожививъ духомъ любви, въ ней скрытымъ.

Осуждая догматизмъ и обрядность, они сами подъ конецъ обращаются въ узкихъ и властолюбивыхъ догматиковъ; возставая противъ фанатизма и петеринности, они сами становятся злѣйшими фанатиками и гонителями; проповѣдуя любовь и правду, сами безсознательно проникаются духомъ злобы и пристрастія. Гордость, ослѣпляя ихъ, не допускаетъ ихъ сознать, какой соблазнъ вносятъ они въ область вѣры, разрушая простоту ея и цѣльность въ душахъ простыхъ, которыхъ Церковь не успѣла еще воспитать и привести въ сознаніе вѣры.

Не трудно,—но и какъ безумно, какъ безсовѣстно, соблазнить простую душу, въ которой есть только чистое, незанятое поле религіознаго чувства, душу невоспитанную, невѣжественную въ истинахъ вѣры! Ужасно подумать, что къ такой душѣ приступаютъ съ голымъ отрицанiemъ Церкви и хотятъ ее увѣрить, что эта Церковь съ ея учениемъ и таинствами, съ ея символами, обрядами и предапіями, съ ея поэзій, одниевлившій изъ вѣка въ вѣкъ множество поклоній, есть ложное и ненавистное учрежденіе. Простая душа была душа смиренная: сектанство возводитъ ее на высоту гордости—свою, особливою вѣрой, а вѣру вмѣщаетъ въ узкую рамку сектантской *формулы*. Нѣть души, какъ бы

ни была она невѣжественна,—къ коей нельзя было бы привить такую безсмыслицкую гордость съ увѣренностью въ своей правдѣ—предъ кѣмъ? Предъ цѣлымъ народомъ, составляющимъ Церковь и живущимъ въ смиренномъ сознаніи своей грѣховности передъ Богомъ и въ смиренной надеждѣ на прощеніе грѣховъ и на спасеніе въ молитвѣ церковной. Илоды этой гордости въ дальнѣйшемъ ея развитіи очевидны. Это—*либемтре* въ самодовлѣющемъ сознаніи праведности; это—злобное раздраженіе противу всѣхъ иначе вѣрующихъ, и до страсти доходящее стремленіе къ отвлечению отъ церковнаго стада разсѣянныхъ овецъ его,—при чёмъ всякия средства считаются годными для достиженія цѣли.

Церковь подлинно корабль спасенія для пытливыхъ умовъ, мучимыхъ вопросами о томъ, во что вѣровать и какъ вѣровать. Пуститься съ этими вопросами въ безбрежное море изслѣдований, сомнѣний и логическихъ выводовъ—страшно для ограниченного ума человѣческаго, для прихотливаго воображенія, для самолюбія, стремящагося искать новыхъ путей. Утвердившись на своей, надуманной вѣрѣ, ставя себя съ нею выше авторитета церковнаго, человѣкъ въ сущности можетъ кончить тѣмъ, что увѣрюетъ въ себя, какъ посителя вѣры; можетъ дойти до нетерпимости и фанатизма, до страннаго обольщенія мысли—принимать вѣру за самодовлѣюцій элементъ спасенія, отрѣшенный отъ жизни и дѣятельности.

VI.

Передовые люди, основатели религій, на высотахъ созерцанія созиная, въ системѣ вѣроученія, идею Божества и Его отношенія къ человѣку, создаютъ въ примѣненіи

къ ней и формы культа, одухотворенный тою же идеей. Но масса народная пребывает въ долинѣ, и свѣтъ чистаго созерцанія, озаряющій верхи горъ, не скоро до нея доходитъ. Въ массѣ религіозное представлѣніе, религіозное чувство выражается во множествѣ обрядностей и преданий, которыхъ вышней точки зреінія могутъ казаться суевѣріемъ и идололоженіемъ. Строгій ревнитель вѣры возмущается, негодуетъ и стремится разбить насильственою рукой эту оболочку народной вѣры, подобно тому какъ Моисей разбилъ тельца, слитаго Аарономъ по просьбѣ народа, въ то время когда пророкъ пребывалъ въ высокомъ созерцаніи на высотахъ Синайскихъ. Отсюда, доходящая до фанатизма, пуританская ревность вѣроучителей.

Но въ этой оболочкѣ, не рѣдко грубой, народнаго вѣрованія танцется самое зерно вѣры, способное къ развитію и одухотворенію, танцется та же вѣчная истина. Въ обрядахъ, въ преданіяхъ, въ символахъ и обычаяхъ—масса народная видитъ реальное и дѣйственное воплощеніе того, что въ отвлеченной идеѣ было бы для нея не реально и бездѣйственno. Что, если, разбивъ оболочку, истребимъ и самое зерно истины; что, если, исторгая плевелы, исторгнемъ вмѣстѣ съ ними и ишеницу? Что, если, стремясь разомъ очистить народное вѣрованіе подъ предлогомъ суевѣрія, истребимъ и самое вѣрованіе? Если формы, въ которыхъ простые люди выражаютъ свою вѣру въ живаго Бога, иногда смущаютъ насъ,—подумаемъ, не къ намъ ли относится заповѣдь Божественнаго Учителя: „блудите, да не презирте единаго отъ малыхъ сихъ вѣрующихъ въ мя.“

Въ одной арабской поэмѣ встрѣчается такое нопропагандистское сказаніе знаменитаго учителя Джелалледина. Однажды Моисей, странствуя въ пустынѣ, встрѣтился съ пастухомъ, усердно молившагося Богу. И вотъ какою молитвою

молился онъ: „О, Господи Боже мой, какъ бы знать миѣ, гдѣ иайти Тебя и стать рабомъ Твоимъ. Какъ бы хотѣлось надѣвать сандалии Твои и расчесывать Тебѣ волосы, и мыть платье Твое, и лобызать ноги Твои, и убирать жилище Твое, и подавать Тебѣ молоко отъ стада моего: такъ Тебя желаетъ мое сердце!“ Распалился Моисей гнѣвомъ на такія слова и сказалъ настуху: „ты богохульствуешь. Безглесенъ Всевынній Богъ, не нужно Ему ни платья, ни жилища, ни приелуги. Что ты говоришь, невѣриный?“

Тогда омрачилось сердце у настуха, ибо не могъ онъ представить себѣ образъ безъ тѣлесной формы и безъ нуждъ тѣлесныхъ: онъ предался отчаянію и отсталъ служить Господу.

Но Господь возлаголъ къ Моисею и такъ сказалъ ему: „для чего отогналъ ты отъ Меня раба Моего? Всякий человѣкъ принялъ отъ Меня образъ бытія своего и складъ языка своего. Что у тебя зло, то другому добро: тебѣ ядъ, а иному медъ сладкій. Слова ничего не значать: Я визираю на сердце человѣка.“

VII.

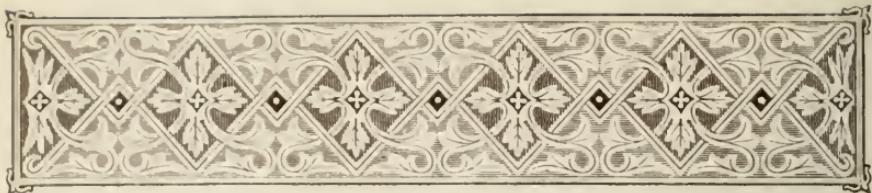
Древній Персидскій поэтъ Мухаммедъ Руми (13 стол.)— авторъ знаменитой поэмы *Маснави*. Въ ней есть замѣчательные стихи о молитвѣ, достойные вѣрующей души.

„Нѣкто, въ сладость устамъ своимъ возопилъ въ тишинѣ ночной: „о Алла!“ А сатана сказалъ ему: молчи ты, угрюменецъ, долго ли тебѣ болтать пустыя слова? не дождешся ты отвѣта съ высоты престольной, сколько ни станешь кричать: „Алла!“ и дѣлать печальный видъ.“

Смутился человѣкъ, горько ему стало, и повѣсили онъ голову. Тогда явился ему пророкъ Кизръ въ видѣніи и

сказать: „Зачѣмъ пересталь ты призывать Бога и раскаялся отъ молитвы своей“? И отвѣчалъ человекъ: „не слыхалъ я отвѣта, не было гласа: „Я здѣсь“, и боюсь я, что отверженъ стать отъ благодатной двери.“ И сказалъ ему Кизръ: „Вотъ что повелѣлъ мнѣ Богъ. Иди къ нему и скажи: О, искушенный во многомъ человѣкъ! Не Я ли поставилъ тебя на служеніе Свое? Не Я ли заповѣдалъ тебѣ взывать ко Мнѣ? И Мое: „Здѣсь Я“ одно и то же, что и твой воціль: „Алла!“ И твоя скорбь, и стремленіе твое, и горячность твоя—все это Мои къ тебѣ вѣстники; когда ты боролся въ себѣ и взывалъ о помощи—этой борьбою и воцілемъ Я привлекать тебя къ Себѣ и возбуждать твою молитву. Страхъ твой и любовь твоя—покровы Моей милости, и въ одномъ твоемъ словѣ: „о Господи!“ множество отзыается голосовъ: „Я здѣсь съ тобою!“





Идеалы невѣрія.

I.

Древнее слово „рече безуменъ въ сердцѣ своемъ: иѣсть Богъ“ выступаетъ нынѣ во всей своей силѣ. Правда его ясна какъ солнце, хотя пылъ всѣми „передовыми умами“ овладѣло какое-то страстное желаніе обойтись безъ Бога, спрятать Его, упразднить Его. Люди,—по мысли добродѣтельные и честные, тѣ задаютъ себѣ вопросъ, какъ бы сдѣлать конструкцію добродѣтели, чести и совѣсти безъ Бога. Жалкія усиля!

Франція, дойдя до крайней степени политического разложения, задумала, въ лицѣ своего правительства, организовать народную школу, „безъ Бога“. На бѣду, у насъ, иные представители интеллигентіи не далеко ушли отъ московской княжны, лепетавшей: „Ахъ, Франція, иѣть въ мірѣ лучшіе края“, и недавно еще прославленный педагогъ указывалъ намъ на новую французскую школу, какъ на идеалъ для подражанія.

Въ числѣ новыхъ французскихъ книгъ, официа́льно предназначенныхъ для руководства при обученіи въ женскихъ школахъ насчетъ правительства, есть книга, называемая: „Правственное и гражданское наставление молодымъ дѣвицамъ“, сочин. г-жи Гревилль (*Instruction morale et civique des jeunes filles*). Это нечто въ родѣ гражданскаго катихизиса нравственности, коимъ предполагается замѣнить въ школахъ обученіе Закону Божію.

Книга эта весьма замѣчательна. Она раздѣлена на три части, и каждая часть на отдельныя главы. Первая часть содержитъ въ себѣ правила нравственности, понятія о долгѣ, о чести, совѣсти и т. под. Вторая часть содержитъ въ себѣ краткое ученіе о государствѣ и о государственныхъ учрежденіяхъ. Третья часть — ученіе о женщинахъ, о ея призваніи, качествахъ и добродѣтеляхъ. Изложеніе книги — сжатое, простое, ясное — какъ пишутся учебники, со множествомъ наглядныхъ примѣровъ, съ картинками въ текстѣ. Нельзя ничего возразить противъ сущности самого ученія: оно зоветъ къ порядку, къ доброй нравственности, къ чистотѣ мысли и памѣренія, къ добродѣтели, и обращается энергически къ чувству и сознанію долга, а женщина строго указываетъ ея обязанности въ домашней жизни и въ обществѣ.

Но примѣчательно вотъ что. Ни разу ни на одной страницѣ не упоминается о Богѣ, неchtъ ни малѣйшаго намека на религиозное чувство. Авторъ, изъясненія глубокое и решительное значеніе *совѣсти* въ человѣкѣ, даетъ такое определеніе совѣсти: „совѣсть есть соображеніе того мнѣнія, которое имѣютъ о насъ и о дѣйствіяхъ нашихъ другіе люди“ (*considération de l'opinion des autres*). На этомъ-то зыбкомъ и колеблющемся группѣ *модского мнѣнія* сочинители стремятся утвердить нравственные основы цѣлой

жизни! Подлинно исполняется на этомъ слово: „Мышиеся быть мудрыми—обезумѣли“.

Къ несчастію, въ этотъ потокъ безумія, разливающіеся нынѣ во Франціи, привлекаются, и изъ нашей бѣдной Россіи, мелкіе ручки доморощенной интеллигентіи; и отъ глашатаевъ ея, изъ журналовъ и газетъ, изъ передовыхъ статей и фельетоновъ, слышится повторяемый хоромъ тотъ же голосъ московской княжны. Къ тому же хору присоединяются нерѣдко благонамѣренные, по чрезъ мѣру наивные и неопытные умы, воображающіе, что журналы и газеты приносятъ имъ какое-то „новое слово“ цивилизациі.

Жалко читать, какъ журнальные критики разсуждаютъ въ вопросѣ николы, что безъ религіи, конечно, нельзя, что религіозное обученіе нужно, но все это безъ церкви и ея служителей. Говорили бы уже и прямѣе и проще. Мы-де не отвергаемъ религіознаго обученія, мы-де даже требуемъ его, мы не понимаемъ николы безъ него,—только не хотимъ *клерикализма*. А подъ покровомъ этого термина разумѣется церковь и церковность. Этотъ юезуитскій приемъ изложенія, усвоенный новыми апостолами народной николы, вводить въ заблужденіе многихъ читателей, не умѣющихъ „различать духъ“ писанія.

Не знаютъ эти добрые люди, что нынѣ и слово *религія*, какъ и многія другія слова, измѣнилось въ своемъ значеніи, и подъnimъ стали уже многіе разумѣть нечто такое, отъ чего, если-бъ распозналъ, отступилъ бы съ ужасомъ человѣкъ, подлинно вѣруюцій въ Бога. Не знаютъ, что въ наше время выдумана религія *безъ Бога*, и самое слово *Богъ*, въ употребленіи у такихъ называемыхъ *людей науки*, получило особливое значение.

Въ 1882 году появилась замѣчательная книга, обратившая на себя общее вниманіе. Отрицаніе Бога высказывалось

большою частью ненавистниками всякой религии, съ чувствомъ ожесточенія, съ выраженіемъ легкомысленной или злобной ироніи, съ проповѣдью объ исключительномъ значеніи *матеріи* во вселенной. Въ этой книгѣ въ первый разъ выразилось, въ спокойномъ тонѣ, съ достоинствомъ, съ идеальнымъ воззрѣніемъ на жизнь, цѣлое ученіе о религіи безъ Бога. Книга эта называется: *Натуральная религія* (Natural Religion, Lond. 1882). Авторъ ея—оксфордскій профессоръ Сили (Seeley), тотъ самый, коего первое сочиненіе *Ecce Homo*, появившееся лѣтъ за десять предъ тѣмъ, обратило тогда на себя вниманіе не только людей мірской науки, но и благочестивыхъ идеалистовъ, мнившихъ найти въ немъ какое-то новое слово о Христѣ и о христіанской вѣрѣ. Нѣкто изъ увѣровавшихъ въ эту книгу издалъ ее и въ русскомъ переводе.

Но людямъ церковнымъ и въ то время книга эта казалась странною и сомнительною. Нельзя было отнести къ ней съ довѣріемъ.

Книга эта содержала въ себѣ художественный анализъ земной жизни и характеръ Иисуса Христа, исключительно въ чертахъ человѣческой Его природы. Она была написана въ духѣ глубокаго благоговѣнія, языкомъ философскимъ, но не чуждымъ терминовъ церковныхъ и богословскихъ. Цѣллю анализа явно выказывалось намѣреніе выяснить образъ Христовъ для благоговѣйного подражанія. Казалось, авторъ—христіанинъ, исполненный благочестиваго чувства. Однако, многимъ благочестивымъ читателямъ этой книги было отъ нея смущеніе: какъ будто съ ихъ христіанскимъ воззрѣніемъ и чувствомъ не сходится тоже, повидимому, христіанское чувство и воззрѣніе автора. Образъ Христа въ этой книгѣ былъ образомъ верховной святости, чистоты и благости, но не родной,

иे своей, ие тотъ, Кого мы привыкли съ дѣтства чтить Богочеловѣкомъ, Словомъ Божіимъ, ие тотъ Христость, Кого славить Церковь Христова. Что-то неладное слышалось въ книгѣ, какъ будто авторъ ея или утратилъ вѣру, или недалеко стоитъ отъ того. Однако, въ этой книгѣ авторъ видимо утверждалъ еще вѣру въ личное бытіе Бога, въ бессмертіе души человѣческой, въ мессіанское значеніе пришествія Христа въ міръ, и даже, хотя съ иѣкоторымъ колебаніемъ, въ дѣйствительность чудесъ Христовыхъ.

Прошло 10 лѣтъ, и онъ является, какъ ни въ чёмъ не бывало, восторженнымъ проповѣдникомъ религіи, но религіи новой, ие Христовой. Старое откровеніе,—говорить онъ,—отслужило свою службу; вместо него явилось новое: новѣйшіе естествоиспытатели, историки, филологи—принесли намъ такое откровеніе, о коемъ и не мечтали древніе пророки. Съ этой точки зренія библейская критика пѣмсцкихъ ученыхъ выше и совершилъ самой Бібліи. Обращаясь, съ необыкновенною наивностью, къ людямъ вѣрующимъ и церковнымъ, онъ говоритъ: о чёмъ намъ спорить, о чёмъ враждовать другъ съ другомъ? Мы можемъ соединиться въ одной вѣрѣ. Мы, люди науки, тоже вѣруемъ въ Бога. Нашъ Богъ—природа, которая есть въ извѣстномъ смыслѣ откровеніе. Итакъ, мы не безбожники, повторяетъ онъ, и весь споръ между нами, людьми науки, и вами, богословами, есть лишь споръ о словахъ. Не все ли равно: у насъ Богъ—природа, и научная теорія вселенной есть тоже теорія теизма. Вѣдь, природа есть сила вѣна сущая, законъ ея для насъ безусловенъ,—вотъ, стало быть, Божество, которому мы покланяемся.

Не любопытно ли, что авторъ, отвергая личное бытіе Божіе, въ то же время протестуетъ энергически противъ обвиненія въ атеизмѣ, и самъ отвергаетъ и обсуждаетъ

атеизмъ. Что-же такое атеизмъ, по его мнѣнію? На этотъ вопросъ авторъ отвѣтаетъ такимъ измышеніемъ ума, который простому уму можетъ показаться безуміемъ.

„То, что обыкновенно называютъ атеизмомъ, есть очень метафизическая форма отрицанія и не имѣть серьезнаго значенія. Подлинный, дѣйствительный атеизмъ имѣть гораздо болѣе серьезнаго значеніе и заключаетъ въ себѣ великое нравственное зло. Настоящій атеизмъ можетъ быть названъ общимъ терминомъ *своеволіе* (*wilfulness*). Именно, всякая дѣятельность человѣческая есть сдѣлка съ природою, сдѣлка нашей потребности съ неотразимымъ закономъ природы... Не признавать ничего, кроме собственной воли, воображать достунымъ все, что намѣтила сильная воля, не признавать виѣ себѣ никакой высшей силы, которую надлежитъ принимать въ соображеніе и склонять на свою сторону для успѣха въ предпріятіи, вотъ въ чемъ заключается чистый атеизмъ. Желая пояснить примѣромъ эту смутную и спутанную мысль, авторъ приводить въ примѣръ государство, являющее въ судьбахъ своихъ образъ чистаго атеизма и указываетъ на Польшу. *Sedet aeternumque sedebit*,—говорить онъ,—несчастная Польша, испытывая кару за преступное атеистическое свое-воліе, за то, что услаждалась безграничною личною свободой, не хотѣвшей считаться съ природою вещей“.

Составляя свою теорію религії, авторъ описываетъ подробно, какъ выражается, по его мнѣнію, религіозное чувство изъ науки и какъ, проходя чрезъ призму воображенія, оно разчленяется въ нравственномъ существѣ человѣка въ форму тройкой религії: религію природы, религію человѣчества и религію красоты.

Въ этой книгѣ, написанной съ талантомъ и одушевленіемъ, высказано, хотя въ первый разъ съ такою пол-

потою, далеко не новое учение; читатель встрѣтить въ немъ знакомыя черты столь моднаго въ наше время позитивизма, черты,—знакомыя по сочиненіямъ Канта, Джорджа Элліота и столь излюбленнаго у русскихъ переводчиковъ Герберта Спенсера. Ни въ одномъ изъ помянутыхъ сочиненій не обличается такъ явственно внутреннее безсиліе этой модной теоріи, какъ въ книгѣ „Natural Religion“. До какого безумія можетъ договориться умъ, когда, увлекаемый гордостью самообожанія, отвергаетъ *сверхъестественное* въ жизни и вселенной, и принимается строить свою теорію жизни въ ея отношеніяхъ ко вселенной. Эта теорія осуждена вертѣться въ заколдованнымъ кругу и сама себѣ противорѣчить. Упраздня личнаго Бога, она пытается удержать религию, и напрасно пытается установить предметъ религіознаго чувства, ибо кромѣ живаго Бога нѣть предмета для религіи. Отвергая невидимый міръ, бессмертіе души и будущую жизнь, она полагаетъ однако цѣлью жизни счастіе и напрасно пытается ограничить его предѣлами матери и земного бытія. Называя откровеніе выдумкою, или мечтою, и всякий догматъ ложью, она сама, однако, ищетъ опоры себѣ не въ иномъ чёмъ, какъ въ новомъ догматѣ, выставляя, въ видѣ аксіомъ, въ которую должно вѣрить, непремѣнныи и безконечный прогрессъ человѣчества.

Эта теорія какъ разъ отражаетъ въ себѣ то *своеволіе* и гордое упорство мысли, которое нашъ авторъ соединяетъ въ своемъ понятіи съ атеизмомъ. Въ ней не видно той цѣльной и ясной *увѣренности*, которая служитъ признакомъ истины и прочности ученія. Проповѣдники ея—въ своей проповѣди о счастіи человѣчества—всѣ спотыкаются на дѣйствительности, которой не могутъ отрицать. Эта дѣйствительность есть неотвратимое присутствіе *зла*.

и дѣйствія, насилия и неправды въ человѣческой жизни — аргументы пессимизма. Этого аргумента нельзя утаить; один изъ апостоловъ позитивизма стараются подавить и заглушить его, или лицемѣрио проходить его молчаніемъ; другіе, болѣе добросовѣстные, останавливаются передъ пимъ съ грустью и сомнѣніемъ. Къ числу послѣднихъ относятся и напрь авторъ. Прославляя новую, проповѣдуемую имъ религию природы, человѣчества и красоты, доказывая всю силу и дѣйственность соединяемаго съ нею религіознаго культа, онъ въ то же время говоритъ: „Едва начинаемъ мы успокаиваться на той мысли, что все познаваемое и естественное довлѣть для человѣческой жизни, какъ поднимаетъ свою голову пессимизмъ и приводить насть въ смущеніе“. „Если бы не пессимизмъ, замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, ничто не смущало бы нашего религіознаго поклоненія“. И въ самомъ концѣ книги, построивъ свое зданіе, говорить онъ такія рѣчи:

„Чѣмъ далѣе расширяются и углубляются наши мысли, по мѣрѣ того, какъ вселенная объемлетъ насть, и мы привыкаемъ къ безконечности, въ пространствѣ и времени, тѣмъ болѣе поражаетъ насть чувство собственнаго ничтожества, и мы отъ ужаса цѣпенѣемъ — правственный параличъ овладѣваетъ нами. На время утыкаемъ себя идеей самопожертвованія, говоримъ: пускай я исчезну, буду думать о другихъ. Но вотъ, скоро и другіе становятся для насть столь же презрительными, какъ мы сами; всѣ печали человѣческія, заодно, кажется, не стоятъ того, чтобы облегчить ихъ, счастье человѣческое — даже высшее — представляется такъ блѣдио, что не стоитъ заботиться о приращенії. Весь міръ нравственный сводится на одну точку; градъ духовной жизни, жилище святыхъ — уходитъ вдали и свѣтится чуть-чуть замѣтию звѣздочкой. Добро и зло, правда

и неправда кажутся безконечно малыми, эфемерными величинами, а вѣчность и бесконечность остаются гдѣ-то вѣтвь нравственного міра. Чувство любви замираетъ и истощается въ мірѣ, гдѣ все доброе и все пребывающее — холодно, — истощается въ своей собственной сознательной слабости и безицедметности. Сверхъестественная религія — прибавляетъ авторъ тутъ же, — наполняетъ всю эту пустоту, связывая любовь и правду съ вѣчностью. А если она потрясена, то къ чему послужить естественная религія?“

Можно ли поверить, что эти слова написаны горячимъ проповѣдникомъ естественной религіи? Такъ-то серьезный умъ способенъ запутаться въ сотканной имъ же самимъ умственной сѣти.

Сущность всей этой книги, при всей умѣренности тона, при всей искренности автора — безотрадный парадоксъ. Что различные міровоззрѣнія — научное, художественное, гуманистичное, заключаютъ въ себѣ элементы религіозного чувства — это вѣрио. Но они не заключаютъ въ себѣ элементовъ новой вѣры, новой церкви, а есть отдельные члены — *disjecta membra* — того же христіанского міровоззрѣнія. Никакая религія невозможна безъ признанія аксиоматическихъ истинъ, недосягаемыхъ индуктивнымъ путемъ. Къ такимъ аксиомамъ принадлежитъ бытіе *личнало* Божества, духовность души человѣческой; отсюда вытекаетъ *супернатурализмъ*, безъ которого немыслима никакая религія. Научныя же истины (кромѣ математическихъ) по существу своему условны, существуютъ сознательно лишь для людей ученыхъ и лишь *обманомъ* могутъ быть павязаны массамъ въ формѣ догматической. Этотъ обманъ нынѣ и происходитъ.... мы при немъ присутствуемъ ежедневно.

II.

Нетерпимость къ чужой вѣрѣ и къ чужому мнѣнію никогда еще не выражалась такъ рѣшительно, какъ выражается въ наше время, у проповѣдниковъ радикальныхъ и отрицательныхъ учений: у нихъ она неумолимая, жестокая, Ѣдкая, соединенная съ ненавистью и презрѣніемъ. Если вдуматься въ отношеніе этихъ новыхъ учителей къ непризнаваемой ими вѣрѣ,—оно окажется, можетъ быть, еще ужаснѣе старинной религіозной нетерпимости, вызывавшей кровавыя преслѣдованія за вѣру. Въ послѣднемъ случаѣ преслѣдованіе основывалось на безусловной же вѣрѣ въ истину безусловно существующую. Когда человѣкъ вѣруетъ въ данное положеніе, что оно должно быть истиной для всѣхъ, что на немъ зиждется безусловное начало жизни и блага для всѣхъ и каждого, какъ магометанинъ вѣруетъ въ Коранъ, понятно, что такой человѣкъ считаетъ своимъ долгомъ не только исповѣдывать открыто свое учение, но, въ случаѣ нужды, и насилиемъ навязывать его другимъ. Но когда дѣло идетъ, все-таки, не болѣе какъ о мнѣніи, о предположеніи, хотя бы и наиболѣе вѣроятномъ для того, кто его вывелъ,—какъ понять фанатизмъ такого мнѣнія, какъ понять, что проповѣдникъ его не признаетъ и не допускаетъ ни для себя, ни для другихъ не только противоположного мнѣнія, по даже сдѣлки, хотя бы условной и временной, съ противоположнымъ мнѣніемъ? Между тѣмъ, такое страстное отношеніе къ своему мнѣнію или къ мнѣнію своей школы составляетъ принадлежность всѣхъ отрицательныхъ учений. Отвергая, какъ будто не бывшее и не сущее, всю предшествующую исторію духовнаго развитія въ человѣчествѣ, не признавая ни за какимъ существующимъ издревле

вѣровашіемъ и духовнымъ состояніемъ—права на самостоятельное существованіе, не останавливалась ни передъ одною святыней личнаго вѣрованія, заключеннаго въ душѣ человѣческой,—они требуютъ для себя свободнаго входа во всякую душу и повсюду хотятъ водворить свою такъ называемую истину. Это называется у нихъ вѣриностью своимъ убѣжденіемъ. Одинъ изъ представителей ученія Конта и позитивистовъ (John Morley *On Compromise*) говоритъ, напр., въ своей книгѣ, что первый долгъ всякаго человѣка въ отношеніи къ себѣ самому и къ человѣчеству—разрѣшать въ душѣ своей вопросъ: вѣрюетъ онъ или не вѣрюетъ въ бытіе Божіе? Затѣмъ, если положимъ, онъ пришелъ къ убѣженію, что вѣра въ Бога есть не что иное, какъ слѣдствіе и безумное суевѣріе,—долгъ его, самый священный, вторгаться съ этимъ убѣженіемъ во всякую душу, пользоваться всякимъ случаемъ и поводомъ, чтобы передавать это убѣженіе—прежде всего роднымъ и близкимъ, а потомъ, если можно провести его въ массу,—всюду выказывать его, и отвергать безусловно всякія явленія и формы частнаго и общественнаго быта, въ которыхъ прямо или косвенно выражается вѣра, противоположная этому убѣженію... Такой образъ дѣйствія—что же иное, какъ не страшное насилие надъ чужою совѣстью, и во имя чего? Во имя только своего личнаго мнѣнія!

Не видать и не слыхать ни любви, ни вѣры въ этой бездибѣ самолюбія! А безъ любви и вѣры нѣть истины. Какая разница—слышать голосъ старого, истиннаго учителя. Сколько вѣры и любви, сколько глубокаго знанія души человѣческой въ апостольскомъ словѣ къ Коринтіямъ о томъ, какъ слѣдуетъ уважать человѣческую совѣсть. Онъ знаетъ, что есть истина, но и съ этою истиной духовнаго вѣданія какъ осторожно велить онъ подступать

къ душѣ человѣческой. Главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы душа приняла и обибрала новую для нея истину *въ духѣ искренности и правды*, безъ раздвоенія, безъ разлада съ собою, прямую цѣльною вѣрой. Все, что не отъ вѣры,—грѣхъ. И апостолъ учитъ сильныхъ, знающихъ, чтобы они щадили совѣсть слабой братіи *въ самомъ суетѣ*, покуда душа не созрѣла еще до воспріятія истины цѣльною вѣрой.

Вы знаете,—говоритъ онъ,—что пища не поставить настъ предъ Богомъ: ёдимъ ли мы—не приобрѣтаемъ; не ёдимъ ли—не лишаемся. Вы знаете, что идолъ—ничто, что ложный богъ не существуетъ вовсе, и потому вы съ спокойною совѣстью покупаете на торгу и ёдите мясо, которое принесено было въ жертву идолу. Но не у всѣхъ такое вѣданіе: есть слабые, у которыхъ можетъ быть *идолъская совѣсть*, для которыхъ идолъ—есть еще нечто существующее, страшное и злое: для нихъ ёсть такое мясо—значитъ приносить жертву идолу, и когда они видятъ, что вы ёдите его, ихъ слабая совѣсть соблазняется, то-есть, приходитъ въ разладъ, въ раздвоеніе по предмету вѣры. Итакъ, чтобы не соблазнять совѣстью слабаго брата, лучше не ёсть мяса во вѣки. Апостолъ—проповѣдникъ *свободы христіанской*, происходящей отъ увѣрѣнности, жертвуетъ въ этомъ случаѣ *свободою—охраненію совѣсти*, потому что совѣсть для него всего дороже.

III.

Удивительно безуміе, до котораго доходятъ умные люди, взросліе въ отчужденіи отъ дѣйствительной жизни и оставленіе гордою увѣрѣнностью въ непогрешимость

разума и логики. Обожание разума, отвративъ ихъ отъ положительной религіи, доводить ихъ, наконецъ, до ненависти ко всякому вѣрованію въ Единаго Живаго Бога. Но тѣ изъ нихъ, которые добросовѣстны настолько, что не могутъ отвергать потребности въ вѣрѣ, заявляемой всѣмъ человѣчествомъ,—тѣ, у кого есть еще сердце, не совсѣмъ изсушеннное черствотою логикой мысли,—допускаютъ законность религіознаго чувства въ природѣ человѣческой и пытаются удовлетворить его какою-то новою, ими измыслиленною религіей. Вотъ тутъ и приходится дивиться мечтательности плановъ, изобрѣтаемыхъ умами, повидимому стремящимися изгнать все похожее на мечту изъ своихъ выводовъ и соображеній. Штраусъ, въ своемъ сочиненіи „О старой и новой вѣрѣ“, отвергая христіанство, говоритъ съ энтузіазмомъ о религіозномъ чувствѣ, но предметомъ его и центромъ ставить вмѣсто Живаго Бога — идею вселенной, такъ называемое: *Universum*. Въ Лондонѣ появились въ свѣтѣ найденные по смерти Милля отрывочные мысли его о религіи, подъ заглавиемъ: „Три статьи о религіи: Природа, Польза религіи и Денізмъ“. Пользу религіи онъ признаетъ несомнѣнно, но отвергаетъ христіанство, хотя выражается о лицѣ Христа съ величайшимъ энтузіазмомъ. „Невозможно,—говоритъ онъ,—оспаривать великое значеніе религіи для отдѣльного человѣка: это источникъ личнаго удовлетворенія и высокаго духовнаго настроенія для каждого. Но спрашивается, для достиженія этого блага необходимо ли переступить за границы обитаемаго нами мира, или и безъ того одна идеализація нашей земной жизни, одно возбужденіе и развитіе высшихъ о ней представлений могутъ создать для насъ поэзію, и даже въ высшемъ смыслѣ этого слова, религію, такую, которая была бы способна возвышать чувства наши и могла бы (съ по-

моцьо воспитанія) еще лучше, чѣмъ вѣра въ существа невидимыя, благородить наше существованіе и дѣятельность?"

Вопросъ,—достойный Милль, какимъ мы его знаемъ по исторіи его воспитанія. Любопытно, какъ же онъ решаетъ этотъ вопросъ. Милль не могъ искать рѣшения, подобно Штраусу, въ идеѣ вселенной; не могъ потому, что Милль, странно сказать, не вѣруетъ въ природу; въ началѣ той же книги онъ, вѣрный, какъ всегда, отчужденію своему отъ жизни, входитъ въ изслѣдованіе: „насколько вѣрно то ученіе, которое полагаетъ въ природѣ мѣрило правды и неправды, добро и зло, и руководственнымъ началомъ для человѣка ставить сообразованіе съ природою или подражаніе природѣ". Этого ученія Милль не признаетъ, потому что въ природѣ видитъ слѣпую силу, и ничего болѣе. Она внушаетъ желанія, которыхъ не удовлетворяетъ, воздвигаетъ великія дарованія, силы и дѣла съ тѣмъ, чтобы въ одно мгновеніе сокрушить ихъ,— словомъ сказать, разоряетъ въ мигъ, слѣпо и случайно, все, что ею самою создано. Оттого Милль отказывается строить на природѣ какую бы то ни было систему правдивости или религіи.

Что-же придумываетъ Милль? Вотъ подлинныя слова его: „Когда представимъ себѣ, до какого сильнаго и глубокаго чувства можетъ достигнуть, при благонрѣятныхъ условіяхъ воспитанія, любовь къ отечеству, памъ станетъ понятно, что очень возможно и любовь къ обширнѣйшему отечеству, то-есть, къ цѣлому миру, довести до подобной же силы развитія и обратить ее въ источникъ высшихъ духовныхъ ощущеній и въ начало долга. Кто желаетъ ознакомиться съ понятіями древности объ этомъ предметѣ, пусть читаетъ Цицеронову книгу: *De officiis*.

Нельзя сказать, чтобы мѣра нравственности, устанавливаемая въ этомъ знаменитомъ разсужденіи, была очень высокая. Но панимъ понятіемъ это нравственность во многихъ случаяхъ очень слабая и допускающая сдѣлки съ совѣстю. По относительно одного предмета—относительно долга къ отечеству—не допускаетъ она никакой сдѣлки. Чтобы человѣкъ, имѣющій хотя малую претензію на добрѣтель, на минуту призадумался пожертвовать отечеству жизнью, честью, семействомъ—всѣмъ, что ему дорого на свѣтѣ, этого не допускалъ и въ предложеніи славный проповѣдникъ греческой и римской нравственности. И—такъ исторія показываетъ, что людямъ можно было привить воспитаніемъ не только теоретическое убѣжденіе въ томъ, что благо отечества должно быть выше всякихъ иныхъ соображеній, но и практическое сознаніе, что въ этомъ состоитъ величайшій долгъ жизни. Если это было возможно, то почему-же нельзя внушить имъ чувство точно такого же безусловного долга относительно общаго блага для цѣлая міра? Такая нравственность въ натурѣ высоко одаренной почерпала бы силу изъ чувства симпатіи, благоволенія, восторженнаго одушевленія идеальнымъ величиемъ, а въ натурахъ низшей организаціи—изъ тѣхъ же чувствъ, по мѣрѣ природнаго ихъ развитія, да притомъ еще изъ чувства стыда. Эта высокая нравственность не зависѣла бы никакъ отъ надежды на награду. Единственною наградой, которую имѣли бы въ виду, и мысль о коей служила бы утѣшениемъ въ печали и опорою въ минуты слабости,—единственною наградою было бы не сомнительное загробное бытіе (!),—но въ этой жизни одобреніе всѣхъ уважаемыхъ нами людей и, въ идеальномъ смыслѣ, одобреніе всѣхъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ людей, кого мы чествуемъ и кого похваляемъ. Дѣйствительно,

та мысль, что дѣло наше одобрили бы умершіе друзья и родные наши, когда-бы были живы, способна одушевить насъ не менѣе, чѣмъ мысль объ одобреніи современниковъ... Сколько разъ люди высокаго духа одушевлялись къ дѣлу мыслью о томъ, что имъ сочувствовалъ бы Сократъ, Говардъ, Вашингтонъ, Антонинъ. Если такое настроеніе духа назовемъ просто нравственнымъ, слово это будетъ недостаточно. Оно есть дѣйствительно—*религія*: добрыя дѣла составляютъ только часть религіи, плоды ся, но не самую религію. Сущность религіи состоитъ въ крѣпкомъ и серьезномъ направленіи чувствъ и желаній къ идеальной цѣли, превосходящей всѣ личныя цѣли и желанія. Это условіе осуществляется въ религіи *гуманности* точно такъ же, какъ и въ сверхъестественныхъ религіяхъ: и убѣжденъ даже, что осуществляется еще лучше и совершеннѣе..."

Приведенные слова сами за себя говорятъ. Они показываютъ всю близорукость,—лучше сказать—все безуміе человѣческой мудрости, когда она хочетъ дѣлать отвлеченнюю конструкцію жизни и человѣка, не справляясь съ жизнью и не зная души человѣческой. Такая религія, какую воображаетъ Милль, можетъ быть, пожалуй, достаточна для подобныхъ ему мыслителей, заключившихъ себя отъ всего міра въ скорлупу отвлеченного мышленія; но развѣ можетъ принять ее и понять ее народъ,—живой организмъ,—объединяющійся только живымъ чувствомъ и сознаніемъ, а не мертвымъ и отвлеченнымъ началомъ? Въ народѣ такая религія, если бъ могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотомъ къ язычеству. Народъ, который нельзя себѣ представить въ отдѣленіи отъ природы,—если бъ могъ позабыть вѣру отцовъ своихъ,—справа олицетворилъ бы для себя какъ идею—вселенную, разбивъ ее на отдѣльныя силы, или то человѣчество, которое ставить

ему въ видѣ связующаго духовнаго начала, разбивъ его на представителей силы духовной,—и явились бы только вновь многие лживые боги вмѣсто единаго Бога истиинаго... Неужели этому суждено еще сбыться?!





Новая вѣра и новые браки.

Насъ увѣряютъ, что старой пашей вѣрѣ приходитъ конецъ, что ее смѣнить новая вѣра, которой заря, будто бы, занимается. Богъ дастъ, если это и случится, то еще не скоро,—и если случится, то лишь на времея. Конечно, то будетъ время не просвѣщенія, а помраченія.

Въ старой вѣрѣ пашей—истина природы человѣческой, истина непосредственнаго ощущенія и сознанія, та истина, которая отзывается въ правду, изъ глубины духа, на слово божественнаго откровенія. Эта истина есть—и зерно ея лежитъ въ каждой душѣ. Про нее сказано: „всякъ, иже есть отъ истины, послушаетъ гласа Моего.“

Старая вѣра паша основана на томъ, что каждый человѣкъ чувствуетъ въ себѣ живую душу, бессмертную, единую, и этой живой души не смѣшивается ни съ природою, ни съ человѣчествомъ, въ ней сознаетъ себя передъ Богомъ и передъ людьми, и въ ней хочетъ жить вѣчно. Своей живой душою встуپаетъ онъ въ свободный союзъ любви съ другими людьми, и какъ живеть сю, такъ и отвѣчаетъ за нее самъ. Ею ощущаетъ онъ своего Со-

здателя, такъ же просто, какъ живеть, и въ этомъ простомъ онущеніи, независимо отъ разума, обрѣтаетъ свою вѣру.

Являются проповѣдники новой вѣры. Одни смыются надъ старой вѣрой — и все хотятъ разрушить, не желая создавать новаго. Другіе, повидимому, серьезнѣе: они *премудрости ищутъ* и хотятъ навязать намъ свою надуманную премудрость; всякий изъ нихъ предлагаетъ намъ свое сочиненіе, свою конструкцію вѣры, потому что, сознавая все-таки необходимость вѣрованія, они хотятъ только сочинить свое. Но какія жалкія эти сочиненія! Всѣ они безсильны собрать около себя и одушевить живою идеей — живыя человѣческія души, потому что ни одно изъ нихъ не ставить живого Духа Божія въ центрѣ вѣрованія.

Въ послѣднее время много появилось отдѣльныхъ системъ, въ которыхъ философы, каждый по своему, стараются построить для человѣчества — *вѣру безъ Бога*. Всѣ воображаютъ, что построили такую вѣру *разумомъ*; но это неправда. Разуму человѣческому — когда онъ разсуждаетъ прямымъ путемъ, не закрывая отъ себя и не отрицая фактovъ, существующихъ въ природѣ и въ душѣ человѣческой, — некуда дѣваться отъ идеи о Богѣ. Настоящій источникъ безбожія не въ разумѣ, а въ *сердцѣ*, совершенно такъ, какъ сказано пророкомъ: сказалъ безумный въ *сердце* своемъ: *иѣтъ Бога*. Въ сердцѣ, т. е. въ желаніи, источникъ всякаго паденія, — какъ бы ни старался разумъ осмыслить себѣ всякое паденіе. Начинается всегда съ того, что сердце ищетъ себѣ полной свободы и возмущается противъ заповѣди и противъ Того, у Кого начало и конецъ всякой заповѣди. Чтобы освободиться отъ заповѣди, иѣтъ другого пути, какъ отвергнуть верховный авторитетъ ея, и поставить на мѣсто его свой авторитетъ, свое *знаніе*. Повторяется, въ безконечные вѣки, самая старая изъ всѣхъ

человѣческихъ исторій. „Ты самъ можешьъ знать добро и зло; самъ можешьъ быть себѣ Богомъ“. Вотъ откуда искони идетъ безбожіе.

Но чудно, по правдѣ, видѣть, какъ разумъ самъ себя обманываетъ. Какая, кажется, религія, безъ Бога,—а такую именно религію проповѣдуютъ безбожники. Они говорятъ: „вмѣсто старыхъ сказокъ о Богѣ, возьми дѣйствительную истину. Бога не видать нигдѣ; дѣйствительно есть—природа, дѣйствительно есть—человѣчество. Оно не только фактъ, оно есть сила, способная дойти съ теченіемъ вѣковъ и тысячелѣтій, посредствомъ опыта и разума, до безграничнаго развитія, до невообразимаго совершенства. Въ этой идеѣ столько внутренней глубины и силы, что она совершенно достаточно замѣнить человѣку вполнѣ религіозное чувство и связать всѣхъ людей во-едино общей религіей человѣчества“. (Развѣ это не все равно, что библейское: будете яко бози?) Таково ученіе новѣйшей позитивной науки и такъ называемаго утилитаризма.

Но вотъ, съ другой стороны, появляется знаменитый апостолъ Тюбингенской школы богословія, столицѣ библейской ученой критики, дожившій до старости въ ученомъ отрицаніи историческихъ основъ христіанства. Это докторъ Штраусъ, авторъ „Жизни Иисуса“, авторъ новой своей книги „О старой и новой вѣрѣ“, въ которой онъ самъ говоритъ, что изложилъ исповѣдь свою, результатъ всѣхъ ученыхъ трудовъ своихъ и философскихъ размышленій о Богѣ, природѣ и человѣкѣ. Въ ту пору, когда онъ былъ еще молодъ и писалъ свою „Жизнь Иисуса“, онъ входилъ еще осторожно и съ пѣкоторымъ уваженіемъ въ разборъ фактovъ, освященныхъ вѣковымъ вѣрованіемъ человѣчества, касался еще вдумчиво до основныхъ идей, лежащихъ въ глубинѣ вѣрованія; въ немъ еще слышались остатки богопочтенія. Но теперь,

когда онъ говоритъ о Богѣ, въ словѣ его слышится какъ будто раздражительное ожесточеніе противъ Бога, какъ противъ вредной и лживой басни, извратившей мысль человѣческую. Слышно, какъ „сердится Юпитеръ“.

Но, отвергая Бога, Штраусъ, по странному противорѣчію мысли, не хочетъ разстаться съ религіознымъ чувствомъ. Онъ сознаетъ въ себѣ потребность этого чувства, сознаетъ и присутствіе религіознаго онущенія. Что же служить предметомъ его, что можетъ имѣть достаточную силу для того, чтобы овладѣть душой и наполнить ее? Не личное божество, котораго нѣтъ,—отвѣчаетъ Штраусъ,—но вселенная (Universum), составляющая источникъ всяческаго блага и всяческой силы, и существующаго по закону чистѣйшаго разума. Мы требуемъ, говоритъ онъ, для этой вселенной, того же самаго благоговѣйнаго чувства, съ которымъ добрый человѣкъ старой вѣры относился къ своему Богу.

Что же такое эта вселенная, и есть-ли въ ней что духовное? Отвѣчая на этотъ вопросъ, Штраусъ является въ себѣ послѣдователя позитивной философіи и новѣйшаго матеріализма. Ученіе Канта и Лапласа обѣ исключительно дѣйствіи механическихъ силъ въ планетной системѣ распространяется онъ безусловно на всѣ явленія животной и психической жизни, почитаетъ духъ человѣческій не инымъ чѣмъ, какъ результатомъ сложнаго дѣйствія однѣхъ матеріальныхъ, механическихъ силъ. Души въ духовномъ смыслѣ не признаетъ Штраусъ. Естественно, что онъ слѣдуетъ восторженно теоріи Дарвина о происхожденіи видовъ, не ограничиваясь приложеніемъ этой теоріи къ явленіямъ видѣнія міра, но распространяя ее произвольно и мечтательно на всякаго рода явленія жизни. Противорѣчія и скачки въ выводахъ никакъ не смущаютъ его. Всѣ сомнѣнія устраняются въ немъ его новою *вѣрой*, вѣрой въ излюбленную

мъ гипотезу—несовмѣстную, по его мнѣнию, съ бытіемъ Бога. Нужды иѣть, что то или другое общее положеніе (напримѣръ, о произвольномъ зарожденіи) еще не доказано. Иѣ знаю, какъ именно и когда—говорить Штраусъ,—но по непремѣнно будетъ доказано. Въ проблемѣ о происходѣніи человѣка онъ не задумывается надъ трудными вопросами о томъ, какъ объяснить и какъ согласить съ системою—происхожденіе въ человѣкѣ умственныхъ силъ, нравственныхъ идей, эстетическихъ понятій? Все объясняется, точно магическое словечко: *натурализъ подборъ особы*. Подлинно, если въ этомъ мечтательномъ увлечениіи залюбленію теоріей заключается новая вѣра, то она есть не что иное, какъ *новое суевіе*. Ученіе Дарвина появилось какъ нельзя болѣе кстати, въ подкрѣпленіе проповѣдникамъ новой вѣры. Оно какъ будто озарило ихъ новымъ свѣтомъ, какъ будто принесло имъ ключевой камень, котораго не доставало, чтобы замкнуть сводъ надъ цѣлою системой. Ухва-нившись за это ученіе, многіе уже готовы провозгласить или провозглашаютъ старую вѣру окончательно разбитою иничтоженою. Со всѣхъ сторонъ спѣшатъ прилагать начала, выведенія Дарвіномъ, ко всѣмъ явленіямъ общественнаго быта—и выводятъ изъ нихъ такія послѣдствія, о которыхъ можетъ быть, не помышлялъ самъ Дарвінъ. Школа,—какъ нерѣдко случается, забываетъ впередъ учителя и, пожалуй, скорѣй провозгласить его самого отсталымъ. Между тѣмъ ученіе Дарвина, само по себѣ, въ сферѣ тѣхъ данныхъ, пѣзъ которыхъ оно выведено, едва-ли оправдываетъ тѣ опасенія а цѣлостность вѣры, которая возбудило оно во многихъ ея предшественникахъ. Система Галилея, теорія Ньютона, новая открытия въ геологіи—возбуждали въ свое время еще болѣе волненій и опасеній; но вѣра вѣрюющихъ не пострадала отъ нихъ. То же будетъ, конечно, и съ ученіемъ Дарвина. При-

тому, въ настоящее время и его нельзя еще признать утверждившимся въ наукѣ, и первый энтузіазмъ, имъ возбужденный, начинаетъ ослабѣвать. Въ него вѣруютъ безусловно только *dii m̄nogum gentium*. Передовые люди науки уже начинаютъ убѣждаться въ томъ, что это учение въ сущности представляетъ только гипотезу, болѣе или менѣе вѣроятную, но еще не удостовѣренную достаточнымъ числомъ данныхъ; и что положенія, выведенныя гениальнымъ ученымъ изъ многочисленныхъ его наблюдений, въ сущности оказываются смѣлыми и остроумными обобщеніями подмѣченныхъ имъ явлений,— еще оставляющими много мѣста недоумѣніямъ и сомнѣніямъ.

Но эти положенія, возведенные на степень непреложной истины, повторяются уже массою, какъ *verbi magistri*, и стали съ одной стороны поговоркою въ устахъ пошлыхъ болтуновъ либерализма, съ другой стороны многимъ серьезнымъ умамъ дали основаніе для множества новыхъ умственныхъ комбинацій. Кто пынче не говоритъ о Дарвинѣ? Кто не играетъ словами: *естественный подборъ, половой подборъ, борьба за существование?* Однако не однихъ людей легкомысленныхъ, но и людей подлинно ученыхъ и серьезныхъ—открытие Дарвина заставляетъ дѣлать странные скачки въ разсужденіяхъ и выводахъ науки; заставляетъ высказывать такія рѣчи, которыя здравому, не предубѣжденному сужденію представляются не иначе, какъ фантазіей или безуміемъ. Это случается всего чаще тогда, когда при помощи Дарвина ученія хотятъ построить и завершить систему такого міросозерцанія, въ которомъ не оставалось бы мѣста Божеству. И дѣйствительно, Дарвиново учение очень выгодно для аргументаціи новаго материализма. Человѣкъ, по мнѣнію Дарвина, совершенно напрасно присвоивъ себѣ и своему духу какое-то особое, привилегированное положеніе во вселенной; на этомъ основаніи онъ во-

ображалъ себя одного, въ числѣ прочихъ животныхъ, подъ прямымъ и личнымъ водительствомъ Божества. Это заблуждение, и заблуждение вредное (the pernicious idea). Человѣкъ, какъ и всякое иное животное, есть не что иное, какъ продуктъ послѣдовательного и безграничного развитія природныхъ формъ животной жизни. Желающему не трудно вывести отсюда такое заключеніе, что, *стало быть*, Бога нѣть, и нѣть души бессмертной. Далѣе, изъ учепія Дарвина слѣдуетъ, что всѣ существующія формы живого бытія образовались и всѣ послѣдующія образуются изъ вѣковѣчнаго и непрестаннаго движенія матеріи, выводящаго изъ одной формы другую, съ новымъ развитіемъ и съ новыми орудіями для потребностей. Желающему не трудно вывести отсюда такое заключеніе, что въ самой матеріи заключается творческая сила — именно это вѣковѣчное движеніе; что въ немъ заключается вся будущность природы и человѣчества — способная къ безграничному прогрессу и совершенствованію, и что затѣмъ нѣть никакой надобности отыскивать еще въ самой матеріи конечную творческую силу, равно какъ и промыслъ Создателя о вселенной и человѣкѣ. Понятно, какъ сходится такой выводъ со вкусомъ мысли, отвергающей Бога и вѣрующей въ человѣчество. Непонятно только, какъ можетъ здравый смыслъ повѣрить въ вѣчность матеріи, отвергая начальную ея причину, и повѣрить тому, что движеніе, само по себѣ, — движеніе чего бы то ни было, однимъ теченіемъ — хотя бы и вѣковѣчнаго времени — способно произвестъ все, что угодно представить себѣ любому воображенію.

Печальное будетъ время, — если наступитъ оно когда-нибудь, — когда воротится проповѣдуемый нынѣ новый кульпъ человѣчества. Личность человѣческая немного будетъ въ немъ значить; спимутся и тѣ, какія существуютъ теперь, правственныея преграды насилию и самовластію.

Во имя доктрины, для достижения воображаемых целей къ усовершенствованію породы, будутъ приноситься въ жертву самые священные интересы личной свободы, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти; о совѣсти, впрочемъ, и помина не будетъ при воззрѣніи, отрицающемъ саму идею совѣсти. Наші реформаторы, воспитавшись сами въ кругу тѣхъ представлений, понятій и ощущеній, которыя отрицаютъ, не въ состояніи представить себѣ ту страшную пустоту, которую окажеть нравственный міръ, когда эти понятія будутъ изъ него изгнаны. Каковы бы ни были увлеченія нынѣшняго законодателя, правителя, нынѣшней власти всякаго рода,—надъ нею все-таки носится безотлучно, хотя и не всегда сознательно, представлениe о личности человѣческой, о такой личности, которую нельзя раздавить такъ, какъ давятъ насѣкомое. Это представлениe имѣеть корень въ вѣковѣчномъ понятіи о томъ, что у каждого человѣка есть живая душа, единая и бессмертная, следовательно, имѣющая *безусловное бытие*, которое не можетъ истребить никакая человѣческая сила. Оттого между нами нѣть такого злодѣя и насильника, который, посреди всѣхъ своихъ насилий, не озирался бы на попираемую имъ живую душу съ нѣкоторымъ страхомъ и почтеніемъ. Отнимите это сознаніе:—во что превратится законодательство наше, правительство наше и наша общественная жизнь? Поборники личной свободы человѣка странно обольщаются себѣ, когда во имя этой свободы присоединяются къ возникающему культу человѣчества.

Къ счастью, можно понадѣяться, что эти новые горизонты, которые возвѣщаетъ памъ въ будущемъ гуманистарное ученіе, никогда не откроются для человѣчества, или, по крайней мѣрѣ, откроются не для всѣхъ и не надолго. Что могли бы намъ открыть эти горизонты новой

вѣры и новой жизни,—о томъ мы можемъ судить лишь по некоторымъ выводамъ и политическимъ приложениямъ, на которые отъ времени до времени намъ указываютъ. Вотъ одинъ изъ образчиковъ такого приложения дарвинизма къ сферѣ практическаго законодательства. Есть особливое разсужденіе Дарвина „о благодѣтельныхъ для человѣчества стѣсненіяхъ брачнаго союза“. Въ самомъ началѣ статьи Дарвинъ объясняетъ, что одна изъ основныхъ идей христианства—есть идея о личной ответственности каждого человѣка за свою душу и о независимости человѣка, въ духовной его сферѣ, отъ другихъ людей. Вслѣдствіе этого предполагается, что человѣкъ въ правѣ располагать, на свой отвѣтъ, и своимъ тѣломъ. Эта идея и это право должны, по мнѣнію Дарвина, уступить дѣйствію нового открытаго имъ закона—его такъ называемой эволюціонной доктрины. Человѣкъ въ правѣ располагать своимъ тѣломъ и дозволять себѣ удовлетвореніе тѣлесныхъ потребностей лишь потому, поколику то и другое согласуется съ нормальнымъ развитиемъ цѣлой породы. Итакъ, по мѣрѣ того какъ наука дарвинизма будетъ изъ своихъ наблюдений надъ фактами материальной жизни дѣлать новые выводы и обобщенія закона эволюціи, законодательство можетъ и должно стѣснить личную свободу человѣка, даже въ удовлетвореніи органическихъ его потребностей....

Ссылаясь на статистическія данины, собранныя въ двухъ, трехъ ученыхъ сочиненіяхъ о физіологическомъ вліяніи наследственности на человѣческій организмъ, Дарвинъ утверждаетъ, что въ Англіи на каждые 500 человѣкъ приходится одинъ безумный, что это безуміе происходитъ въ большей части случаевъ отъ наследственнаго къ нему расположения, передаваемаго бракомъ и рожденіемъ, и что количество отдельныхъ случаевъ безумія увеличивается со

временемъ въ геометрической прогрессії. Итакъ, человѣческой породѣ угрожаетъ безграничное распространеніе зла, и противъ коего необходимо принять мѣры. Съ этимъ выводомъ можно согласиться. Все дѣло состоитъ въ томъ, какія потребны мѣры. Дарвинъ, съ своей точки зрѣнія, предлагаетъ стѣснить для человѣчества до крайней возможности свободу вступленія въ бракъ. „Необходимо, говоритъ онъ, улучшить, укрѣпить физический организмъ въ породѣ человѣческой; для этой цѣли мы должны придумать искусственное средство въ замыну ослабившей силы естественного подбора (*natural selection*). Только при такомъ условіи возможенъ прогрессъ въ породѣ человѣческой. *Mens sana in corpore sano.* Успехи врачебного искусства служатъ въ этомъ случаѣ не къ общей пользѣ, а ко вреду. Нѣть сомнѣнія, что въ массѣ нашего цивилизованаго общества уровень здоровья понизился до тревожныхъ размѣровъ, и что врачебное искусство, поддерживая слабые организмы, будетъ только увеличивать зло для будущихъ поколѣній. Необходимо, по мнѣнію Дарвина, сократить число слабыхъ, отступающихъ въ состязаніе съ сильными въ борьбѣ за существованіе.“

И вотъ какія средства предлагаетъ Дарвинъ законоподательству для этой цѣли. Всѣ существующія пынѣ въ законѣ препятствія ко вступленію въ бракъ должны оставаться въ силѣ. Сверхъ того, законъ долженъ, во-первыхъ, признать рѣшительнымъ поводомъ къ разводу появленіе у одного изъ супруговъ пѣкоторыхъ болѣзней. Какихъ? Дарвинъ приводитъ цѣлую поменклатуру болѣзней, передаваемыхъ по наслѣдству; мы находимъ здѣсь болѣзни легкихъ, желудка, печени, подагру, золотуху, ревматизмъ и т. п., такъ что вся кому супругу, не обладающему геркулесовскимъ здоровьемъ, приходилось бы трепетать ежедневно за цѣлость своего брачного союза, тѣмъ болѣе, что расторженіе его по болѣзни

было бы связано съ государственнымъ интересомъ, или, правильнѣе сказать, съ интересомъ всего человѣчества. И можно думать, что Дарвинъ имѣетъ въ виду приложеніе къ дѣламъ этого рода—слѣдственнаго процесса, потому что далѣе, *во-вторыхъ*, предлагаетъ онъ ввести общую систему медицинскаго осмотра для удостовѣренія упомянутыхъ болѣзней, по образцу принятой въ Германіи системы осмотра для удостовѣренія способности къ военной службѣ. *Въ-третьихъ*, Дарвинъ предлагаетъ постановить слѣдующее правило. Никто не можетъ вступать въ бракъ, не представивъ удостовѣренія въ томъ, что онъ никогда въ жизни свою не страдалъ припадками безумія. Мало того. Онъ долженъ еще представить чистую свою родословную (*untainted pedigree*), т. е. доказать, что его родители и даже дальгѣйшіе, восходящіе и боковые родственники никогда не имѣли подобныхъ припадковъ. Все это необходимо,—поясняетъ Дарвинъ,—для того, чтобы въ массѣ человѣчества значительно умножилась способность къ счастью (*capacity for happiness*), съ уничтоженіемъ главнаго препятствія къ счастью, т. е. болѣзни.

Возможно ли вводить такія стѣсненія? спрашиваетъ самъ Дарвинъ, и отвѣчаетъ: пустяки! Такія-ли еще стѣсненія существуютъ въ разныхъ брачныхъ законахъ. Въ доказательство приводитъ онъ на трехъ страницахъ примѣры изъ разныхъ законодательствъ, большиѳ всего изъ варварскихъ, ссылаясь заодно и на Пруссію, и на Сіамъ, и на Китай, и на Мадагаскаръ, и на остатковъ съ тунгусами. Ему правится, повидимому, всякое запрещеніе вступать въ бракъ и всякий поводъ къ разводу. Въ концѣ своей рѣчи онъ даже не останавливается на самомъ простомъ вопросѣ, который можно было бы предложить ему: къ чему послужатъ законныя запрещенія брака, когда помимо брака невозможно будетъ удержать натуральнаго сожитія и, стало быть, дѣторожденія?

Можетъ быть, вопросъ этотъ и приходилъ на мысль автору, но достаточнымъ на него отвѣтъ представлялся ему, приведенный въ той же статьѣ, примѣръ Японіи, где *проституція* не только терпима, но даже подъ рукою покровительствуется государствомъ, такъ какъ ею задерживается *чрезмѣрное парожденіе людей...*

Такъ судитъ самъ первоверховный апостолъ дарвинизма! Очевидно, что основнымъ закономъ бытія представляется ему „охраненіе сильныхъ и истребленіе слабыхъ“. И это самое правило хочетъ онъ, повидимому, возвести въ *положительный законъ* для гражданского общества. Вотъ образчикъ крайняго увлечения одностороннею идеей, собственного изобрѣтенія. Кромѣ ея—будущій законодатель общества ничего не видитъ, и не признаетъ, повидимому, въ жизни и развитіи никакихъ иныхъ мотивовъ, кромѣ физиологическихъ. О нравственныхъ мотивахъ не упоминаетъ онъ вовсе. Сильные и слабые организмы представляются ему числами, отвлеченными величинами, на которыхъ онъ дѣлаетъ разсчетъ математически. Онъ даже не задаетъ себѣ вопроса о томъ: дѣйствительно-ли сильнымъ его прибудетъ силы отъ того, что погибнутъ всѣ слабые? Онъ не хочетъ знать той истины, что всякая сила возрастаетъ отъ дѣятельности, отъ испытания и упражненія, и что сильнымъ не на чемъ будетъ испытывать и возвращать свою силу, когда не будетъ слабыхъ, требующихъ помощи и покровительства; что сами слабые, возрастаю при благопріятныхъ условіяхъ, могутъ окрѣпнуть, достигнуть силы и стать способными передать ее другому поколѣнію. Наконецъ, и сильные, устоявшіе въ натуральной борьбѣ, способны-ли будутъ послужить къ усовершенствованію породы, если сила ихъ будетъ поддерживаться механическимъ процессомъ на счетъ слабыхъ?





Духовная жизнь.

I.

Старая учреждения, старые предания, старые обычай — великое дѣло. Народъ дорожитъ ими, какъ ковчегомъ завѣта предковъ. Но какъ часто видѣла исторія, какъ часто видимъ мы нынѣ, что не дорожать ими народныя правительства, считая ихъ старымъ хламомъ, отъ которого нужно скорѣе отѣлаться. Ихъ носятъ безжалостно, ихъ спѣшатъ перелить въ новыя формы и ожидаютъ, что въ новыя формы немедленно вселится новый духъ. Но это ожиданіе рѣдко сбывается. Старое учрежденіе тѣмъ драгоцѣнно, потому незамѣнно, что оно не придумано, а создано жизнью, вышло изъ жизни прошлой, изъ исторіи, и освящено въ народномъ мнѣніи тѣмъ авторитетомъ, который даетъ исторія и.... одна только исторія. Ничѣмъ инымъ нельзя замѣнить этого авторитета, потому что корни его въ той части бытія, гдѣ всего крѣпче связуются и глубже утверждаются нравственныя узы — именно въ *безсознательной* части бытія. Нараспашь полагаютъ иные, что можно за-

мѣнить его сознаніемъ *идей* вновь введенаго учрежденія, которое желаютъ привить къ народной мысли; только отдельныя лица могутъ скоро усвоить себѣ такое сознаніе разсудочною силой и найти въ немъ для себя источникъ одушевленія и вѣры. Для массы недоступно такое сознаніе; когда хотятъ его привить къ ней извѣй, оно преломляется, дробится, искаляется въ ней, возбуждая лживыя и фантастическія представлениія. Масса усвоиваетъ себѣ идею только непосредственнымъ чувствомъ, которое воспитывается и утверждается въ ней не иначе, какъ исторіей, передавалась изъ рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе. Разрушить это преданіе возможно, но невозможно, по произволу, восстановить его.

Въ глубинѣ старыхъ учрежденій часто лежитъ *идея*, глубоко вѣрная, прямо истекающая изъ основъ народнаго духа, и хотя трудно бываетъ иногда распознать и постигнуть эту идею подъ множествомъ внѣшнихъ наростовъ, покрововъ и формъ, которыми она облечена, утратившихъ въ новомъ мірѣ первоначальное свое значеніе, но народъ постигаетъ ее чутью и потому крѣпко держится за учрежденія въ привычныхъ имъ формахъ. Онъ стоитъ за нихъ, со всѣми оболочками, иногда безобразными и, повидимому, безмысленными, потому что оберегаетъ инстинктивно зерно истины, подъ ними скрытое, оберегаетъ противъ легкомысленнаго посягательства. Это зерно всего дороже, потому что въ немъ выразилась древнимъ установлениемъ исконная потребность духа, въ немъ отразилась истина, въ глубинѣ духа скрыта. Что нужды, что формы, которыми облечено установление, грубыя: грубая форма — произведеніе грубаго обычая, грубаго права, — вѣнцемъ скудости, явленіе преходящее и случайное. Когда измѣняется къ лучшему правы, тогда и форма одухотворится, облагородится. Очистимъ внутренность,

поднимемъ духъ народный, освѣтимъ и выведемъ въ сознаніе идею,—тогда грубая форма распадется сама собою и уступитъ мѣсто другой, совершиллѣйшей; виѣшнее само собою станетъ чисто и просто.

Но этого не хотятъ знать народные реформаторы, когда разсвирѣпѣютъ негодованіемъ на грубость формы и на злоупотребленіе въ древнихъ установленіяхъ. Изъ-за обрядовъ и формъ, они забываютъ о сущности учрежденія и готовы разбить его совсѣмъ, ничего въ немъ не видя, кроме грубости и обряднаго суевѣрія. Сами они думаютъ, что перешли черезъ него, пережили его и могутъ безъ него обойтись, но забываютъ о миллионахъ, которымъ оно доступно по мѣрѣ быта и духовнаго развитія ихъ лишь въ этой грубой обрядности. Разбейте ее, въ виду народа,—и народъ, только ее знающій, утратитъ съ обрядностью цѣлое учрежденіе, утратитъ, можетъ быть навсегда, возможность уловить снова заложенную въ немъ предками идею и облечь ее въ новую форму. Не лучше-ли было бы начать преобразованіе изнутри, просвѣтить сначала духъ народный, углубить въ немъ идею, очистить и обогатить нравственный и умственный бытъ его? Тогда и идея была бы спасена, и пасилія народной жизни не было бы, и грубая форма сама собою перелилась бы въ новую.

„Великое дѣло—говоритъ Карлейль—существующее, дѣйствительное, то,—что возникло изъ бездонныхъ пропастей теоріи и возможности, образовалось и стоитъ между нами опредѣлительнымъ, безспорнымъ фактомъ, на которомъ люди живутъ и дѣйствуютъ, жили и дѣйствовали. Недаромъ такъ крѣпко держатся за него люди, пока онъ стоитъ еще, съ такой скорбью покидаютъ его, когда онъ разсыпается и уходитъ. Остерегись же, ономись, восторженный поклонникъ перемѣны и преобразованій! Подумалъ-ли ты, что зна-

читъ обычай въ жизни человѣчества, какъ чудно все наше знаніе, вся наша практика повѣшены падъ безконечнouо бездной невѣдомаго, несодѣланныаго — и все существо наше точно безконечная бездна, черезъ которую переброшенъ мостъ обычая, тонкимъ землянымъ слоемъ, сложеннымъ вѣковою работой...

„Этотъ земляной мостъ — система обычаевъ, опредѣленныхъ путей для вѣрованія и для дѣланія: не будетъ его — не будетъ и общества. Съ нимъ оно держится; хорошо-ли, худо-ли — существуетъ. Въ нихъ, въ этихъ обычаяхъ, истинный кодексъ законовъ, истинная конституція общества; единственный, хоть и неписанный, кодексъ, котораго никоимъ образомъ нельзя не признать, которому нельзя не повиноваться. Что мы называемъ писаннымъ кодексомъ, конституціей, образомъ правленія — все это развѣ не миниатюрный образъ, не экстрактъ того же неписанаго кодекса? Да, такимъ долженъ быть писанный законъ, и такимъ всегда стремится быть, но никогда не бываетъ, и въ этомъ противорѣчіи начало борьбы безконечной...

„Но если въ обычай ты чувствуешь ложь, и эта ложь давить тебя, неужели оставить ее, неужели уважать ее, неужели не разрушить ея? Да, не мирись съ ложью и разрушай ложь, но помни, въ какомъ духѣ разрушаешь: смотри, чтобы не въ духѣ ненависти и злобы, не съ насилиемъ эгоизма и самоувѣренности, а въ чистотѣ сердца, со святою ревностью къ правдѣ, съ иѣжностю, — съ состраданіемъ. Смотри — разрушая ложь, не замѣняешь ли ты ее новою ложью, новою неправдой, отъ тебя самого исходящей, своею ложью, своей неправдою, отъ которой новая лжи и неправды родятся? Если такъ, — послѣднія у тебя будутъ горище первыхъ“...

II.

Изъ-за свободы ведется вѣковая брань въ мірѣ человѣческихъ учрежденій и отношеній; но гдѣ она, эта свобода—если пѣтъ ея въ душѣ человѣческой? Отовсюду разумъ ополчается на старые авторитеты и стремится разрушить ихъ повидимому для свободы, но на самомъ дѣлѣ для того, чтобы поставить на мѣсто ихъ авторитеты настоящей минуты, вновь изобрѣтенные сегодня, можетъ быть для того только, чтобы завтра на смѣшу имъ явились еще новые. Современный проповѣдникъ разума и свободы смотрѣть презрительно на православно-вѣрующихъ, за то что они держатся вѣры, которую приняли въ церкви отъ отцовъ и дѣдовъ, и остаются вѣрны преданію; но и онъ развѣ самъ изъ себя выработалъ то, что считаетъ основными мнѣніями своими о церкви и о главныхъ предметахъ жизни духовной? Онъ осмѣиваетъ благоговѣйное чувство церковнаго человѣка и называетъ его суевѣріемъ. А у него самого за плечами стоитъ такъ называемое общественное мнѣніе и связываетъ его благоговѣйнымъ страхомъ: развѣ это не величайшее изъ суевѣрій?—Намъ дорого паше прошедшее, и мы относимся къ уваженіемъ къ исторіи. Онъ смѣется, онъ презираетъ прошедшее и вѣруетъ въ настоящее; но это поклоненіе настоящему чѣмъ лучше нашего, осмѣянаго имъ чувства? Намъ говорятъ: сбросьте съ себя ярмо закона, разорвите вѣковыя цѣни преданія, и будете свободны... Но какая же то свобода, когда вмѣстѣ съ тѣмъ настоящее *statu quo* возводится намъ въ законъ и ложится на насъ ярмомъ еще тяжеле прежняго, когда вмѣсто непогрѣшимаго и вдохновеннаго Писания, которое отнимаютъ у насъ, велятъ намъ вѣрить въ непогрѣшность мнѣнія толпы народной и хотятъ, чтобы въ большинствѣ голосовъ слышали мы непрекаемый и непогрѣшимый голосъ истины!

III.

Старые Листья

(изъ Саллата).

Срываю съ дерева засохшие листы,
 Вы не разбудите заснувшую природу,
 Не вызовете вы, сквозь снѣгъ и непогоду,
 Весенней зелени, весенней теплоты!

Придетъ пора—тепло весеннее дохнетъ,
 Въ застывшихъ сокахъ жизнь и сила разольётся,
 И самъ собою листъ засохшій отиадеть,
 Лишь только свѣжій листъ па вѣткѣ развернётся.

Тогда и старый листъ подъ солнечнымъ лучомъ,
 Почуявъ жизнь, придетъ въ весеннее броженіе:
 Въ немъ—новой поросли готовится назѣмъ,
 Въ немъ—свѣжій сокъ найдетъ младое поколѣніе....

Не съ тѣмъ пришла весна, чтобы гнѣви разорять
 Вѣковъ минувшихъ плодъ и дѣло въ мірѣ новомъ:
 Великаго удѣль—творить и исполнять:
 Кто разоряется—малъ во царствіи Христовомъ.

Не быть тебѣ творцомъ, когда тебя ведеть
 Къ прошедшему одно лишь гордое презрѣніе.
 Духъ—создалъ старое: лишь въ *старомъ* опъ пайдеть
 Основу твердую для *новаго* творенія.

Вѣкъ будуть истинны—пророки и законъ,
 Въ чертѣ едипой—вѣчный смыслъ таится,
 И въ новой истинѣ лишь то должно открыться,
 Въ чемъ былъ издревле смыслъ глубокій заключенъ.

IV.

Одинъ разъ глупецъ можетъ имѣть обо всемъ ясныя мысли и представлений. Самая драгоценная понятія, какія вмѣщаются въ себѣ умъ человѣческій,—находятся въ самой глубинѣ поля и въ полутигѣ; около этихъ-то смутныхъ идей, которыя мы не въ силахъ привести въ связь между собою,—вращаются ясныя мысли, расширяются, развиваются, возвышаются. Если бы отрѣзать настѣнъ отъ этого задняго плана—въ этомъ мірѣ остались-бы только геометры, да понятливые животныя; даже точные науки утратили-бы въ немъ нынѣшнее свое величие, зависящее отъ скрытаго ихъ отношенія къ другимъ безконечнымъ пестинамъ, которыя мы только угадываемъ и въ которыхъ лишь по временамъ какъ будто прозираемъ. Неизвѣстное—это самое драгоценное достояніе человѣка: недаромъ училъ Платонъ, что все въ здѣшнемъ мірѣ есть слабый образъ верховнаго домостроительства. Кажется даже, что главное дѣйствіе красоты, которую мы видимъ, состоить въ возбужденіи мысли о высшей красотѣ, которой не видимъ, и очарованіе, производимое, напримѣръ великими поэтами, состоить не столько въ картинахъ, ими изображаемыхъ, сколько въ тѣхъ дальнихъ отголоскахъ, которые они будятъ въ насъ и которые идутъ изъ невидимаго міра.

V.

Жизнь, бывающая ключемъ юности, желанія и страсти, жизнь, исполненная наслажденій, жизнь подъ непрестаннымъ солнечнымъ сияніемъ, погружаетъ человѣка въ сонъ, съ которымъ разстаться не хочется,—сонъ, исполненный очаровательныхъ видѣй и сладостныхъ ощущеній.

Но этот сонъ когда-нибудь прерывается — горемъ, заботою, разочарованіемъ, надеіемъ счастья и правды. Солнце скрывается, наступаетъ ночь, со всѣми страхами почї.

Но посреди этой ночи на свѣдѣ небесномъ являются смятеної душѣ, въ таинственной красотѣ своей, небесныя свѣтила, которыхъ она не видѣла и не чуяла въ солнечномъ сѣнѣ. Тогда таинственное объемлетъ и смиряетъ смятенную душу, и возстаютъ передъ нею свѣтила дѣтства и юности — простота первыхъ ощущеній, ласки и завѣты безкорыстной родительской любви, забытые уроки Богопочтенія и долга, — все, что вмѣстѣ съ началомъ бытія возникло для человѣка изъ вѣчности, и питало, и учило, и освѣщало начатки юной жизни. Надо было душѣ погрузиться въ мракъ ночи для того, чтобы открылись ей изъ глубины прошедшаго небесныя ея свѣтила.

VII.

Карусь, въ своемъ извѣстномъ сочиненіи *О душѣ* (Psyche), — говоритъ, что ключъ къ уразумѣнію существа *сознательной* жизни души лежитъ въ области *безсознательного*. Въ своей книгѣ онъ изслѣдуется взаимное отношеніе сознательного къ безсознательному въ жизни человѣческой и высказываетъ много глубокихъ мыслей. Божественное въ насъ, — говоритъ онъ, — что мы называемъ душою, не есть что-либо разъ остановившееся въ извѣстномъ моментѣ, но есть нечто непрестанно преобразующееся въ постоянномъ процессѣ развитія, — разрушенія и новаго образованія. Каждое явленіе, бывающее во времени, есть продолженіе или развитіе прошедшаго и содержитъ въ себѣ чайнѣ будущаго. Сознательная жизнь человѣка разлагается на отдѣльные моменты времени, и ей доступно лишь смутное представ-

ление своего существа въ прошедшемъ и будущемъ, настой-
дал же мигу отъ нея ускользаетъ, ибо сдѣя явилась—
акъ уже переходитъ въ прошедшее. Приведеніе всѣхъ
тихъ моментовъ къ единству, сознаніе *настоящаго*, т. е.
брѣтеніе истиннаго твердаго пункта между настоящимъ и
будущимъ, возможно лишь въ области безсознательнаго, т. е.
амъ, гдѣ нѣтъ времени, но есть вѣчность. Извѣстные мно-
гической древности обѣ *Эпиметей* и *Прометей* имѣютъ
глубокое значеніе, и не даромъ греческая мудрость поста-
вляла ихъ въ связь съ высшимъ развитіемъ человѣчества.
Вся органическая жизнь напоминаетъ памъ эти двѣ об-
отиная стороны творческой идеи въ области безсознатель-
аго. И въ мірѣ растительному, и въ мірѣ животному
аждое побужденіе, каждая форма даютъ памъ знать, когда
мы вдумываемся, что здѣсь есть пѣчто возвращающее насъ
къ прошедшему, къ явившемуся и бывшему прежде, и пред-
казываетъ памъ пѣчто имѣюще образоваться и явиться
будущемъ. Чѣмъ глубже мы вдумываемся въ эти свойства
влияй, тѣмъ болѣе убѣждаемся, что все что въ *сознатель-
ной* жизни мы называемъ памятью, воспоминаніемъ, и все
о въ особенности, что называемъ предвидѣніемъ и предвѣ-
ніемъ,— все это служитъ лишь самымъ блѣднымъ отра-
женіемъ той явиности и опредѣлительности, съ которою эти
свойства воспоминанія и предвидѣнія открываютъ въ *безсо-
знателльной* жизни.

Въ сочиненіи Каруса изслѣдуются случаи, въ коихъ
ознательная жизнь души, простоянавшаясь, переходитъ
ногда внезапно въ область безсознательнаго. Замѣчательно,
говорить онъ, внезапное и непроизвольное возникновеніе
у нашей душѣ давно исчезнувшихъ изъ нея представлений
и образовъ, равно какъ и внезапное исчезновеніе ихъ изъ
нашего сознанія, причемъ они сохраняются и соблюдаются

однако въ глубинѣ безсознательной души. Представлениа о лицахъ, предметахъ, мѣстностяхъ и пр., даже иные особенности чувства и ощущенія, иногда въ теченіе долгаго времени кажутся совсѣмъ исчезнувшими, какъ вдругъ просыпаются и возникаютъ снова со всею живостью, и тѣмъ доказываютъ что въ действительности не были они утрачены. Бывали отдельные очень удивительные случаи, въ коихъ разомъ сознаніе съ необыкновенною ясностью простидалось на цѣлый кругъ жизни со всѣми ея представлениями. Извѣстенъ случай этого рода съ однимъ англичаниномъ, подвергвшимся сильному действію опіума: однажды, въ періодъ сильнаго возбужденія передъ наступленіемъ полнаго притупленія чувствъ, ему представилась необыкновенно ясно и во всей полнотѣ картина всей прежней его жизни со всѣми ее представлениами и ощущеніями. То же, разказываютъ, случилось съ одною девицей, когда она упала въ воду и утонула, въ минуту передъ совершенною потерей сознанія.

Карусь не приводить подробностей и не ссылается на удостовѣреніе приведенного случая: многимъ, безъ сомнѣнія, доводилось тоже слышать подобные разсказы въ смутномъ видѣ. Но вотъ единственный, намъ извѣстный, любопытныи и вполнѣ достовѣрный разсказъ о подобномъ событии самого того лица, съ коимъ оно случилось.

Это случилось съ очень извѣстнымъ англійскимъ адмираломъ Бьюфортомъ, въ Портсмутѣ, когда онъ въ молодости опрокинулся съ лодкой въ морѣ и попалъ ко дну, не умея плавать. Онъ былъ вытащенъ изъ воды и впослѣдствіи, по убѣждению извѣстнаго доктора Волластона, записалъ страшную исторію своихъ ощущеній. Вотъ этотъ разсказъ во всей его цѣлости.

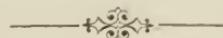
Описывая обстоятельства, при которыхъ совершилось паденіе, онъ говоритъ: „Все это я передаю или по смутно-

му воспоминанию, или по рассказамъ свидѣтелей; самъ уточнющій въ первую минуту поглощенъ весь ощущенiemъ своей гибели и боренiemъ между надеждой и отчаяніемъ. Но что затѣмъ послѣдовало, о томъ могу свидѣтельствовать съ полнѣйшимъ сознаніемъ: въ духѣ моемъ совершился въ эту минуту внезапный и столь чрезвычайный переворотъ, что всѣ его обстоятельства остаются донынѣ такъ свѣжі и живы въ моей памяти, какъ бы вчера со мною случились. Съ того момента, какъ прекратилось во миѣ всякое движение (что было, полагаю, послѣдствіемъ совершенного удушенія),—тихое ощущеніе совершенного спокойствія смѣнило собою всѣ прежнія мятежныя ощущенія; можно, пожалуй, назвать его состояніемъ анатии; но тутъ не было тупой покорности предъ судьбою, потому что не было тутъ ни малѣйшаго страданія, не было и ни малѣйшей мысли ни о гибели, ни о возможности спасенія. Напротивъ того, ощущеніе было скорѣе пріятное, иѣчто въ родѣ того тупого, но удовлетвореннаго состоянія, которое бываетъ передъ спомъ послѣ сильной усталости. Чувства мои такимъ образомъ были притуплены, по съ духомъ произошло иѣчто совсѣмъ противоположное. Дѣятельность духа оживилась въ мѣрѣ, превышающей всякое описание; мысли стали возникать за мыслями съ такою быстротою, которую не только описать, но и постигнуть не можетъ никто, если самъ не испыталъ подобнаго состоянія. Теченіе этихъ мыслей я могу и теперь въ значительной мѣрѣ прослѣдить—начиная съ самого события, только что случившагося,—неловкость, бывшая его причиной, смятеніе, которое отъ него произошло (я видѣлъ, какъ двое вслѣдъ за мною спрыгнули съ борта), дѣйствіе, которое оно должно было произвестъ на моего иѣжнаго отца, объявленіе ужасной вѣсти всему семейству,—тысяча другихъ обстоятельствъ, тѣсно связанныхъ съ домашнею

моей жизнью: воть изъ чего состоялъ первый рядъ мыслей. Затѣмъ кругъ этихъ мыслей сталъ расширяться дальше: явилось послѣднее наше плаваніе, первое плаваніе со случившимся крушеніемъ, школьная моя жизнь, мои успѣхи, всѣ ошибки, глупости, шалости, всѣ мелкія приключенія и затѣмъ того времени. И такъ дальше и дальше назадъ, всякий случай прошедшій моей жизни проходилъ въ моемъ воспоминаніи въ поступательно обратномъ порядкѣ, и не въ общемъ очертаніи, какъ показано здѣсь, но живою картиною во всѣхъ мельчайшихъ чертахъ и подробностяхъ. Словомъ сказать — вся исторія моего бытія проходила передо мной точно въ панорамѣ, и каждое въ ней со мною событіе соединялось съ сознаніемъ правды или неправды, или съ мыслью о причинахъ его и послѣдствіяхъ; удивительно, — даже самые мелкіе, ничтожные факты, давнымъ давно позабытые, всѣ почти воскресли въ моемъ воображеніи, и притомъ такъ знакомо и живо, какъ бы недавно случились. Все это не указываетъ-ли на безграничную силу нашей памяти, не пророчить ли, что мы со всей полнотою этой силы проснемся въ иномъ мірѣ, *принуждены будемъ созерцать нашу прошедшую жизнь во всей полнотѣ ея?* И съ другой стороны — все это не оправдываетъ ли вѣру, что смерть есть только измѣненіе нашего бытія, въ коемъ, стало быть, неѣтъ дѣйствительнаго промежутка или перерыва? Какъ бы то ни было, замѣчательно въ высшей степени одно обстоятельство — что безчисленныя идеи, промелькнувшія въ душѣ у меня, всѣ до одной обращены были въ прошедшее. Я былъ воспитанъ въ правилахъ вѣры. Мысли мои о будущей жизни, и соединенные съ ними надежды и опасеніе не утратили никакъ первоначальной силы, и въ иное время одна вѣроятность близкой гибели возбудила бы во мнѣ страшное волненіе; но въ этотъ неизѣяснимый моментъ,

когда во мнѣ было полное убѣжденіе въ томъ, что перейдена уже черта, отдѣляющая меня отъ вѣчности,— ни единой мысль о будущемъ не заглянула ко мнѣ въ душу, я былъ погруженъ весь въ прошедшее. Сколько времени было у меня занято этимъ потокомъ идей, или, лучше сказать, въ какую долю времени всѣ онѣ были втиснуты, не могу теперь опредѣлить въ точности; но безъ сомнѣнія не прошло и двухъ минутъ съ момента удущенія моего до той минуты, когда меня вытащили изъ воды.

„Когда стала возвращаться жизнь, ощущеніе было во всѣхъ отношеніяхъ противоположное прежнему. Одна простая, по смутилъ мысль—жалостное представленіе, что я утопалъ—тяготѣла надъ душой, вместо множества ясныхъ и опредѣленныхъ идей, которыхъ только что пропеслись черезъ нее. Безнomoцная тоска, въ родѣ кошмара, подавляла всѣ мои ощущенія, мѣшая образованію какой-либо опредѣленной мысли, и я съ трудомъ убѣдился, что живъ дѣйствительно. Уточая, не чувствовалъ я ни малѣйшей физической боли; а теперь мучительная боль терзала весь составъ мой: такого страданія я не испытывалъ въ послѣдствіи, не смотря на то, что бывалъ не сколько разъ раненъ и часто подвергался тяжкимъ хирургическимъ операциямъ. Однажды пуля прострѣлила мнѣ легкія: я пролежалъ не сколько часовъ ночью, на палубѣ, и, истекая кровью отъ другихъ ранъ, потерялъ наконецъ сознаніе въ обморокѣ. Не сомнѣваясь, что рана въ легкія смертельна, конечно, въ минуту обморока я имѣлъ полное ощущеніе смерти. Но въ эту минуту не испыталъ я ничего похожаго на то, что совершилось въ душѣ у меня, когда ятонулъ; а приходя въ себя послѣ обморока, я разомъ пришелъ въ ясное сознаніе о своемъ дѣйствительномъ состояніи“.





Ц е р к о в ь.

I.

Чѣмъ явственнѣе означаются въ умѣ отличительныя племенинїя черты каждого вѣроисповѣданія, тѣмъ болѣе убѣждаешься въ томъ, какое недостижимое и мечтательное дѣло—объединеніе вѣроисповѣданій въ одномъ искусствѣномъ, надуманномъ соглашеніи о догматѣ, на началѣ взаимной уступки въ частяхъ несущественныхъ. Существенное въ каждомъ вѣроисповѣданіи едва-ли возможно выразить, выяснить па бумагѣ или въ опредѣленной формулѣ. Самое существенное, самое упорное и драгоцѣнное въ церковномъ вѣрованіи — неуловимо, недоступно опредѣленію, подобно разнообразію свѣта и тѣней, подобно чувству, сложившемуся изъ безконечнаго ряда послѣдовательныхъ ощущеній, представлений и впечатлѣній. Самое существенное — связало и сплетено множествомъ такихъ тонкихъ корней съ психическою природою каждого племени и съ общими, сложившимися въ немъ, началами нравственнаго міросозерцанія, что невозможно отдѣлить одно отъ другого. Разноцерковные и разноцерковные люди могутъ, во многихъ отношеніяхъ,

при встречѣ, во взаимномъ общепіи, почувствовать себя братьями и подать другъ другу руки; по для того, чтобы они почувствовали себя братьями въ одномъ храмѣ, соединились въ религіозномъ общеніи духа,—для этого надо было имъ долго и много прожить вмѣстѣ, другъ друга понять во всей жизненной обстановкѣ и сплестись между собою въ самыхъ внутреннихъ корняхъ глубины душевной. Такъ иногда пѣмецъ, долго прожившій въ Россіи, безсознательно привыкаетъ вѣровать по-русски, и въ русской церкви чувствуетъ себя дома. Тогда онъ *входитъ* къ намъ, становится однимъ изъ нашихъ, и общеніе его съ нами—полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантовъ, вдалекѣ отъ насъ стоящее, по слуху судящее объ насъ, могло, по книжному или отвлеченному соглашенію о догматахъ и обрядахъ, соединиться съ нами въ одну церковь организическимъ союзомъ и стать едино съ нами по духу,—этого и представить себѣ нельзя. До сихъ поръ не удавалась еще ни одна церковная унія, основавшая на соглашеніи: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодомъ его бывало повсюду умноженіе не любви, а взаимнаго отчужденія или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать другъ друга за вѣру; пусть каждый вѣруетъ по-своему, какъ ему сроднѣе. Но у каждого есть вѣра, въ которой ему пріютно, которая ему по душѣ, которую онъ любить; и нельзя не чувствовать, когда подходишь къ иной вѣрѣ, несродной, несочувственной, что здѣсь—не то, что у насъ; здѣсь непріютно и холодно; здѣсь не хотѣль бы жить. Пусть разумъ говорить отвлеченнымъ разсужденіемъ: вѣдь, они тому же Богу молятся. Чувство не всегда можетъ согласиться съ этимъ разсужденіемъ; иногда чувству кажется, что въ чужой церкви какъ будто не тому Богу молятся.

Многіе стануть смѣяться падъ такимъ ощущеніемъ, пожалуй, назовутъ его суевѣріемъ, фанатизмомъ. Напрасно. Ощущеніе не всегда обманчиво; въ немъ сказывается иногда истина прямѣе и вѣрнѣе, нежели въ разсужденіи.

Въ протестантскомъ храмѣ, въ протестантскомъ вѣрованіи холодно и непріятно русскому человѣку. Мало того, если ему дорога вѣра какъ жизнь,—онъ чувствуетъ, что называть этотъ храмъ своимъ—для него все равно, что умереть. Вотъ непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонныхъ причинъ. Вотъ одна изъ нихъ, которая особенно поражаетъ своей очевидностью.

Въ богословской полемикѣ, въ спорахъ между религіями, въ совѣsti каждого человѣка и каждого племени, одинъ изъ основныхъ вопросовъ—вопросъ о *дѣлахъ*. Что главное—*дѣла* или *справа*? Извѣстно, что на этомъ вопросѣ преципирается донынѣ латинское богословіе съ протестантскимъ. Покойный Хомяковъ въ своихъ богословскихъ сочиненіяхъ прекрасно разъяснилъ, до какой степени обманчива схоластически-абсолютная постановка этого вопроса. Объединеніе вѣры съ дѣломъ, равно какъ и отождествленіе слова съ мыслью, дѣла со словомъ—есть идеалъ недостижимый для человѣческой природы, какъ недостижимо все безусловное... идеаль, вѣчно возбуждающій и вѣчно обличающій вѣрующую душу. Вѣра безъ дѣлъ мертва; вѣра, противная дѣламъ, мучить человѣка сознаніемъ внутренней лжи, но въ необъятномъ мірѣ виѣшности, объемлющемъ человѣка, и предъ лицомъ безконечной вѣчности—что значитъ *дѣло* или *всѧческія дѣла*, что значитъ—безъ вѣры?

Покажи мнѣ *справу твою* отъ *дѣлъ* твоихъ—страшный вопросъ! Что на него отвѣтить *увѣренному*, когда спрашиваетъ его *испытующій*, ищущій познать истину отъ дѣла? Положимъ, что такой вопросъ задаетъ протестантъ право-

славному человѣку. Что отвѣтить ему православный? — Придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками. Но черезъ минуту можно поднять голову и сказать: грѣшные мы люди и показывать намъ печего, да, вѣдь, и ты не праведный. Но приди къ памъ самъ, поживи съ нами: и увидишь нашу вѣру, и почувешь наше чувство, и можетъ быть съ нами слюбишься. А дѣла наши, какія есть, самъ увидишь. Послѣ такого отвѣта девяносто девять изо-ста отойдутъ отъ насъ съ презрительною усмѣшкой. Въ сущности все дѣло только въ томъ, что мы показывать дѣла свои противъ вѣры не умеемъ, да и не рѣшаемся.

А они показываютъ. И умеютъ показать, и правду сказать, есть имъ что показать, въ совершенномъ порядке — вѣками созданныя, сохраненные и упроченные дѣла и учрежденія. Смотрите, — говоритъ католическая церковь, — что я значила и что значу въ жизни того общества, которое меня слушаетъ и мнѣ служитъ, что я создала и что мною держится. Вотъ дѣла любви, вотъ дѣла вѣры, вотъ дѣла апостольства, вотъ подвиги мученичества, вотъ полки вѣриные, какъ одинъ человѣкъ, которые я разсылаю на концы вселенной. Не явно-ли, что со мною и въ пасть благодать пребываетъ отъ вѣка и донынѣ?

Смотрите, — говоритъ протестантская церковь, — я не терплю лжи, обмана и суевѣрія. Я привожу дѣла въ соответствие и разумъ въ соглашеніе съ вѣрой. Я освятила вѣрою трудъ, житейскія отношенія, семейный бытъ, вѣрою искореняю праздность и суевѣріе, водворяю честность, правосудіе и общественный порядокъ. Я учу ежедневно, и учение мое, близкое къ жизни, воспитываетъ цѣлья поколѣнія въ привычкѣ къ честному труду и въ добрыхъ нравахъ. Человѣчество призвано обновиться учениемъ моимъ — въ до-

бродѣтели и въ правдѣ. Я призвана искоренить мечомъ слова и дѣла, развратъ и лицемѣріе повсюду. Не явно-ли, что сила Божія со мною, потому что во мнѣ *истинное воззрѣніе на религию?*

Протестанты донынѣ спорятъ съ католиками о догматическомъ значеніи *дѣла* въ отношеніи къ вѣрѣ. Но при совершенной противоположности богословскаго воззрѣнія на этотъ предметъ, и тѣ и другіе ставятъ *дѣло* во главу своей религіи. Только у латинянъ дѣло служитъ въ оправданіе, въ искупленіе, во свидѣтельство о благодати. Лютеранс, съ другой стороны, смотрятъ на дѣло, и въ связи съ дѣломъ, на самую религію, съ практической точки зреінія. Дѣло какъ будто обращается у нихъ въ *цѣль*, для которой существуетъ религія, становится оселкомъ, на которомъ испытывается *правда* религіозная и церковная, и вотъ пунктъ, на которомъ, болѣе чѣмъ на всякому другомъ, паша религіозная мысль расходится съ религіозною мыслью протестантизма. Безъ сомнѣнія, высказанное сейчасъ воззрѣніе не составляетъ догматического положенія въ лютеранской церкви, но имъ проникнуто все ея ученіе. Безспорно, въ немъ есть весьма важная *практическая* сторона, для *здѣшней* жизни, для *мира сего*; и оттого многіе, даже у насъ, готовы иногда ставить нашей церкви въ образецъ и въ идеалъ церкви протестантскую. Но русскій человѣкъ, въ глубинѣ вѣрующей души, не приметъ никогда такого воззрѣнія. *Благочестіе на все полезно* — и по апостольскому слову; но это лишь одна изъ *естественныхъ* принадлежностей благочестія. Русскій человѣкъ не менѣе другого знаетъ, что жить должно *по вѣрѣ*, и чувствуетъ, какъ мало сходна съ вѣрою жизнь его; но существо и цѣль вѣры своей полагаетъ онъ не въ практической жизни, а въ душевномъ спасеніи, и любовію церковнаго союза ищетъ обнять всѣхъ — отъ живу-

щаго по вѣрѣ праведника до того разбойника, который, несмотря на дѣла, прощенъ быть въ одну минуту.

Это *практическое основаніе* протестантизма нигдѣ не выражается такъ явственно, какъ въ церкви англиканской и въ духѣ религіознаго воззрѣнія англійской націи. Оно и согласуется съ характеромъ націи, выработавшимся въ ея исторіи—направлять мысль и дѣятельность повсюду къ практическимъ цѣлямъ, стойко и неуклонно добиваться успѣха и во всемъ избирать тѣ пути и способы, которые ближе и вѣрѣніе ведутъ къ успѣху. Это природное стремленіе необходимо должно было искать себѣ нравственной основы, выработать для себя нравственную теорію; и немудрено, что нравственные начала нашли для себя санкцію въ соответствующемъ извѣстному характеру религіозномъ воззрѣніи. Религія безспорно освящаетъ нравственное начало дѣятельности, учитъ, какъ жить и дѣйствовать на землѣ, требуетъ трудолюбія, честности, правды. Нельзя не согласиться съ этимъ положеніемъ. Но отъ этого положенія практическій взглядъ на религію прямо переходитъ къ вопросу: что же за религія у того, кто живетъ въ праздности, нечестіи и лживѣ, развратенїи, беспорядоченїи, не умѣеть поддержать себя? Такой человѣкъ язычникъ, а не христіанинъ; лишь тотъ христіанинъ, кто живетъ по закону и является въ себѣ силу закона христіанскаго.

Разсужденіе, повидимому, логически правильное. Но у кого не шевелится въ душѣ вопросъ: какъ же быть на свѣтѣ и въ церкви мытарямъ и блудницамъ, тѣмъ, которые, по слову Христову, предваряютъ иерѣдко церковныхъ праведниковъ въ Царствіи Божіемъ?

Разумѣется, странно было бы предполагать, что такой взглядъ на религію составляетъ положительную формулу церковнаго вѣрованія въ Англіи. Такая *формула* была бы яв-

нымъ отрицаніемъ евангельскаго ученія. Но таковъ именно духъ религіознаго воззрѣнія у самыхъ добросовѣстныхъ и ревностныхъ представителей такъ называемаго „національнаго церковнаго учрежденія“, отстаивающихъ и восхваляющихъ англиканскую церковь, какъ первую твердыню государства—bulwark of State—и какъ основное выраженіе духа національнаго. Въ англійской литературѣ, какъ въ духовной, такъ и свѣтской, это воззрѣніе выражается иногда въ весьма рѣзкихъ формахъ, въ такихъ словахъ, предъ которыми останавливается съ недоумѣніемъ, похожимъ на ужасъ, мысль русскаго читателя.

Есть сочиненіе замѣчательное по глубинѣ и основательности мысли, написанное человѣкомъ очевидно вѣрующимъ, глубоко и ревностно преданнымъ своей церкви. Вотъ что здѣсь сказано между прочимъ о религіи.

„Нѣкоторыя религіи очевидно не благопріятны чувству общественнаго долга. Иныя не имѣютъ никакого къ нему отношенія, а изъ тѣхъ религій, которыя ему благопріятствуютъ (таковы въ болѣшай или меньшей мѣрѣ всѣ формы христіанской вѣры), одни дѣйствуютъ на него съ особенною, другія съ менышею силой. Можно сказать, что всего могущественнѣе дѣйствуютъ въ этомъ смыслѣ тѣ религіи, въ коихъ господствуетъ надъ всѣмъ образъ безконечно мудраго и могущественнаго законодателя. Его личное бытіе неизслѣдимо для человѣческаго разума; но онъ сотворилъ міръ такимъ, каковъ есть міръ, сотворилъ его для рода людей благоразумныхъ, твердыхъ и смильныхъ духомъ и устойчивыхъ; для тѣхъ, которые сами небезумны и нетрусливы, и не очень жалуютъ безумныхъ и трусовъ, знаютъ твердо, что имъ нужно, и съ рѣшимостью употребляютъ всѣ законныя средства, чтобы того достичнуть. Такая-то религія составляетъ безмолвное, но глубоко укоренившееся убѣжденіе англій-

ской нации, въ лучшихъ, солидиѣйшихъ ея представителяхъ. Они представляютъ паковалью, о которую избилось уже множество молотовъ, и избьется еще того больше, не взирая ни на какихъ энтузіастовъ и гуманитарныхъ мечтателей". (Stephen. Liberty, equality, fraternity). Вотъ до какого понятія о религії можетъ дойти мысль увѣренаго англичанца-протестанта. Выписаныя слова въ сущности содержать въ себѣ прямое извращеніе евангельского слова; они какъ будто говорять: *благенны крѣпкіе и сильные* въ дѣлѣ: имъ принадлежитъ царство. Да, скажемъ мы:—царство земное, но не царство небесное. Авторъ не дѣлаетъ этой оговорки, онъ не различаетъ земного отъ небеснаго. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!

Такое настроение *религіозной* мысли безспорно имѣло въ протестантскихъ странахъ, и особенно въ Англіи, величайшее практическое значеніе, и въ этомъ смыслѣ нельзя не согласиться, что протестантство было сильнымъ и благодѣтельнымъ двигателемъ общественнаго развитія у тѣхъ племенъ, коихъ натурѣ оно соотвѣтствовало, и которыя его приняли. Но не очевидно-ли, вмѣстѣ съ тѣмъ, что нѣкоторыя племена, по своей натурѣ, никакъ не могутъ принять его и ему подчиниться, потому что именно въ этомъ воззрѣніи протестантства не чувствуютъ жизненнаго религіознаго начала, видятъ не единство, а раздвоеніе религіознаго сознанія, не живую истину, а *конструкцію* мысли и обольщеніе.

„Горе слабымъ и падающимъ! Горе побѣжденнымъ!" Конечно, въ здѣшней жизни это пепреложная истина, и правило житейской мудрости говоритъ каждому: борись, входи въ силу и держи въ себѣ силу, если хочешь жить; слабому нѣть мѣста на свѣтѣ. Но придавать этому правилу безусловную, какъ бы догматическую силу въ религіозномъ смы-

слѣ—вотъ чего наша душа не принимаетъ, какъ не принимаетъ она сроднаго протестантству ужаснаго кальвинскаго ученія о томъ, что иные отъ вѣка призваны къ добродѣти, къ славѣ, къ спасенію и блаженству, а другіе отъ вѣка осуждены, и что бы ни дѣлали въ жизни, все влечетъ ихъ въ бездну отчаянія и вѣчныхъ мученій.

Страшно читать иныхъ англійскихъ писателей, у которыхъ съ особеною силой звучитъ эта струна англиканскаго протестантизма. У Карлейля, напримѣръ, доходитъ до восторженпаго паѳоса поклоненіе силѣ и таланту побѣдителя и презрѣніе къ побѣженнымъ. Созерцая своихъ героевъ, сильныхъ людей, онъ чествуетъ въ нихъ воплощеніе божественнаго и съ тонкимъ презрительнымъ юморомъ говорить о тѣхъ слабыхъ и несчастныхъ, неловкихъ и падшихъ, которыхъ раздавила побѣдная колесница. Его герой воплощаетъ въ себѣ идею свѣта и порядка, въ мракѣ и неустройстве космического хаоса; его герой *строитъ* свою вселенную, и все что встрѣчается ему на дорогѣ и не умѣеть ему покориться и служить ему, и не имѣеть своей силы, чтобы побороть его, погибаетъ достойно и праведно. Громадный талантъ Карлейля обворожаетъ читателя, но тяжело читать его историческія поэмы и видѣть, какъ часто имя Божіе примѣняется имъ всуе въ борьбѣ сильнаго со слабыми. У язычниковъ классическаго періода—и у тѣхъ возлѣ побѣдной колесницы шелъ иногда шутъ, который, служа представителемъ нравственнаго начала, долженъ быть преслѣдоватъ своими шутками не побѣженныхъ, а самого побѣдителя.

Всего тяжелѣе читать Фруда, знаменитаго историка англійской реформаціи и самаго виднаго, между историками, представителя англійскихъ національныхъ началъ въ церкви и въ политикѣ. Карлейль, по крайней мѣрѣ, поэтъ;

но Фрудъ говоритъ спокойнымъ тономъ историка, любить діалектику — и несть беззаконія, котораго не оправдатъ бы онъ своею діалектикою въ пользу любимой идеи; несть лицемѣрія, котораго не построилъ бы онъ въ правду, доказывая правду реформы и главныхъ ея дѣятелей. Онъ стоитъ непоколебимо, фанатически, на основахъ англиканскаго пра-вовѣрія, и главною основою его полагаетъ — сознаніе долга общественнаго, преданность государственной идеї и закону, — и неумолимое преслѣдованіе порока, преступленія, праздности и всего, что называется измѣпою долгу. Все это прекрасно въ дѣлѣ человѣческомъ; но каково ставить такое правило въ основаніе и цѣль религіознаго воззрѣнія, если подумаешь, что каждому изъ этихъ священныхъ словъ — и долгу, и закону, и пороку, и преступленію каждая партія въ каждую минуту придаетъ особенное значеніе, и что между людьми сегодня называютъ правдою и доблѣстью, за что завтра казнятъ, какъ за ложь и преступленіе. Для милости, для состраданія не остается мѣста въ вѣрованіи Фруда: какъ можно согласить милость съ негодованіемъ на то, что считается порокомъ, преступленіемъ, нарушеніемъ закона? Упоминая о страшныхъ казняхъ, которымъ подвергались въ ту пору такъ часто и невинные, наравиѣ съ виноватыми, строгій судья человѣческихъ дѣлъ такъ говорить о своемъ патріотѣ: „англичане — строгій и суровый народъ — они не знаютъ состраданія тамъ, где *ніялъ законной причины* допустить состраданіе; напротивъ того, они исполнены священнаго и торжественнаго ужаса къ злодѣянію — чувство, которое, по мѣрѣ своего развитія въ душѣ, необходимо закаливаетъ ее и образуетъ желѣзный характеръ. Строгаго права человѣкъ склоненъ къ нѣжности тогда лишь, когда остается еще мѣсто добру посреди зла, и добро еще борется со зломъ; но въ виду совершеннаго развращенія и зла никакое со-

страданіе немыслимо; оно возможно развѣ только тогда, когда мы въ своемъ сердцѣ смыщиваемъ *преступленіе съ несчастіемъ*.

Какое презрѣніе долженъ чувствовать авторъ къ русскому человѣку, у котораго подлинно есть въ душѣ такое смыщеніе, и который искони называетъ *преступника несчастнымъ*.

Какъ личный характеръ, какъ характеръ племени, такъ и характеръ каждой церкви, въ связи съ усвоившимъ ее племенемъ, имѣеть и свои достоинства, и свои недостатки. Достоинства протестантизма достаточно выяснились въ исторіи германского и англо-саксонского племени. Пуританскій духъ создалъ нынѣшнюю Британію. Протестантское начало привело Германію къ силѣ, къ дисциплинѣ и къ единству. Но на оборотной сторонѣ его есть такие недостатки, такія стремлѣнія религіознаго самосознанія, которыхъ не могутъ быть намъ сочувственны. Протестантство—какъ всякая духовная сила—склонно къ паденію именно въ томъ, въ чёмъ полагаетъ свои коренные духовные основы. Стремясь къ абсолютной правдѣ, къ очищенію вѣрованія, къ осуществленію вѣрованія въ жизни,—оно слишкомъ склонно увѣровать въ собственную правду и увлечься до гордаго поклоненія своей правдѣ и до презрѣнія къ чужому вѣрованію, которое отождествляетъ съ неправдою. Отсюда, съ одной стороны, опасность впасть въ лицемѣріе и фарисейскую гордость. И подлинно, не мало слышится изъ протестантскаго міра голосовъ, которые съ горечью сознаютъ, что лицемѣріе составляетъ язву строгаго лютеранства. Съ другой стороны, начавъ съ проповѣди о терпимости, о свободѣ мысли и вѣрованія, протестантство въ дальнѣйшемъ развитіи своемъ выказало склонность къ фанатизму особаго рода,—къ фанатизму гордаго разума и самоувѣренной пра-

ведности передъ всѣми прочими видами вѣрованія. Строгій протестантізмъ съ презрѣніемъ относится къ всякому вѣрованію, которое представляется ему неочищеннымъ, недуховнымъ, исполненнымъ суевѣрій и виѣшнихъ обрядностей, ко всему, что онъ самъ отбросилъ, какъ рабскія узы, какъ дѣтскую одежду, какъ принадлежность невѣжества. Создавъ для себя самъ кодексъ вѣрованій и обрядовъ, онъ считаетъ свое исповѣданіе исповѣданіемъ *избранныхъ, просвѣщенныхъ и разумныхъ*, и всѣхъ держащихся старой церкви склоненъ считать людьми низшаго рода, неумѣющими возвыситься до истиннаго разумѣнія. Это презрительное отпопеніе къ про-чимъ вѣрованіямъ, можетъ быть, несознательно выражается въ протестантствѣ; но оно слишкомъ ощутительно для ино-вѣрцевъ. Никакая религія не свободна отъ большей или меньшей склонности къ фанатизму; но смѣшино слышать, когда съ обвиненіемъ въ фанатизмѣ обращаются къ намъ *лютеране*. У насъ, при терпимости ко всякому вѣрованію, свойственной національному характеру нашему, встрѣчаются, конечно, отдѣльные случаи исключительности и узкости церковныхъ воззрѣній, но никогда не бывало и не можетъ быть ничего подобнаго тому презрѣнію, съ которымъ строгій лютеранинъ смотритъ на непонятныя для него, по для насъ исполненные глубокаго духовнаго значенія принадлежности нашей церкви и свойства нашего вѣрованія.

II.

Ни въ чёмъ такъ явственно, какъ въ церкви, не ощущается различіе между общественнымъ духомъ и складомъ англо-саксонскаго и, напримѣръ, русскаго племени. Въ англійской церкви, сильнѣе, чѣмъ гдѣ либо, является у рус-

скаго человѣка такая мысль: много здѣсь хорошаго, но все-таки — какъ я радъ, что родилсѧ и живу въ Россїи. У насъ въ церкви можно забыть обо всѣхъ сословныхъ и общественныхъ различіяхъ, отрѣшиться отъ мірского положенія, слиться совершино съ народнымъ собраніемъ, передъ лицомъ Бога. Наша церковь болышею частью и создана на всенародныя деньги, такъ что рубль отъ грона различить невозможно; во всякомъ случаѣ, церковь наша есть всенародное дѣло и всенародное достояніе. Оттого она всѣмъ памъ вдвое дороже, что, входя въ нее, послѣдній ницѣй чувствуетъ, совершенно такъ же, какъ и первый вельможа, что это *сво* церковь. Церковь — единственное мѣсто (какое счастье, что у насъ есть такое мѣсто!) гдѣ послѣдняго бѣдника въ рубицѣ никто не спроситъ: зачѣмъ ты пришелъ сюда, и кто ты такой? гдѣ богатый не можетъ сказать бѣдному: твое мѣсто не возлѣ меня, а сзади.

Здѣсь — войдите въ церковь, посмотрите на церковное собраніе. Оно благоговѣйно, оно, можетъ быть, торжественно; по это — собраніе лѣди и джентльменовъ, изъ которыхъ каждое лицо имѣетъ свое мѣсто, ему особенно присвоенное; а богатые люди и знатные въ своемъ околоткѣ — имѣютъ мѣста отдѣленныя и украшенныя, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться отъ мысли, что церковное собраніе здѣсь лишь видоизмѣненіе общественнаго собранія, и что въ немъ есть мѣсто только такъ называемымъ въ обществѣ „порядочнымъ людямъ“? Всѣ молятся по своимъ книжкамъ, по какъ у каждого въ рукахъ своя книжка, такъ видно, что каждый желаетъ быть и передъ Богомъ — самъ по себѣ, не теряя своей индивидуальности. Говорятъ, что въ послѣдніе 20—30 лѣтъ совершилась еще въ этомъ отношеніи замѣтная перемѣна; мѣста въ церквяхъ болышею частью открытыя, т. е. не отгороженные наглухо, и доступъ къ нимъ

сталь свободнѣе, чѣмъ прежде; а въ прежнее время, особенно въ провинціи, и мѣста въ церквахъ устраивались закрытыми или отдѣльными стойками такъ, чтобы владѣлецъ каждого мѣста могъ молиться *спокойно*, уединенно, не смущаючи никакимъ сосѣдствомъ. Какъ ясно отражается въ этомъ расположениіи церковномъ исторія здѣшняго феодального общества, и самая исторія здѣшней церковной реформы! *Nobility* и *gentry* составляютъ все и все ведутъ за собой, потому что всѣмъ обладаютъ и все къ себѣ притягиваютъ. Все должно быть куплено или взято съ бою, даже право имѣть мѣсто въ церкви. Самое *священослуженіе*—есть право извѣстного рода, полагаемое въ цѣну. Мѣста пасторскія, съ правомъ на извѣстный доходъ или окладное содержаніе, составляютъ въ Англіи принадлежность вотчиннаго права, *патронатства*, и выборъ на мѣсто составляетъ достояніе—или частныхъ землевладѣльцевъ, или короны, въ силу не столько государственнаго, сколько феодального владѣльческаго права. Оттого и пасторъ, посреди народа, независимо отъ народа назначенный и независящій отъ народа въ своемъ содержаніи, является среди народа тоже въ видѣ князя, свыше поставленнаго. Церковная должность прежде всего представляется привилегіей (*preferment*) и достояніемъ; и стыдно сказать: это достояніе служитъ предметомъ торга. Мѣста главныхъ священниковъ (*incumbents*) могутъ быть сдаваемы за извѣстную цѣну, сложенную изъ капитализаціи дохода, такъ же какъ сдаются мѣста стряпчихъ, постаріусовъ, маклеровъ и т. п. Въ любой англійской газетѣ, въ особомъ отдѣлѣ объявлений о такъ называемыхъ *preferments*, вы встрѣтите рядъ предложенийъ купить мѣсто священника, съ описаніемъ доходныхъ статей: расхваливается мѣсто съ его удобствами для жизни, описывается домъ, мѣстоположеніе, означается доходъ и предлагается

цѣна съ предувѣдомленіемъ, что пынѣшній *incumbent* старъ, такихъ-то лѣтъ, и, вѣроятно, недолго будетъ пользоваться своимъ положеніемъ. Для переговоровъ указано обращаться туда-то. Въ Лондонѣ издается даже особенный журналъ („The Church preferment registrar“), съ подробнымъ описаніемъ всѣхъ статей, угодій и доходовъ каждого мѣста, для свѣдѣнія и расчета желающихъ получить его за извѣстную сумму.

Говорить, что въ политическомъ смыслѣ благодѣтельно, когда всякое право, личное или общественное, достается не иначе какъ съ бою. Можетъ быть, всякое иное, только никакъ не право на молитву общественную въ церкви. Не мудрено, что совѣсть общественная не можетъ удовлетвориться такимъ церковнымъ устройствомъ, и что Англія,—страна установленной государственной церкви, классическая страна ученаго богословія и преній о вѣрѣ,—стала со временемъ реформы страною диссентеровъ всякаго рода. Религіозная и молитвенная потребность въ массѣ народной, не находя себѣ мѣста и удовлетворенія въ установленной церкви, стала искать исхода въ вольныхъ самоустановленыхъ церковныхъ собраніяхъ и въ разнообразныхъ сектахъ. Дѣленіе церковнаго обряда здѣсь непомѣрило между жителями самаго незначительного мѣстечка. Самая установленная церковь дѣлится на три партіи, и сторонники каждой изъ нихъ (такъ называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) имѣютъ обыкновенно свою церковь и не ходятъ въ чужую. Въ небольшой деревнѣ, гдѣ не болѣе 500 человѣкъ постояннаго населенія, существуютъ нерѣдко три церкви англиканскія и, кромѣ того, три церкви методистовъ трехъ разныхъ толковъ, которые, различаясь въ очень тонкихъ и капризныхъ подробностяхъ, отрѣшаются отъ общенія между собою. Особливая церковь—для первоначальныхъ или Беслесевыхъ ме-

тодистовъ, потомъ для конгрегаціонистовъ, потомъ для такъ называемыхъ библейскихъ христіанъ: послѣдніе тѣ же методисты, но отдѣлились иѣсколько лѣтъ тому назадъ только изъ-за того, что полагаютъ, въ несогласіи съ прочими, невозможнымъ имѣть женатыхъ въ званіи церковныхъ *евангелистовъ*. Вотъ сколько церквей — и капитальныхъ, красивыхъ и обширныхъ церквей въ одной деревнѣ! Всѣ эти секты и собранія отличаются особенностями вѣроученій, иногда очень тонкими и капризными, или совсѣмъ дикими; но помимо догматическихъ разностей, во всѣхъ выражается одно и то же стремленіе къ вольной всенародной церкви, и многія изъ нихъ проникнуты ожесточеною ненавистью къ установленной церкви и къ ея служителямъ. Кромѣ отдѣльныхъ сектъ посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партія во имя вольнаго церковнаго общенія — *free church movement*. Частные люди и отдѣльныя общества употребляютъ свои средства для доставленія простому народу возможности участвовать въ богослуженіи: для этого приходится строить отдѣльныя церкви, или паниматъ отдѣльныя помѣщенія, театры, сараи, залы и т. п. Все это движение произвело уже ощутительную реакцію въ обычаяхъ самой установленной церкви, побудивъ ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здѣсь приходится брать съ бою то, что у насъ отъ начала вольно какъ воздухъ, которымъ мы дышемъ?

Какъ часто случается у насъ въ Россіи слышать странныя рѣчи о нашей церкви отъ людей, бывавшихъ за-границей, читавшихъ иностранныя книги, любящихъ судить красно съ чужого голоса, или просто отъ людей наивныхъ, которые увлекаются идеальнымъ представлениемъ мимо дѣйствительности. Эти люди не находятъ мѣры похваламъ англиканской или германской церкви и англиканскому духовен-

ству, не находить мѣры осужденія нашей церкви и нашему духовенству. Если вѣрить имъ—тамъ все живая дѣятельность, а у насъ мертвчина, грубость и сонъ. Тамъ дѣла, а у насъ голая обрядность и бездѣйствіе. Не мудрено, что многіе говорятъ такъ. Между людьми ведется, что по платю встрѣчаютъ человѣка. Говорятъ: по уму провожаютъ; но, чтобы узнатъ умъ и почувствовать духъ, надо много присмотрѣться и поработать мыслью, а по платю судить не трудно. Составишь себѣ готовое впечатлѣніе и такъ потомъ при немъ и останешься. Притомъ есть много людей, для которыхъ первое дѣло, первый и окончательный рѣшитель впечатлѣнія—вигѣшие благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. Въ этомъ отношеніи, конечно, есть на что полюбоваться хотя бы въ англійской церкви, есть о чёмъ иногда печалиться въ нашей. Кому не случалось встрѣтить свѣтское, а иной разъ, къ сожалѣнію, и духовное лицо, изъ бывшихъ за-границею, съ жаромъ выхваляюще здѣшнюю простоту церковную и осуждающее нашу родимую „за незрѣлость“. Грустно бываетъ слушать такія рѣчи, какъ грустно видѣть сына, когда онъ, проживъ въ фэшёнебельномъ кругу, посреди всѣхъ тонкостей столичной жизни, возвращается въ деревню, гдѣ провелъ когда-то дѣтство свое, и смотритъ съ презрѣніемъ на неприхотливую обстановку и на простые, пожалуй грубые, обычай родной семьи своей.

Мы удивительно склонны, по натурѣ своей, увлекаться прежде всего красивою формой, организаціей, внѣшнею конструкцией всякаго дѣла. Отсюда—наша страсть къ подражаніямъ, къ перенесенію на свою почву тѣхъ учрежденій и формъ, которыя поражаютъ насъ за-границей внѣшнею стройностью. Но мы забываемъ при этомъ, или вспоминаемъ слишкомъ поздно, что всякая форма, исторически-образова-

вилась, выросла въ исторіи изъ историческихъ условий и есть логический выводъ изъ прошедшаго, вызванный *необходимостью*. Исторіи своей никому нельзя ни перемѣнить, ни обойти; и сама исторія, со всѣми ея явленіями, дѣятелями, сложившимися формами общественнаго быта, есть произведеніе *духа* народнаго, подобно тому, какъ исторія отдельнаго человѣка есть въ сущности произведеніе живущаго въ немъ духа. То же самое сказать должно о формахъ церковнаго устройства. У всякой формы есть своя духовная подкладка, па которой она выросла; часто прельщаемся мы формою, не видя этой подкладки, но если бы мы ее видѣли, то иной разъ не задумались бы отвергнуть готовую форму при всей ея стройности, и съ радостью остались бы при своей старой и грубой формѣ, или безформенности,— пока своя у насъ духовная жизнь не выведетъ свою для насть форму. Духъ, вотъ что существенно во всякомъ учрежденіи, вотъ что слѣдуетъ охранять дороже всего отъ кривизны и смѣшанія.

Наша церковь искони имѣла и донынѣ сохраняетъ значение всенародной церкви и духъ любви и безразличнаго общеія. Вѣрою народъ пашъ держится донынѣ посреди всѣхъ невзгодъ и бѣдствій, и если что можетъ поддержать его, укрѣпить и обновить въ дальнѣйшей исторіи, такъ это вѣра, и одна только вѣра церковная. Намъ говорятъ, что народъ пашъ навѣждѣ въ вѣрѣ своей, исполненъ суевѣрій, страдаетъ отъ дурныхъ и порочныхъ привычекъ; что наше духовенство грубо, искажественно, бездѣйственно, принижено и мало имѣть влиянія на народъ. Все это во многомъ справедливо, но все это—явленія *несущественные*, а лучайныя и временныя. Они зависятъ отъ многихъ условий,—и прежде всего отъ условий экономическихъ и политическихъ, съ измѣненіемъ коихъ и явленія эти рано или

поздно измѣняется. Что же существенно? Что же принадлежитъ духу? Любовь народа къ церкви, свободное сознаніе полнаго обиція въ церкви, понятіе о церкви какъ общемъ достояніи и общемъ собраніи, полнѣйшее устраниеніе сословнаго различія въ церкви и общеніе народа съ служителями церкви, которые изъ народа вышли и отъ него не отдѣляются ни въ житейскомъ быту, ни въ добродѣтеляхъ, *ни въ самыхъ недостаткахъ*, съ нарodomъ и стоять и падаютъ. Это такое поле, на которомъ можно возрастить много добрыхъ плодовъ, если работать въ глубь, заботясь не столько объ *улучшениіи быта*, сколько объ *улучшениіи духа*, не столько о томъ, чтобы число церквей *не превышало потребности*, сколько о томъ, чтобы *потребность въ церкви не оставалась безъ удовлетворенія*. Намъ ли зариться съ завистью, издалека и по слуху, хоть бы па протестантскую церковь и ея пастырей? Избави насть Боже дождаться той поры, когда наши пастыри утвердятся въ положеніи чиновниковъ, поставленныхъ надъ нарodomъ, и станутъ *князьями* посреди людей своихъ, въ обстановкѣ свѣтскаго человѣка, въ усложненіи потребностей и желаній посреди народной скучности и простоты.

Вдумываясь въ жизнь, приходишь къ тому заключенію, что для каждого человѣка, въ ходѣ его духовнаго развитія, всего дороже, всего необходимѣе—сохранить въ себѣ неприкосновеннымъ простое, природное чувство человѣческаго отношенія къ людямъ, правду и свободу духовнаго представлениія и движенія. Это—неприкосновенный капиталъ духовной природы, которымъ душа охраняется и обезпечивается отъ дѣйствія всякихъ *чиновныхъ* формъ и искусственныхъ теорій, растлѣвающихъ незамѣтно простое нравственное чувство. Какъ ни драгоценны, во многихъ отиопеніяхъ, эти формы и теоріи, онѣ могутъ, привившись къ душѣ, совсѣмъ извратить и погубить въ ней простоту и здравия

представленія и ощущенія, спутать понятіе о правдѣ и неправдѣ, подточить самыи корень, па которомъ выростаетъ здоровый человѣкъ въ духовномъ отношеніи къ миру и къ людямъ. Вотъ что существенно, и вотъ, что мы такъ часто забываемъ въ себѣ изъ-за формъ, совсѣмъ не существенныхъ, которыми обольщаемся. Сколько изъ-за этого пропадаетъ у насъ и людей и учрежденій, фальшиво извращенныхъ фальшивымъ развитіемъ,—а между тѣмъ въ церковномъ учрежденіи всего для насъ дороже этотъ корень. Боже избави, чтобъ и онъ когда-нибудь не быть у насъ подточенъ криво поставленною церковною реформой.

III.

Протестанты ставятъ намъ въ упрекъ формальность и обрядность нашего богослуженія; но когда посмотринъ на ихъ обрядъ, то невольно отдаешь и въ этомъ отношеніи предпочтеніе нашему обряду; чувствуешь, какъ нашъ обрядъ простъ и величественъ въ своемъ глубокомъ, таинственномъ значеніи. Священнослужитель поставленъ въ нашемъ обрядѣ такъ просто, что отъ него требуется только благоговѣйное вниманіе къ произносимымъ словамъ и совершаеннымъ дѣйствіямъ; въ устахъ его и чрезъ него священныя слова и обряды сами за себя говорятъ—и какъ глубоко и таинственно говорятъ душѣ каждого и соединяютъ все собраніе въ одну мысль и въ одно чувство! Оттого самый простой и неискусный человѣкъ можетъ, не подстраивая себя, не употребляя искусственныхъ усилий, совершать молитвенное дѣйствіе и вступить въ молитвенное общеніе со всей церковью. Протестантскій молитвенный обрядъ, при всей наружной простотѣ своей, требуетъ отъ священнослужителя

молитвенного дѣйствія въ извѣстномъ тонѣ. Оттого въ этомъ обрядѣ только глубоко духовные или очень талантливые люди могутъ быть просты; остальные же,— т. е. огромное большинство, принуждены подстраиваться себѣ и прибѣгать къ аффектаціи, которая именно въ протестантскихъ храмахъ чаше всего встрѣчается и производить на непривычнаго человѣка тягостное впечатлѣніе. Когда видишь проповѣдника, какъ онъ, стоя посреди храма, лицомъ къ размѣщеному чинно на скамьяхъ собранию, произноситъ молитвы, воздѣвая глаза къ небу, сложивъ руки въ извѣстный всѣми употребляемый видъ, и придаетъ своей рѣчи неестественную интонацію,— становится неловко за него; думается, какъ должно быть ему неловко! Еще ощущительнѣе становится неловкость, когда, окончивъ обрядъ, онъ входитъ на каѳедру и начинаетъ свою длинную проповѣдь, оборачиваясь отъ времени до времени назадъ, чтобы выпить изъ стакана воды и собраться съ духомъ. И въ этой проповѣди рѣдко случается слышать дѣйствительно живое слово,— когда проповѣдникъ дѣйствительно духовный человѣкъ или талантъ. Говорятъ болѣею частью *работники* церковнаго дѣла, чрезвычайно патинутымъ голосомъ, съ крайнею аффектаціей, съ сильными жестами, поворачиваясь изъ стороны въ сторону, повторяя на разныя лады общія, всѣми употребляемыя фразы. Даже, когда читаются по книгѣ, что нерѣдко случается, они прибѣгаютъ къ извѣстнымъ тѣлодвиженіямъ, интонаціямъ и разстановкамъ. Нерѣдко случается, что проповѣдникъ, произнося иѣкоторыя слова и фразы, кричитъ и ударяетъ кулакомъ по каѳедрѣ, чтобы придать выразительность своей рѣчи... Здѣсь чувствуешь, какъ вѣрою примѣнилась наша церковь къ природѣ человѣческой, не помѣстивъ проповѣди въ составъ богослужебнаго обряда. Весь нашъ обрядъ, самъ по себѣ, составляетъ лучшую проповѣдь, тѣмъ болѣе дѣй-

ствительную, что всякий принимает ее не какъ человѣческое, а какъ Божіе слово. И церковный идеалъ нашей проповѣди, какъ живого слова, есть *ученіе* вѣры и любви, отъ божественныхъ писаний, а не возбужденіе чувства, какъ необходимое дѣйствіе каждого священнослужителя на собравшихся въ церковь для молитвы.

IV.

Говорить, что обрядъ — неважное и второстепенное дѣло. Но есть обряды и обычаи, отъ которыхъ отказаться — значило бы отречься отъ самого себя, потому что въ нихъ отражается жизнь духовная человѣка или всего народа, въ нихъ сказывается цѣлая душа. Въ разности обряда выражается всего явственнѣе коренная и глубокая разность духовнаго представленія, таящаяся въ безсознательныхъ сферахъ духовной жизни,— та самая разность, которая препятствуетъ слиянію или полнотѣ взаимнаго сочувствія между разномлеменными народами и составляетъ основную причину разности церквей и вѣроисповѣданій. Отрицать, съ отвлеченной, космополитической точки зрѣнія, дѣйствіе этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее къ предразсудку,— значило бы тоже, что отрицать силу сродства (*wahlverwandschaft*), действующую въ личныхъ между людьми отношеніяхъ.

Какъ знаменательна, напримѣръ, у разныхъ народовъ разница въ погребальномъ обрядѣ и въ обращеніи съ тѣломъ покойника! Южный человѣкъ, итальянецъ, бѣжитъ отъ своего мертвѣца, спѣшитъ какъ можно скорѣе очистить отъ него домъ свой и предоставляетъ постороннимъ заботу о его погребеніи. Напротивъ того, у насъ, въ Россіи, харак-

тершая народная черта — религиозное отношение к мертвому телу, выполненное любви, пыжности и благоговейния. Из глубины вековъ отзывается до нашего времени, исполненный поэтическихъ образовъ и движений, плачъ надъ покойникомъ, превращаясь, съ принятиемъ новыхъ религиозныхъ обрядовъ, въ торжественную церковную молитву. Нигдѣ въ мірѣ, кромѣ нашей страны, погребальный обычай и обрядъ не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, до которой онъ достигаетъ у насъ; и нѣть сомнѣнія, что въ этомъ его складѣ отразился пашъ народный характеръ, съ особеннымъ, присущимъ нашей натурѣ, міровоззрѣніемъ. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одѣваемъ ихъ благолѣпнымъ покровомъ, мы окружаемъ ихъ торжественною типициою молитвенного созерцанія, мы поемъ надъ ними пѣсни, въ которой ужасъ пораженій природы сливается во-едино съ любовью, надеждою и благоговѣйною вѣрой. Мы не бѣжимъ отъ своего покойника, мы украшаемъ его въ гробѣ, и насъ тянетъ къ этому гробу — взглядѣться въ черты духа, оставившаго свое жилище; мы покланяемся тѣлу и не отказываемся давать ему послѣднее цѣлованіе, и стоимъ надъ нимъ три дня и три ночи съ чтеніемъ, съ пѣніемъ, съ церковною молитвой. Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величія; онъ продолжительны и не спѣшатъ отдать землѣ тѣло, тронутое тленіемъ, — и когда слышишь ихъ, кажется, не только произносится надъ гробомъ послѣднее благословеніе, но совершается вокругъ него великое церковное торжество въ самую торжественную минуту бытія человѣческаго! Какъ понятна и какъ любезна эта торжественность для русской души! Но иностранецъ рѣдко понимаетъ ее, потому что она — совсѣмъ ему чужая. У насъ чувство любви, пораженное смертью, расширяется въ погребальномъ обрядѣ; у не-

го—оно болѣзнико сжимается отъ того же обряда и поражается однимъ ужасомъ.

Нѣмецъ-лютеранинъ, жившій въ Берлинѣ, потерялъ въ Россіи горячо любимую сестру православную. Когда онъ пріѣхалъ къ намъ, наканунѣ погребенія, и увидѣлъ любимую сестру, лежащую въ гробѣ, ужасъ поразилъ его, сердце его сжалось, и видно было, что чувство любви и благоговѣнія уступило въ немъ мѣсто отвращенію, съ которымъ онъ присутствовалъ при прощаніи съ мертвымъ тѣломъ и долженъ былъ самъ принять въ немъ участіе... Въ этомъ, какъ и во многомъ другомъ, нѣмецъ не можетъ понять наась, нокуда не поживеть съ нами и не войдетъ въ глубину духовной нашей жизни. Отъ этой же, кажется, причины ни-что столько не возмущаетъ лютеранина въ нашей церкви, какъ поклоненіе св. мощамъ, которое для наась самихъ, по природѣ нашей, кажется такъ просто и естественно,—когда мы и своимъ покойникамъ кланяемся, и ихъ тѣло обнимаемъ и чествуемъ въ погребеніи. Онъ, не живя нашою жизнью, не видитъ въ этомъ чествованіи ничего, кроме дикаго суевѣрія, а для наась—это движение и дѣло любви, самое природное и простое.

Трудно ему понять наась, такъ же какъ памъ дико и противно слышать о возникшей недавно въ германскомъ и въ англійскомъ обществѣ агитаці, требующей введенія новаго погребального обряда. Они хотятъ, чтобы мертвые не предавались землѣ, а сожигались въ особо-устроенныхъ печахъ,—и требуютъ этого съ утилитарной и гигіенической точки зрѣнія. Иропаганда эта усиливается, собираются митинги, составляются общества, устраиваются на счетъ частныхъ лицъ усовершенствованныя печи, производятся химические опыты, сочиняются траурные марши, которыми должно сопровождаться сожиганіе... Голоса растутъ, крики уси-

ливаются, во имя науки, во имя просвещения, во имя блага общественного. Изъ какого дальняго міра, изъ какого быта доносятся до насъ эти звуки—и какой этотъ міръ чужой для насъ, какой пепріютный и холодный! Нѣть, не дай Богъ умереть въ томъ краю, на чужбинѣ, вдали отъ матери сырой земли русской!

V.

Кто русскій человѣкъ—душой и обычаемъ, тотъ понимаетъ, что значитъ храмъ Божій, что значитъ церковь для русскаго человѣка. Мало самому быть благочестивымъ, чувствовать и уважать потребность религіознаго чувства;— мало для того, чтобы уразумѣть смыслъ церкви для русскаго народа и полюбить эту церковь какъ свою, родную. Надо жить народною жизнью, надо молиться заодно съ народомъ, въ одномъ церковномъ собраніи, чувствовать одно съ народомъ біеніе сердца, проникнутаго единымъ торжествомъ, единымъ словомъ и пѣніемъ. Оттого многіе, знающіе церковь только по домашнимъ храмамъ, гдѣ собирается избранная и наряженая публика, пе имѣютъ истиннаго пониманія своей церкви и настоящаго вкуса церковнаго, и смотрятъ иногда равнодушно или превратно въ церковномъ обычай и служеніи на то, что для народа особенно дорого и что въ его понятіи составляетъ красоту церковную.

Православная церковь красна народомъ. Какъ войдешь въ нее, такъ почувствуешь, что въ ней все едино, все народомъ осмыслено и народомъ держится. Войдите въ католическій храмъ, какъ въ немъ все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранію. Священникъ служить и читаетъ самъ по себѣ, какъ бы поверхъ народа и отлученный отъ народа. Онъ самъ по себѣ молится по своей

книжкѣ; народъ молится по своимъ, приходитъ и уходитъ, совершивъ свои моленія и дождавшись того или другого церковнаго дѣйствія. На алтарѣ совершается священномѣстіе; народъ присутствуетъ лишь при немъ, но какъ будто не содѣйствуетъ ему общею молитвой. Обрядъ не говоритъ нашему чувству, и мы чувствуемъ, что красота, какая можетъ быть въ немъ, не наша красота, а чужая. Всѣ движения обряда, механически расположенные, кажутся намъ странными, холодными, невыразительными; очертанія, образы одежды — неблагообразными; звуки церковнаго речитатива — нестройными и бездушными; пѣніе на чужомъ языке, въ которомъ не распознаешь словъ — не гимномъ народнаго собрания, не воплемъ, льющимся изъ души, — но концертомъ, искусственно устроеннымъ, который покрываетъ собою богослуженіе, но не сливаются съ нимъ. Душа наша тоскуетъ здѣсь по своей церкви, какъ тоскуетъ между чужими по родинѣ. То-ли дѣло у насъ: вотъ красота неописанная, красота, понятная русскому человѣку, красота, за которую онъ душу готовъ положить, такъ онъ ее любить. Русское церковное пѣніе — какъ народная пѣнь, льется широкою, вольною струею изъ народной груди, и чѣмъ оно вольнѣе, тѣмъ полнѣе говоритъ сердцу. Нашѣвы у насъ однаковые съ греками, но русскій народъ иначе поеть ихъ, потому что положилъ въ нихъ свою русскую душу. Кто хочетъ послушать, какъ эта душа сказывается, тому надобно идти не туда, гдѣ орудуютъ голосами знаменитые хоры и капеллы, гдѣ исполняется музыка новыхъ композиторовъ и справляется обиходъ по новымъ офиціальнымъ переложеніямъ. Ему надо слушать пѣніе въ благоустроенномъ монастырѣ, или въ одной изъ тѣхъ приходскихъ церквей, гдѣ сложилось добрымъ порядкомъ хоровое пѣніе; тамъ услышишь онъ, какимъ широкимъ, вольнымъ потокомъ выливается праздничный промесь

изъ русской груди, какою торжественною поэмой выпѣвается догматикъ, слагается стихира съ канонархомъ, какимъ одушевлениемъ радости проникнуть канонъ Пасхи или Рождества Христова. Тутъ оглянемся и увидимъ, какъ отзывается каждое слово пѣсни въ пародномъ собраніи, какъ блеститъ оно въ поднятыхъ взорахъ, носится надъ склоненными головами, отражается въ пропѣвахъ, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человѣку знакомы съ дѣтства и слова, и напѣвы, и во всякомъ душа поетъ, когда онъ ихъ слышитъ. Богослуженіе стройное, истовое—дѣйствительно праздніе русскому человѣку, и вѣць церкви душа хранить глубокое ощущеніе, которое отражается въ ней, даже при воспоминаніи о томъ или другомъ моментѣ,—русская душа, привыкшая къ церкви и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ея послышится пѣснь пасхального или рождественского канона, съ мыслю о свѣтлой заутренїѣ, или любимый напѣвъ праздничнаго ирмоса, или „Всемірная слава“ съ ея потрясающимъ „Дерзайте“... Подлинно, это тѣ звуки, о которыхъ сказалъ поэтъ, что имъ

... безъ волненья
Внимать невозможно...
Не встрѣтить отвѣта
Средь шума мірскаго
Изъ пламя и свѣта
Рожденное слово,
Но въ храмѣ, средь боя,
И гдѣ я ни буду,
Услышавъ его, я
Узнаю повсюду...

А у того, кто съ дѣтства привыкъ къ этимъ словамъ и звукамъ, сколько отъ нихъ поднимается всякий разъ воспоминаний и образовъ изъ той великой поэмы прошлаго, которую каждый прожилъ и каждый носитъ въ себѣ.... Сча-

тливъ, кто привыкъ съ дѣтства къ этимъ словамъ, звукамъ и образамъ, кто въ нихъ нашелъ красоту и стремится къ ней, и жить безъ нея не можетъ, кому все въ нихъ понятно, все родное, все возвышаетъ душу изъ пыли и грязи китайской, кто въ нихъ находитъ и собираетъ растерянную по угламъ жизнь свою, разбросанное по дорогамъ свое чистое. Счастливъ, кого съ дѣтства добрые и благочестивые родители пріучили къ храму Божію и ставили въ немъ переди народа молиться всенародною молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на юную жизнь, они ввели его подлинно въ разумъ духа народнаго и въ любовь сердца народнаго, сдѣлавъ и для него церковь роднымъ домомъ и мѣстомъ полнаго, чистаго и стинпаго соединенія съ народомъ.

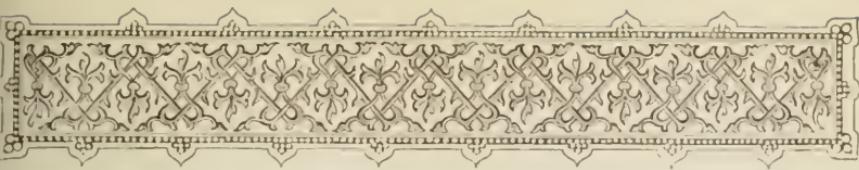
Что же сказать о множествѣ затерянныхъ въ глубинахъ Христова и въ широтѣ полей нашихъ храмовъ, гдѣ пародъ яупо стоитъ въ церкви, ничего не понимая, подъ козлоглагованіемъ дѣячка или бормотаніемъ клирика?

Увы! не церковь повинна въ этой тупости и не бѣдный народъ повиненъ:—повиненъ лѣнивый и несмыслицій служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распредѣляющая служителей церкви; повинна, по мѣстамъ, скудость и беспомощность народная. Благому человѣку, въ комъ зажжется на ту пору искра любви и ревности о жизни духовной и кто успѣетъ вывести заброшенную церковь въ свѣтъ благолѣпія и пѣнія. Подлинно, онъ осіяетъ свѣтомъ страну и сѣнь смертную, онъ воскреситъ умершихъ и повергненныхъ, спасетъ души отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ... Оттого-то русскій человѣкъ такъ охотно и такъ много жертвуетъ на церковное строеніе, на созиданіе и украшеніе храмовъ. Какъ криво судять тѣ, кто осуждастъ его за это рвеніе, а такихъ голосовъ

слышится уже пыль не мало. Это щедрое рвение приносятъ то къ грубости и невѣжеству, то къ ханжеству и лицемѣрію. Говорятъ: не лучшее ли было бы употребить эти деньги на „образование народное“, на школы, на благотворительныя учрежденія? И на то, и на другое жертвуется своимъ чередомъ, но то жертва совсѣмъ иная, и благочестивый русскій человѣкъ со здравымъ русскимъ смысломъ не одинъ разъ призадумается прежде, чѣмъ развязеть кошелѣ свой на щедрую дачу для формально образовательныхъ и благотворительныхъ учрежденій.

То-ли дѣло Церковь Божія! Она сама за себя говорить; она—живое, всенародное учрежденіе. Въ ней одной и живому, и умершему отрадно. Въ ней одной всѣмъ легко, свободно, въ ней душа всяческая, отъ мала до-велика, веселится и радуется, и празднуетъ отъ тяжкой страды; въ ней и бѣлому и сѣрому человѣку, и богатому и бѣдному одно мѣсто. Разукрашена она наче царской палаты—домъ Божій, а всякий изъ малыхъ и бѣдныхъ стоитъ въ ней, какъ *въ своемъ дому*; каждый можетъ назвать церковь своею, потому что церковь на народные рубли и, больше того, на народные гропи строена и народомъ держится. Всѣмъ въ ней пріютъ и молитва съ утѣшениемъ, и то учение, которое дороже всего русскому человѣку. Вотъ что безсознательно и есознательно сразу оказывается въ русской душѣ о церкви и заставляетъ русскаго человѣка жертвовать на церковь безъ оглядки и безъ разсужденія. Русскій человѣкъ чувствуетъ, что въ этомъ дѣлѣ не ошибается и даетъ вѣрно и свято на вѣрное и святое дѣло.





Характеры.

I.

Товарицъ мой, Никандръ, былъ для меня еще въ училіщѣ предметомъ удивлениія. Казалось, ничего не было загадочнаго въ его натурѣ, однакожъ я никакъ не могъ разгадать ее и съ нею освоиться. Казалось, подойти къ нему могъ всякий, легко и удобно, но всякий разъ, какъ миѣ случалось близко подходить къ нему, я чувствовалъ, что между нимъ и мною остается какое-то смутное, пустое пространство, и что его нельзя уже съузить, что дальние идти уже некуда. Онъ былъ хороши со всѣми, и всѣ хороши съ нимъ; онъ принималъ участіе во всемъ, что пасъ всѣхъ занимало и волновало, и, казалось, способенъ былъ все понять и говорить обо всемъ со всякимъ; но не видать было, чтобы онъ чему-нибудь отдавался, увлекался чѣмъ-нибудь. Когда бесѣда состояла изъ соблазнительныхъ анекдотовъ, и у него былъ въ запасѣ свой анекдотъ, то онъ звучалъ какимъ-то извиѣ принесеннымъ звукомъ; когда велись серьез-

ныя рѣчи, вставлять и онъ свое мѣриное слово; когда кругоже либеральничать, и онъ не оставался въ долгу либеральною фразой; но она точно изъ книги была вынута. Когда мы все попадались въ такъ называемую исторію, и вода выступала у всѣхъ выше головы, и онъ не отставалъ отъ насъ—упрекнуть его нельзѧ было, даже въ прямой трусости,—но странное дѣло! когда вода сбывала, онъ выходилъ сухъ изъ пая и отряхался въ минуту, тогда какъ мы все выходили мокрые и помятые.

Нельзя сказать, что бѣзъ него не любили; но и сердечныхъ друзей у него не было. Никто не удивлялся его уму, ни въ комъ случайно сказанное имъ слово не будило души и не поднимало мысли; но все считали его *способнымъ* человѣкомъ; и хотя онъ былъ постоянно въ успѣхѣ, успѣхи его почти ни въ комъ не возбуждали зависти. Онъ занимался прилежно, хотя не принадлежалъ къ числу такъ называемыхъ зубриль, и успѣшные отвѣты его давались ему, повидимому, безъ особыхъ усилий. Не помнили, чтобы онъ когда нибудь срѣзался въ своихъ отвѣтахъ: такъ все кругло у него выходило. Начальство наше считало его звѣздою всего нашего класса, его выставляли впередъ въ показныхъ случаяхъ, о немъ говорили, какъ о человѣкѣ, который пойдетъ далеко. Начальство наше было въ восторгѣ отъ его отвѣтовъ, отъ его сочиненій, отъ того, какъ онъ держалъ себя, отъ его приличного и обчищенаго во всемъ вицѣнія вида и поведенія. Но я помню, что меня мало удовлетворяли и сочиненія его, и отвѣты: я удивлялся только круглотѣ и гладкости, съ которою все у него бывало обѣдано и налажено; по все, что онъ говорилъ, оставляло во мнѣ какое-то впечатлѣніе неполноты, недостаточности: точно завтракъ прекрасно сервированный, изъ-за котораго гость встаетъ голоднымъ.

Пророчество нашего начальства оправдалось. Никандръ пошел быстрыми шагами въ служебной карьерѣ. Черезъ несколько лѣтъ, приѣхавъ въ столицу, я засталъ его на значительномъ мѣстѣ. И тутъ, по службѣ, имя Никандра звучало безпрестанно въ устахъ у начальства съ восторженіемъ похвалою. Отовсюду слышалось: какой способный человѣкъ! Какое у него *перо!* И подлинно, по общему отзыву, Никандръ обладалъ мастерствомъ изложенія, которое особенно цѣнилъ его начальникъ. Но я онять становился втупикъ передъ изложеніемъ Никандра и всеобщими похвалами, когда случалось мнѣ читать бумаги, имъ написанныя. Бумаги эти производили на меня то же впечатлѣніе, какъ и отвѣты его на экзаменахъ,—впечатлѣніе прекрасно сервированного завтрака, на которомъ ёсть нечего. Меня томилъ голодъ, а другіе оказывались сытыми и довольными. Въ бумагахъ Никандра, въ запискахъ и докладахъ его выказывалось для меня ясно только умѣніе его, дѣйствительно мастерское, притупить и обольстить вкусъ, поглотить сущее зерно вопроса, опутать его пеленами закругленной фразы до того, что читатель, упуская изъ виду сущность и корень дѣла, сосредоточивъ интересъ свой на оболочки, на побочныхъ и формальныхъ его принадлежностяхъ, на тѣхъ путяхъ, по которымъ дѣло следуетъ отъ истока своего до впаденія; такимъ образомъ искусно составленная бумага гладко и ровно доводила податливаго читателя до потребнаго результата, отмѣчая ту точку, къ которой требовалось на сей разъ прибуксировать дѣло. Казалось, все такъ ясно изложено было въ обточенныхъ фразахъ, по въ сущности ничто не было ясно, все прикрывалось туманомъ; а дѣло, по бумагѣ, въ концѣ концовъ обдѣльвалось—*e sempre bene.*

Проживъ еще несколько лѣтъ въ своемъ углу, куда достигали отъ времени до времени новые хвалебные слухи

о способностяхъ Никандра, я снова пріѣхалъ въ столицу, и засталъ его на новомъ мѣстѣ, еще болѣе значительномъ. Тутъ пришлось мнѣ быть свидѣтелемъ его дѣятельности и дивиться снова его умѣнью, хотя оно не переставало казаться мнѣ страннымъ искусствомъ. Но самъ я, ставъ уже старше годами и опытомъ, началъ понимать, что многое есть венецъ въ дѣловомъ мірѣ, о которыхъ не смѣеть и мечтать юношеская философія. Черты Никандровой фізіономіи стали выясняться передо мною, и онъ сталъ для меня любопытнымъ предметомъ изученія уже не самъ по себѣ, а въ нераздѣльной связи съ той средою, въ которой совершилась его дѣятельность. Онъ говоритъ немного, но внимательно слушаетъ: внимательно, хотя, повидимому, равнодушно. Рѣдко можно подмѣтить въ чертахъ лица его выраженіе оживленнаго участія: видишь иногда чуть-чуть тонкую тѣнь беспокойства, когда разсужденія принимаютъ тревожный характеръ, когда обнаруживается рѣзкое различіе въ мнѣніяхъ. Это беспокойство переходитъ даже въ иѣкоторое волненіе, когда при разпорѣчіи затрагиваются и возбуждаются вопросы деликатнаго свойства, особенно когда споръ угрожаетъ повести къ одному изъ явлений, носящихъ название *скандала*. Всѣ инстинкты Никандра направлены къ изглаженію всякой неровности въ характерахъ, въ ощущеніяхъ, въ мнѣніяхъ, къ погашенію всякаго пререканія, къ водворенію согласія и спокойствія повсюду. Онъ уже тревожится, когда разсужденіе начинаетъ проникать въ глубь предмета, когда оно пытается свести отдѣльные вопросы къ общему началу, добраться до основной идеи; зная по опыту, что разногласіе въ основной идеѣ — всего упорнѣе и раздражительнѣе, онъ пускаетъ въ ходъ всю свою тактику, чтобы погасить его. Надобно дивиться, съ какою ловкостью старается онъ тогда свести противниковъ съ опаснаго поля и перевѣстъ

ихъ на другое, ровное и гладкое поле бирюлекъ, мелочей, подробностей и частностей дѣла. На этомъ гладкомъ полѣ онъ господинъ: тутъ небольшаго уже труда стоитъ ему увѣрить спорицковъ, что они въ сущности согласны между собою, что не стоитъ имъ возбуждать вопросы, пе имѣющіе существеннаго значенія. На этомъ полѣ я не видалъ мастера, подобнаго Никандру, и подвиги его поразительны! Онъ умѣетъ поставить передъ собою противниковъ, которыхъ раздѣляетъ, повидимому, непроходимая бездна коренного противорѣчія въ основныхъ мнѣніяхъ о предметѣ: борьба происходитъ, повидимому, между элементами, и кажется непримиримою. И что же, глядишь, въ какія-нибудь десять минутъ Никандръ успѣлъ наполнить эту бездну легкимъ пухомъ, прикрыть ее тонкимъ хворостомъ,—и противники уже переходятъ по ней, подавая другъ другу руку! Никандръ не любить основныхъ идей; но не даромъ онъ опытенъ. Онъ знаетъ, что основная идея лежать большею частью въ умахъ неглубоко, и почти всегда есть возможность отвести отъ глубины неувѣренную мысль или смутное ощущеніе, стремящіяся въ глубину. Для этого есть у него пріемъ, который рѣдко измѣняетъ ему: противъ основныхъ идей онъ умѣетъ въ крайнемъ случаѣ выставить такъ называемые принципы, общія положенія, рѣшительные приговоры, на которые рѣдко кто посмѣетъ возразить. Есть волшебныя слова, которыми очаровывается у насъ всякое совѣщеніе—и Никандръ умѣетъ произносить ихъ въ пурпурную минуту. Такое словечко, въ родѣ классического Quos ego—мигомъ усиливаетъ у насъ поднявшіяся волны. „Всѣми признано уже нынѣ“, „новѣйшая цивилизація дошла до такого-то вывода“, „статистическія цифры доказываютъ“, „во Франціи, въ Пруссіи и т. п. давно уже введено такое-то правило“, „такой-то европейскій ученый, на такой-то страницѣ, сказалъ то-то“,

„никто уже пытъ не спорить, напр., что цѣна опредѣляетъся пропорціей между спросомъ и предложеніемъ“, и множество тому подобныхъ изречений—вотъ волшебныя орудія, творящія чудеса въ нашихъ разсужденіяхъ. Но самое волшебное изъ волшебныхъ словъ—это: „наука говоритъ, въ науку призано“. Никандръ давно уже понялъ, что этого слова—наука—мы боимся какъ черта и не смѣемъ обыкновенно возражать на него. Мы чувствуемъ, что это палка о двухъ концахъ, и потому инстинктивно боимся взяться за нее, когда намъ ее предлагаютъ. Возражать на это слово—наука—да, вѣдь, это значитъ возбуждать вопросы: какая наука, гдѣ она, откуда, почему,—и множество другихъ, о которыхъ конца не будетъ спору, и въ которыхъ мы чувствуемъ, что безъ конца перепутаемся. И такъ обыкновенно мы останавливаемся на этомъ словѣ, успокаиваемся и принимаемъ готовый результатъ науки, который предлагаютъ намъ, не мудрствуя лукаво о томъ, кто и по какому случаю и въ какомъ смыслѣ предлагаетъ.

Вѣкъ живи, вѣкъ учись! Подлинно, я начинаю теперь только понимать, отчего въ школѣ учителя наши такъ восхищались Никандромъ, отчего и въ нынѣшней его дѣятельности все имъ довольны, все прославляютъ его геніемъ дѣла. Говорятъ, что геній—тотъ, кто отвѣчаетъ на вопросы времени, кто умѣеть постигнуть потребность эпохи, мѣста, и удовлетворять ей. Никандръ умѣть понять вопросы времени, потребности среды, и удовлетворить имъ. Что нужды, что вопросы эти мелкие, что потребности эти немудреныя! Все-таки онъ великий человѣкъ—и, увы, отчасти представитель великихъ дѣятелей нашего времени. Около него образовалась уже цѣлая школа подобныхъ ему дѣятелей. Какъ они все благоприличны, какъ они гладки, какъ ровно и плавно вступаютъ въ репутацію „способныхъ“ людей! Когда

я вижу ихъ, мнѣ невольно приходитъ на мысль отрывочная сцена изъ Фауста. „Духи исчезаютъ безъ всякаго запаха. *Маршалокъ* съ удивлениемъ спрашиваетъ *бискупа*: слышите вы, чѣмъ-нибудь пахнетъ?—Ничего не слышу, отвѣчаетъ *бискупъ*. А *Мефистофель* поясняетъ: Духи этого рода, государи мои, не имѣютъ никакого запаха (Diese art Geister stinken nicht, meine Herren)“.

II.

Спокойно и безъ смущенія смотрю я на Лансу, когда она, раскинувшись въ пышной коляскѣ, мчится по большой улицѣ, отвѣчая улыбками на поклоны гуляющей знати; или сидитъ, полуодѣтая, полураздѣтая, въ оперѣ, и дамы большого свѣта бросаютъ на нее взгляды зависти, смѣшанной съ презрѣніемъ,—хотя презрѣніе не мѣшаетъ имъ, потихоньку, заимствовать отъ нея отдѣльные черты манеръ ея и туалетовъ. На лицѣ у нея открыто написано, кто она, чего ищетъ, для чего живеть, одѣвается и веселится на свѣтѣ, и она поситъ на себѣ имя свое безъ лицемѣрія, хотя и безъ стыда. Когда она, озираясь вокругъ себя на парядныя ложи, нахально лоринируетъ разряженныхъ дамъ моднаго свѣта,—ея пахальство не удивляетъ меня—и не возмущаетъ: взоръ ея какъ будто говоритъ имъ: „я—подлинно та, за кого меня принимаютъ, и мое лицо открыто; а вы—зачѣмъ въ маскахъ ходите?“ Задумываюсь надъ участью Лансы, и мнѣ становится жаль ея: приходитъ на мысль,—какими судьбами жизль привела ее на этотъ путь, какая среда ее воспитала и привила къ ней жажду дикаго наслажденія? Приходитъ на мысль: чѣмъ этотъ путь для нея закончится, и къ какой илачевной страсти приведетъ ее молодость прогарающую, въ опьяненіи страсти?...

Лаиса живетъ въ своемъ кругу, и ей закрыты двери салоповъ большого свѣта. Но когда въ этихъ салонахъ я встрѣчаю гордую и величественную Мессалину,—душа моя возмущается, и я не могу смотрѣть па нее безъ негодованія. Передъ нею широко раскрыты всѣ большія двери; нѣть знатнаго собранія, куда бы не приглашали ее и гдѣ бы не встрѣчали ее съ почетомъ; около нея кружится рой знатной молодежи; громкій титулъ, блестящая обстановка, роскошное гостепріимство—привлекаютъ въ ея салонъ всѣхъ, кто считаетъ себя принадлежащимъ къ избранному обществу. Всѣ разсыпаются въ похвалахъ ея красотѣ, ея вкусу, ея любезности, ея веселому нраву; словомъ сказать: „увѣнчанная цвѣтами грацій, она бодро шествуетъ по землѣ благословленной“. Но когда, взявъ зеркало правды, я спрашиваю себя, какая разница между знатной Мессалиной и презрѣнной Лаисой,—увы! Лаису мнѣ жаль, а къ Мессалинѣ я чувствую презрѣніе.

Когда она является на балъ, я смотрю на нее съ ужасомъ, хотя многіе на нее любуются. Искусство обнажать не только шею и грудь, но и спину, и руки, доходитъ у нея до такихъ предѣловъ,—до какихъ не простирается обычай у самой Лаисы, такъ что многіе изъ постоянныхъ ея посѣтителей съ усмѣшкой смотрятъ на туалетъ Мессалины. Иные увѣряютъ даже, что гость Лаисы не услышитъ отъ нея такихъ разнuzданныхъ рѣчей, такихъ циническихъ шутокъ, какія слышитъ отъ Мессалины кавалеръ ея въ мазуркѣ, или сосѣдъ ея—въ рулеткѣ. Но па Лаисѣ лежитъ печать отверженія, а Мессалина—царитъ въ салонахъ.

У Лаисы нѣть семьи, пѣть дома въ настоящемъ смыслѣ слова,—и она состоитъ *внѣ* семейнаго круга. У Мессалины, правда, есть мужъ, коего громкое имя она носитъ, и есть домъ, великолѣпный, съ цѣлою когортой

ливрейныхъ лакеевъ па мраморной лѣстницѣ. Но какая связь соединяетъ ее съ этимъ мужемъ, и для чего живутъ они подъ одною кровлей—это тайна извѣстная одной Мессалинѣ. Въ ея салонѣ мужъ присутствуетъ; мужъ сопровождаетъ ее въ другіе салоны, и все покрываетъ собою. Но когда встречаютъ Мессалину—зимою на бѣшеной тройкѣ, или весною па шумномъ гульбищѣ въ шикарномъ экипажѣ, запряженномъ рысаками,—нибудькто другой, а не мужъ раздѣляеть съ нею часы забавы и веселости; и даже въ присутствіи мужа нѣкто другой кажется ближе къ ней и вольнѣе съ нею обходится... И вотъ что удивительно: встрѣчая Лaisу съ однимъ изъ рыцарей избранного круга, многія стыдливо смотрятъ въ сторону, но когда встречаютъ опѣ Мессалину съ ея излюбленнымъ спутникомъ изъ той-же компаніи, привѣтливо раскланиваются и потомъ шепчутся между собою съ улыбкой. О, добродѣтель и честь свѣтскаго общества, кто распознаетъ пути твои!

Мессалина мать—у нея есть дѣти, но какая нравственная связь существуетъ у этой матери съ дѣтьми,—не распознаешь. Она почти не видитъ ихъ и почти не знаетъ, что съ ними дѣлается. Въ особомъ отдѣлѣніи дома живутъ они съ гувернантками и въ опредѣленный часъ являются, въ видѣ бабочекъ, въ костюмахъ послѣдней моды, съ голыми руками и ногами, принять отъ матери поцѣлуй и удалиться восвояси. Ей нѣтъ времени думать и о дѣтяхъ, посреди перваго возбужденія, въ которомъ проходятъ дни ея и ночи. Засыпая рано по утру, просыпаясь позднимъ утромъ, едва собираясь она расшатанныя чувства свои, какъ уже принимаетъ гостя, потомъ бѣдетъ гулять съ нимъ, потомъ принимаетъ гостей въ своеемъ салонѣ, перебирая съ ними вѣсти и сплетни и скандалы вчерашняго дня и нынѣшняго утра, и составляя инвентарь настоящихъ и предстоящихъ

развлечений и праздниковъ. Одѣвается утромъ, одѣвается къ обѣду, одѣвается въ оперу, одѣвается на балъ, или па вечеръ. Въ чемъ интересъ ея жизни? гдѣ умственныхъ или нравственныхъ пружины, которая приводятъ ее въ движение? Къ какому центру собираются мысли ея и желанія? На эти вопросы не находишь отвѣта, когда видишь переливание изъ пустого въ порожнее, составляющее всю жизнь ея. На столѣ у нея лежатъ книги,—но едва ли ее видали читающею. Уединеніе нестерпимо для нея;—быть на людяхъ—непрѣмѣнная ея потребность: для чего? Для какой-то безсмысленной игры въ безпрерывное *развлечение*. Жизнь должна представляться ей чѣмъ-то въ родѣ непрерывнаго праздника, во вкусѣ картинъ Ватто, съ электрическимъ освѣщеніемъ. Натуральный человѣкъ, сколько бы ни стремился наслаждаться по своему желанію, спотыкается попеволѣ о заботу, о болѣзнь, о горе и утрату—и передъ нимъ встаетъ призракомъ таинственная идея жизни и смерти. Мессалина неуязвима и тутъ. Что для нея забота о домѣ, о семье, о дѣтяхъ? Это дѣло управляющаго, въ крайнемъ случаѣ дѣло мужа. Болѣзнь? Но опа крѣпка здоровьемъ и привыкла настранивать свои первы—на то есть докторъ, на то есть крѣпкія капли хлорала. Горе? Есть ли такое горе, которое нельзя бы прогнать—можно уѣхать въ Баденъ, въ Монако, гдѣ столько сильныхъ ощущеній, наконецъ въ Парижъ, гдѣ съ помоющію Ворта нетрудно сѣрхнуть съ плечъ всякое горе. Иногда *стыдъ* появляется тамъ, гдѣ его не спрашиваютъ,—но какъ опѣ посмѣеться перейти порогъ великолѣниыхъ чертоговъ, куда сѣѣжаются все такие почетные, все такие знатные люди Ѣсть и пить, и праздновать, и любоваться хозяйкой, гдѣ разряженныя дамы рассказываютъ другъ другу про любовныя игры свои и похожденія, гдѣ слышится во всѣхъ углахъ щебетанье взаимнаго самодовольства и без-

заботной веселости, гдѣ вѣтъ извиняютъ другъ другу все—
кромѣ строгаго отношенія къ нравственнымъ начальствамъ
жизни... Страшна, казалось бы, *старость* для свѣтской
женщины? Но развѣ парижская наука не изобрѣла наде-
жныхъ средствъ противъ натурального увяданія красоты, и
развѣ мало старухъ, которыя являются молодыми съ по-
мощью фальшиваго румянца, фальшивой кожи, фальшивыхъ
волосъ и даже бюста фальшиваго? Наконецъ—
смерть, вѣдь стоитъ за плечами у каждого... смерть—
смерть—по—franchement, *après tout*,—кто же думаетъ
о смерти!

Казалось бы—есть одно мѣсто, откуда слыпится гроза
и вѣтъ страхомъ. Все ложь—въ жизни и обстановкѣ Мес-
салины. Роскошь ее окружающая, домъ ея съ великолѣ-
пнѣмъ убранствомъ, разставленные по лѣстницѣ величествен-
ные лакеи, тысячные наряды ея и уборы—все это ложь,
все это должно, кажется, рухнуть каждую минуту. Все это,
и давно уже, въ сущности не ея, а чужое, мнимое, потому
что счетъ уже потерянъ долгамъ ея и ея супруга, и счеты
изъ магазиновъ, ей предъявленные, давно уже составлиаютъ
безобразную кучу, въ которой никто не умѣеть разобраться.
Имѣнія ея заложены и назначаются то и дѣло въ публич-
ную продажу, заводы то и дѣло останавливаются свое дѣй-
ствіе, заимодавцы пристаютъ съ требованіями и предъяв-
ляютъ иски. Но какимъ-то волшебствомъ все это распуты-
вается въ критической минуты—имѣнія освобождаются отъ
продажи, заводы возстановляютъ свое дѣйствіе, заимодавцы,
подобно завоевателю, гонимому певѣдомымъ страхомъ, раз-
сѣваются и притихаютъ—и Мессалина объявляетъ въ сво-
ихъ чертогахъ балъ, на которомъ присутствуетъ избранное
общество,—и пѣтъ конца восторженнымъ похваламъ блеску
и вкусу, и великолѣпію бала... Ни для кого изъ блестящихъ

гостей Мессалины не тайна, что все это величина мнимая,— но все летят какъ почные бабочки на яркій свѣтъ, па роскошное убранство, не спрашивая, чье оно и откуда, все довольны, все восхищаются: таковы узы дружбы, связующей воедино толпу людей, вмѣстѣ жаждущихъ наслажденія и возбужденія, и вмѣстѣ кланяющихся идолу тщеславія. Однажды, казалось, совсѣмъ гибель настаетъ для Мессалины, и уже неѣть спасенія: какія жалостныя рѣчи поднялись тогда обѣ ней въ гостиныхъ! „Слышали вы: бѣдная Мессалина—дѣла ихъ очень плохи. Говорятъ, что у нихъ осталось уже не болѣе 20 тысячъ рублей дохода—вѣдь это ужасно, вѣдь это нищета—не правда-ли?“ Можно ли потерпѣть такое разореніе такого дома? Полетѣли изо всѣхъ угловъ ходатайства и мольбы, и вотъ, точно волшебнымъ вѣлѣніемъ, благопріятный вѣтеръ принесъ не малыя деньги для поправленія дѣль въ разстроенному хозяйству... И такъ, мудрено-ли, что Мессалина беззаботна и никакими страхами не смущается. Гордо выступаютъ они съ супругомъ, прямо глядя въ глаза всѣмъ и каждому; сколько разъ, когда случается встрѣтить ихъ, приходитъ на мысль стихъ изъ Расиновой Федры: „Боги, кои любите ихъ и награждаете,—неужели за добродѣтели?“

Мессалина, и подобные ей, живутъ на высотахъ, никогда не спускаясь въ долину. Смотришь къ нимъ наверхъ и съ изумленіемъ спрашивашь себя: какъ эти люди, дыша всегда воздухомъ горныхъ высотъ, не задохнутся? Или, подобно олимпийцамъ, питаются они амброзіей? Они видять и слышать только подобныхъ себѣ, и все дѣла, заботы, печали и радости людей дольняго міра представляются имъ въ туманной картинѣ, долетаютъ къ нимъ какъ дальнее жужжанье насѣкомыхъ. Посмѣтѣ-ли бѣдность и горе проникнуть въ раззолоченные ихъ чертоги, не въ видѣ идеи и

понятія, а въ видѣ живого страждущаго человѣка, и стать въ личное къ нимъ сочувственное отношеніе? Боже избави сказать, что они злые люди: нѣтъ, многіе изъ нихъ добрые люди и исполнены самыхъ благихъ намѣреній; но имъ никогда остановиться и сосредоточиться, въ круговоротѣ дня, посвященнаго отъ минуты до минуты исканію наслажденій и развлечений, условнымъ обязанностямъ и условнымъ приличіямъ того круга, въ коемъ они врачаются. Иные, когда просыпается въ нихъ совѣсть, клянутъ себя и свой образъ жизни, и говорятъ: „завтра начну по-человѣчески“. Но это завтра никогда не приходитъ, потому-что на завтра же не умолимый уставъ очарованного круга начерталъ расписаніе часовъ, забавъ и условныхъ обязанностей...

Одно изъ самыхъ тонкихъ искусствъ—искусство обманывать себя и успокаивать свою совѣсть—и въ этомъ искусстве человѣчество упражняетъ себя, съ тѣхъ поръ какъ міръ существуетъ: мудрею ли, что приемы его доведены до виртуозности. Люди, живущіе условною жизнью замкнутаго круга, не могутъ успокоиться на той мысли, что имъ нѣтъ дѣла до того, что происходитъ въ жизни обыкновенныхъ смертныхъ, нѣтъ дѣла до нищеты, пужды и бѣдности. Надо и имъ показать, что ничто человѣческое для нихъ не чуждо. И вотъ, изобрѣтено для того орудіе учрежденій общественной благотворительности—прекрасное средство для очистки личной совѣсти отдѣльного человѣка. Учрежденіе само по себѣ существуетъ и дѣйствуетъ, подобно всякому учрежденію, дѣйствуетъ по регламентамъ и уставу; а *человѣкъ*, человѣкъ со своей совѣстью, съ своимъ чувствомъ, съ личною энергией воли, живеть самъ по себѣ, вольно, и всякую печаль, которая портила бы жизнь его, стѣсняла бы свободу его, отнимала бы у него вольное время,—слагаетъ на учрежденіе...

При помощи такого гениального изобрѣтенія, въ томъ очарованиемъ кругъ, гдѣ блестить и господствуетъ Мессалина, ядущее превращается въ ядомое, изъ горькаго происходитъ сладкое, и дѣло благотворенія, дѣло жалости и боли душевной, дѣло взаимнаго сочувствія между сыпами праха во имя высшаго духовнаго пачала любви,—превращается въ одинъ изъ видовъ общественнаго увеселенія и представляеть изъ себя ярмарку тщеславія.

И вотъ, въ какомъ видѣ являемся Мессалина покровительницею бѣдныхъ, благодѣтельницею страждущаго человѣчества. Я видѣлъ ее въ эти минуты, какъ она стояла, въ свѣтѣ электрическаго освѣщенія, подъ звуки бального оркестра, за одною изъ лавочекъ, артистически устроенныхъ въ великолѣпныхъ залахъ большого дома, на одномъ изъ такъ называемыхъ *Базаровъ благотворительности*. Она была ослѣпительно красива въ своемъ блестящемъ туалетѣ, только что полученномъ изъ Парижа и стоившемъ бѣшеныхъ денегъ. Около нея толпились покупатели, таявшіе отъ взгляда ея и улыбки, и выручка ея въ этотъ день возбуждала зависть во множествѣ сосѣднихъ лавочекъ. Она сошла въ этотъ день съ своего мѣста съ гордымъ сознаніемъ исполненнаго долга и новаго, извѣданнаго торжества,—хотя вся ея выручка, какъ и выручка подругъ ея, не достигала цѣны тѣхъ туалетовъ, которые она на себѣ носила... Невольно приходило на мысль: какая громадная сумма составилась бы изъ сложенія всѣхъ тѣхъ цифръ, которые принесли въ залу на плечахъ своихъ эти благодѣтельныя особы!

Въ этомъ собраніи не было мѣста Лансѣ—и зачѣмъ ей быть здѣсь! Ланса презрѣнная женщина; „отчаянная житія ради иувѣдомленія нрава ради“. Но—была однажды такая же какъ она, носившая въ себѣ огонь любви, въ ди-

комъ блужданіи по распутямъ міра. Много и долго грешила она, но все ея грѣхи были отищены ей потому, что любила она много, хотя не знала до послѣдней встрѣчи съ истиннымъ началомъ любви,—куда дѣвать любовь свою.—Но кого, кромѣ себя, любила и любить Мессалина, и какой огонь посить она въ себѣ?

III.

Есть люди сухие и не очень умные, съ которыми можно говорить серьезно, на которыхъ можно положиться, потому что у нихъ есть твердое, опредѣленное мнѣніе, есть известный характеръ, который неизмѣнно въ нихъ является. Есть люди умные и занимательные, которыхъ нельзя разумѣть серьезно, потому что у нихъ неѣтъ твердаго мнѣнія, а есть только ощущенія, которые постоянно менются. Таковы бываютъ перѣдко такъ называемыя художественные патуры: вся жизнь ихъ—игра смѣняющихся ощущеній, выраженіе коихъ доходитъ до виртуозности. И выражая ихъ, они не обманываютъ ни себя, ни слушателя, а входятъ, подобно талантливымъ актерамъ, въ известную роль и исполняютъ ее художественно. Но когда, въ действительной жизни, приходится имъ дѣйствовать лицомъ своимъ, невозможно предвидѣть, въ какую сторону направится ихъ дѣятельность, какъ выразится ихъ воля, какую окраску приметъ ихъ слово въ рѣпшитѣльную минуту...

Такое развитіе мысли и чувства—къ сожалѣнію—обычное явленіе у насъ, и особенно между людьми даровитыми по природѣ. Способности ихъ развиваются—въ художественную сторону: не видать у нихъ ясной и опредѣленной идеи, на которой стоитъ человѣкъ, и которая держитъ его въ жизни и дѣятельности,—по все перешло въ ощущеніе.

Они способны вдохновляться всякою средою, въ которую случайно попадаютъ, быть ироповѣдниками и пѣвцами всякой идеи, какую въ этой средѣ зацѣпили и какая имѣеть въ ней ходъ.—Впадая притомъ въ безпрерывный противорѣчія—сегодняшняго со вчерашнимъ, они умѣютъ искусно соглашать эти противорѣчія и переходить отъ одного къ другому искусною игрою въ оттѣнки всякой мысли и въ переливы всякаго ощущенія. Въ политической или служебной сферѣ такіе люди—иногда безсознательно—дѣлаются карьеристами, привыкая идти по теченію вѣтра, который дуетъ въ ту или иную сторону, и одухотворять въ себѣ всякое попутное вѣяніе. Между государственными людьми, произносящими рѣчи въ собраніяхъ, между прокурорами и адвокатами нерѣдко встрѣчаются такіе примѣры: вдохновляясь впечатлѣніемъ минуты, тотъ же человѣкъ, который сегодня былъ строгимъ, неумолимымъ судьею неправды, завтра являетъ ся ея защитникомъ, будетъ съ горячимъ убѣжденіемъ, съ порывомъ вдохновенія отстаивать совсѣмъ противоположную идею и отыскивать черты красоты въ томъ явленіи, которое вчера обличалъ въ нравственномъ безобразіи.

Свойство талантливаго актера вдохновляться каждою ролью и входить въ душу и характеръ каждого лица, которое онъ представляетъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ потому онъ и предается этому искусству, потому и способенъ переживать моменты характерного дѣйствія въ лицѣ представляемомъ, что передъ нимъ масса зрителей, коихъ душа сливается въ эти моменты съ его душою—стало быть, вдохновляясь свою ролью, онъ въ то же время вдохновляется массою публики. Вотъ почему такъ увлекательно дѣйствуетъ лицедѣйство, доходя до страсти и въ актерѣ, и въ зрителяхъ. То же ощущеніе свойственно всякому оратору въ общественныхъ собраніяхъ: дѣйствуя, то есть разглагольствуя въ той или

другой идеи, въ томъ или другомъ направлениі, и вдохновляясь своею задачей, онъ въ то же время вдохновляется тою средою, въ которой дѣйствуетъ, не отрѣшаясь ни на минуту отъ своего я, а свое я стремится у него къ возбужденію въ этой средѣ ощущеній,—сочувствія или восторга. И это стремленіе можетъ доводить до страсти талантливую натуру, такъ что она неудержимо ищетъ *сцены* для своего искусства, упражняя его на всякой сценѣ, въ многочисленномъ собраніи, въ бесѣдномъ кружкѣ гостиної или кабинета, приминаясь къ настроенію каждого кружка и вдохновляясь всякимъ цвѣтомъ, какимъ онъ окрашентъ.

Такими людьми изобилуютъ совѣтательныя и законодательныя собранія: можно сказать, что изъ нихъ образуется большинство, составляющее рѣшительные приговоры. Противовѣсомъ имъ, казалось, могли бы служить люди серьезнаго дѣла и твердаго направлениія; но эти люди рѣдко бываютъ сильны словомъ, т. е. не умѣютъ владѣть орудіемъ, которымъ располагаютъ свободно ихъ противники, люди ощущенія и патиска. Чѣмъ многочисленнѣе собраніе, тѣмъ болѣе смѣшаннымъ представляется составъ его, тѣмъ менѣе оно способно уразумѣть идею вопроса, обніять фактическое его содержаніе и уразумѣть въ немъ правду и неправду,—и тѣмъ болѣе способно увлекаться ощущеніемъ,—иногда ощущеніемъ минуты,—которое произвѣтъ тотъ или другой ораторъ. Немногіе приступаютъ къ дѣлу, ознакомившись съ нимъ предварительнымъ его изученіемъ, добросовѣстно: остальные явлюются въ собраніе, не имѣя точнаго понятія о дѣлѣ или со смутнымъ о немъ представлѣніемъ, или приступаютъ къ нему съ предразсудкомъ и предрасположеніемъ. Въ такомъ собраніи художникъ слова является господиномъ ощущенія: искусно орудуя расположениемъ фактovъ и чиселъ, набрасывая на нихъ свѣтъ и

тѣни по своему усмотрѣнію, возбуждая однихъ паѳосомъ, запугивая другихъ ироніей, онъ овладѣваетъ полемъ, и борьба съ нимъ за истину становится крайне затруднительна, а иногда и невозможна для человѣка, не умѣющаго орудовать фразой, по орудующаго строгою связью логического разсужденія. Его аргументы недоступны множеству людей, увлеченому ощущеніемъ, и чѣмъ онъ совѣстливѣе, чѣмъ живѣе онъщаетъ нравственную отвѣтственность за свое мнѣніе, тѣмъ труднѣе для него одолѣть безответственное большинство, не имѣющее совѣсти,—ибо какая можетъ быть совѣсть въ огульномъ мнѣніи, лишенномъ единства и цѣльности и объединяющемся одною лишь цифрою голосовъ? Цифра—вотъ что служитъ нынѣ, къ сожалѣнію—конечнымъ критеріемъ истины и рѣшительною санкціей приговоровъ, коими решаются нерѣдко важнѣйшіе вопросы государственной политики...

IV.

Типъ Мольеровскаго Гарпагона имѣетъ много разновидностей, которыхъ мало еще подвергались художественной разработкѣ. Странно, что въ комедіи до сихъ поръ никто не обратилъ вниманія на особый видъ скряжничества—скряжничество временемъ; а это сюжетъ богатый.

Какъ Мольеровъ скупой копитъ деньги и дрожитъ надъ ними, такъ иного рода скряга копитъ время и дрожитъ надъ нимъ, не дѣляя изъ него самъ производительного употребленія, или—любуясь только своимъ капиталомъ, какъ скупой любуется червонцами. Деньги ожили бы, если бы ожила душа ими владѣющая, и стали бы въ рукахъ у человѣка могучимъ орудiemъ плодотворной производительности и разумнаго благотворенія: подобно всякой силѣ, деньги

требуютъ живого обращенія. О времени уже сказали англичане, что время—тѣ же деньги. Живая душа должна пускать его въ обращеніе, издерживать его производительно, не жалѣя, но и не расточая, не разматывая.

Нашъ общественный бытъ богатъ этими двумя крайностями. Съ одной стороны у насъ слишкомъ много праздній силъ, и чрезвычайно развито мотовство временемъ у людей, не знающихъ, куда дѣвать его. Столкновеніе людей этого типа съ людьми работающими и дорожающими временемъ представляетъ положенія, не лишенныя комизма. Съ другой стороны, мы нерѣдко встрѣчаемъ у себя скопицомъ временіи, къ сожалѣнію, не рѣдкость встрѣчать ихъ между такъ называемыми дѣловыми людьми, даже сущими во власти.

Боязнь потерять время доходитъ иногда у такого человѣка до первого раздраженія, заставляющаго его запираться отъ людей и смотрѣть, какъ на вора и похитителя, на всякаго, кто является къ нему съ живымъ дѣломъ, для объясненія или просьбы. Оттого иныхъ людей и сущихъ во власти бываетъ такъ трудно видѣть даже за самыемъ нужнымъ дѣломъ. Единственный способъ сообщенія съ ними—письмо или бумага: письменные сообщенія дѣйствуютъ на нихъ успокительно, хотя соединенное съ ними канцелярское производство требуетъ гораздо большей траты времени, нежели личное объясненіе. Можетъ быть, это одна изъ причинъ сильнаго развитія, которое получаетъ у насъ бумажное дѣло. Спросите такого человѣка, зачѣмъ онъ такъ ревниво записывается и копитъ свое время: онъ скажетъ, что всякая минута дорога ему. Но если присмотрѣться ближе, на что идутъ у него эти минуты и часы, приходится только подивиться, изъ-за чего онъ хлопочеть, изъ-за чего отрѣзываетъ себѣ отъ жизни, отъ людей, отъ живой дѣйствительности, и сидѣть, подобно Гарпагону, надъ своимъ сокровищемъ.

V.

Ксенофонъ, въ своихъ воспоминаніяхъ о Сократѣ, разсказываетъ поучительную исторію одного молодого афинянина, который, не имѣя еще 20 лѣтъ отъ роду, задумалъ попасть въ государственные люди и сталъ усердно произносить публичныя рѣчи, въ надеждѣ привлечь къ себѣ народное расположение. Когда онъ пришелъ къ Сократу, Сократъ спросилъ его: „Слыши я, Главконы, что тебѣ очень хочется имѣть власть въ государственномъ управлениі?“ — „Да, признаюсь, хочется“. — „Какая прекрасная доля“, — сказалъ ему Сократъ, — „управлять государствомъ, сколько можно сдѣлать добра своему отечеству! въ какую честь поставить себя и весь домъ свой! какъ можешь прославиться въ Аѳинахъ, — да и не въ однихъ Аѳинахъ! Фемистокль былъ славенъ и между варварами... Прекрасно! Только, я думаю, и ты согласенъ со мною, что такая честь не дается даромъ: надо чѣмъ-нибудь заслужить ее?“ — „О, конечно“, — спѣшилъ отзваться Главконы. — „Скажи же мнѣ“, — продолжалъ Сократъ, — „съ чего-жъ бы ты началъ, напримѣръ?“ Молодой человѣкъ не давалъ отвѣта; онъ еще ни разу не думалъ, съ чего начать. — „Однако, посмотримъ; напримѣръ, говорить: казна нужнѣе всего для государства: ты, конечно, старался бы прибавить доходовъ казнѣ?“ — „Разумѣется, такъ“. — „Любопытно знать, съ чего бы ты началъ? Конечно, тебѣ ужъ очень известно, съ какихъ статей казна получаетъ доходы, и сколько получаетъ, и откуда?“ Юноша долженъ былъ признаться, что не знаетъ этого въ точности. — „Ну, въ такомъ случаѣ, скажи мнѣ, какие расходы тебѣ кажутся лишними, какие ты хотѣлъ бы сократить?“ — „Признаюсь, что я не имѣлъ до сихъ поръ времени и объ этомъ хорошенько подумать. Но мнѣ казалось, Сократъ, что ничего много и

думатъ объ этомъ, когда можно устроить казну на счѣтъ непріятеля“...— „Правда твоя, но для этого необходимо побѣждать непріятеля, быть сильнѣе его; а ежели онъ сильнѣе, то еще и онъ, пожалуй, твое отниметъ. Стало быть, если разсчитываешь на войну, надо знать въ точности свою силу и непріятельскую. А ты знаешь-ли, скажи мнѣ, сколько у насъ сухопутныхъ силъ, сколько морскихъ силъ, и каковы силы у нашихъ непріятелей?“— „Такъ, изъ головы, въ одну минуту, не могу тебѣ разсчитать“.— „Все равно“,— продолжалъ Сократъ,— „если у тебя гдѣ-нибудь записано, посмотримъ вмѣстѣ“. Но и на письмѣ у Главкона ничего не оказалось. „Ну, хорошо“,— началъ опять Сократъ,— „я вижу, и эту статью намъ придется покуда оставить, видно еще время ей не пришло. Но ужъ, павѣриое, ты знаешь все, что относится до внутренней охраны государства: сколько гдѣ есть и сколько потребно постовъ для внутренней стражи, гдѣ чего недостаетъ и надо прибавить, гдѣ что лишнее и надо убавить?“— „Да, по правдѣ сказать“,— отвѣчалъ Главконъ,— „я бы всѣ ихъ уничтожилъ, когда бы отъ меня зависѣло. Что у насъ за стража—стоитъ-ли держать ее, когда повсюду воровство такое, что никто не убережется!“— „Какъ же такъ? вѣдь, если спать отовсюду караулы, то воры будутъ грабить на волѣ, среди бѣлага дня... Да развѣ тебѣ это дѣло такъ близко извѣстно, и ты подлинно знаешь, что никуда не годится наша полиція?“— „Такъ мнѣ кажется; всѣ говорятъ, что такъ“.— „Нѣть, Главконъ, тутъ мало предполагать, а надо знать подлинно“. И Главконъ долженъ былъ согласиться съ Сократомъ.— „Ну, вотъ“,— спросилъ еще Сократъ:— „ты хочешь управлять государствомъ. Знаешь-ли ты, сколько въ нашемъ городѣ требуется въ годъ пищницы для народнаго продовольствія, каковъ можетъ быть домашній запасъ ея и сколько еще потребно закупить изъ-за границы?“— „Какъ все это знать,

Сократъ, — отвѣчалъ молодой человѣкъ, — „ты столько спрашивашъ, что надо предпринять страшную работу, чтобы тебѣ отвѣтить“. — „Но, вѣдь, нельзя безъ этого, Главконъ; своимъ домомъ не управишь, не зная, сколько чего для дому требуется, а государствомъ много трудишь управить, нежели домомъ. Вотъ у тебя свой дому, т. е. домъ твоего дяди, разстроепъ: начни съ этого — исправь дядинъ дому, и увидишь, достанеть-ли у тебя умѣнья и силы“. — „Да я эхотно взялся бы за это дѣло, только дядя совѣтовъ моихъ не слушаетъ“. — „Какъ?“ — сказалъ на это Сократъ, — „ты не можешь уговорить своего дядю, и воображаешь, что въ состояніи всѣхъ аениянъ, вмѣстѣ и съ дядей, убѣдить своими рѣчами?“... Бесѣда эта заключилась, наконецъ, тѣмъ, что молодой человѣкъ образумился, стала учиться и пересталъ произносить рѣчи въ народныхъ собраніяхъ.

Эту простую и старинную исторію кстати припомнить въ настоящее время, когда вся земля кипитъ Главконами, стремящимися къ государственной дѣятельности на поприщѣ всевозможныхъ преобразованій; когда юноши, едва покинувшие школьную скамью, притомъ плохо обсаженную, — начинаютъ уже строчить въ канцеляріяхъ полуграмотные проекты новыхъ уставовъ или произносять рѣчи, нанизывая фразу за фразой. Только въ ту пору былъ Сократъ, къ которому родные привели молодого честолюбца, замѣтивъ, что онъ становится смѣшонъ съ своимъ пустымъ краснорѣчіемъ. А въ наше скучное время пѣть никакого Сократа, да если бъ и былъ онъ, Главконы наши не пошли бы къ нему и не стали бы его слушать. Пустыя рѣчи ихъ звучатъ въ собраніи подобныхъ же имъ слушателей, надувая оратора непобѣдимымъ самодовольствомъ и непогрѣшимою самоувѣренностью; проекты ихъ проходятъ безъ критики и возбуждаютъ еще иногда удивленіе, вмѣсто смѣха; передъ ними раскрываетъ ровныя свои ступени та желанная лѣстница, по которой восходятъ, окрыленные фразой, новѣйшие дѣятели...



Власть и начальство.

Есть въ душахъ человѣческихъ сила нравственнаго тяготѣнія, привлекающа одну душу къ другой; есть глубокая потребность воздействиа одной души на другую. Безъ этой силы люди представлялись бы кучею песчинокъ, ничѣмъ не связанныхъ и посимыхъ вѣтромъ во всѣ стороны. Сила эта естественно, безъ предварительного соглашенія, соединяетъ людей въ общество. Она заставляетъ, въ средѣ людской, искать другого человѣка, къ кому приразиться, кого слушать, кѣмъ руководствоваться. Одуневляемая нравственнымъ пачаломъ, она получаетъ значеніе силы творческой, соединяющей и поднимая массы на великія дѣла, на великіе подвиги.

Но для общества гражданского недостаточно этого вольного и случайного взаимнаго воздействиа... Естественное, какъ бы инстинктивное стремленіе къ нему, огустѣвая и сосредоточиваясь, ищетъ *властнало*, непререкаемаго воздействиа, которымъ объединялась бы, которому подчинялась бы масса со всѣми разнообразными ея потребностями, вождѣніями и страстями, въ которомъ обрѣтала бы возбужденіе дѣятельности и начало порядка, въ которомъ находила бы, посреди всѣхъ извращеній своеволія,— *мърило правды*.—

Итакъ на *правдѣ* основана, по идѣи своей, всякая власть, и поелику правда имѣть своимъ источникомъ и основаниемъ Всевышняго Бога и законъ Его, въ душѣ и совѣсти каждого естественно написанный,—то и оправдывается въ своемъ глубокомъ смыслѣ слово: *и есть власть, аще не отъ Бога.*

Слово это сказано *подвластнымъ*, но оно относится столь же внушительно и къ самой власти, и о, когда бы сознавала всякая власть все его значеніе! Великое и страшное дѣло—власть, потому что это дѣло—*священное*. Слово *священный* въ первоначальномъ своемъ смыслѣ значить: *отдѣленный*, на службу Богу обреченный. Итакъ власть—*не для себя* существуетъ, по ради Бога, и есть *служеніе*, на которое *обреченъ* человѣкъ. Отсюда и безгранична, страшная сила власти, и безгранична, страшная тягота ея.

Сила ея безгранична, и не въ материальномъ смыслѣ, а въ смыслѣ духовномъ, ибо это сила разсужденія и творчества. Первый моментъ мірозданія есть появленіе *сопта* и отдѣленіе его отъ *тымы*. Подобно тому и первое отправленіе власти есть обличеніе *правды* и различеніе *неправды*: на этомъ основана вѣра во власть и неудержимое тяготѣніе къ ней всего человѣчества. Сколько разъ, и повсюду, вѣра эта обманывалась, и все таки источникъ ея остается цѣль и не изсякаетъ, потому что безъ правды жить не можетъ человѣкъ. Отсюда происходитъ и творческая сила власти—сила привлекать людей добра, правды и разума, возбуждать и одушевлять ихъ на дѣла и подвиги.—Власти принадлежитъ и первое и послѣднее слово—альфа и омега въ дѣлахъ человѣческой дѣятельности.

Сколько ни живеть человѣчество, не перестаетъ страдать то отъ власти, то отъ безвластія. Насиліе, злоупотребленіе, безуміе, своекорыстіе власти—поднимаетъ мяtekъ. Извѣршившись въ идеальную власти, люди мечтаютъ обойтись

безъ власти и поставить на мѣсто ея слово закона. Напрасное мечтаніе: во имя закона возникающіе во множествѣ самовластные союзы поднимаютъ борьбу о власти, и раздробленіе властей ведетъ къ насилию—еще тяжеле прежнихъ. Такъ бѣдное человѣчество въ искаиніи лучшаго устройства посится точно по волнамъ безбрежнаго океана, въ коемъ бездна призываетъ бездину, кормила пѣтъ—и не видать пристани...

И все таки—безъ власти жить ему невозможно. Въ душевной природѣ человѣка,—за потребностью взаимнаго обиженія, глубоко таится—потребность власти. Съ тѣхъ порь какъ раздвоилась его природа, явилось различіе добра и зла, и тяга къ добру и правдѣ встутила въ душѣ его въ непрестающую борьбу съ тягою къ злу и неправдѣ,—не осталось иного спасенія какъ искать примиренія и опоры въ верховномъ судіи этой борьбы, въ живомъ воплощеніи властнаго начала порядка и правды. Итакъ, сколько бы ни было разочарованій, обольщений, мученій отъ власти, человѣчество, доколѣ жива еще въ немъ тяга къ добру и правдѣ, съ сознаніемъ своего раздвоенія и безсилія, не перестанетъ вѣрить въ идеальную власть и повторять попытки къ его осуществленію. Издревле, и до нашихъ дней, безумцы говорили и говорятъ въ сердцѣ своемъ: иѣть Бога, иѣть правды, иѣть добра и зла,—привлекая къ себѣ другихъ безумцевъ и проповѣдуя безбожіе и анархію. Но масса человѣчества хранить въ себѣ вѣру въ высшее начало жизни, и посреди слезъ и крови, подобно стѣпцу ищущему вождя, ищетъ для себя власти и призываетъ ее съ непрестающею надеждой, и эта надежда—жива, не смотря на вѣковыя разочарованія и обольщениія.

Итакъ дѣло власти есть дѣло непрерывнаго служенія, а потому въ сущности—дѣло самопожертвованія. Какъ страшно звучитъ, однако, это слово въ ходячихъ понятіяхъ

о власти. Казалось бы, естественно людямъ бѣжать и уклоняться отъ жертвъ. Напротивъ того—всѣ ищутъ власти, всѣ стремятся къ ней, изъ за власти борются, злодѣйствуютъ, уничтожаютъ другъ друга, а достигнувъ власти, радуются и торжествуютъ. Власть стремится *величаться*, и величаясь, виадасть въ странное мечтательное состояніе,—какъ будто она сама для себя существуетъ, а не для служенія. А между тѣмъ нѣпрекаемый, единый истинный идеаль власти—въ словѣ Христа Спасителя: „кто хочетъ быть между вами первымъ, да будетъ всѣмъ слуга.“ Слово это мимо ушей у насть проходитъ, какъ нѣчто не до насть относящееся, а до какого-то иного, особаго, въ Палестинѣ бывшаго сообщества—но по истинѣ, какая власть, какъ бы ни была высока, какая, въ глубинѣ своей совѣсти, не сознается, что чѣмъ выше ея величіе, чѣмъ большій объемлетъ кругъ дѣятельности, тѣмъ тягостнѣе становятся ея узы, тѣмъ глубже раскрывается передъ нею свитокъ язвъ общественныхъ, въ коихъ написано столько „рыданія и жалости и горя“, тѣмъ громче раздаются крики и вопли о неправдѣ, проникающіе душу и ее обязывающіе. Первое условіе власти есть вѣра въ себя, т. е. въ свое призваніе: благо власти, когда эта вѣра сливается съ сознаніемъ долга и нравственной ответственности. Бѣда для власти, когда она отдаѣтъ отъ этого сознанія и безъ него себя ощущаетъ и въ себя вѣритъ. Тогда начинается паденіе власти, доходящее до утраты этой вѣры въ себя, то есть до униженія и разложенія.

Власть, какъ носительница правды, нуждается болѣе всего въ людяхъ правды, въ людяхъ твердой мысли, крѣпкаго разумѣнія и праваго слова, у коихъ *да* и *ильтѣ* не соприкасаются и не сливаются, но самостоятельно и раздѣльно возникаютъ въ духѣ и въ словѣ выражаются. Толь-

ко такие люди могут быть твердою опорою власти и вѣрными ея руководителями. Счастлива власть, умѣющая различать такихъ людей и цѣнить ихъ по достоинству и неуклонно держаться ихъ. Горе той власти, которая такими людьми тяготится и предпочитаетъ имъ людей склоннаго права, уклончиваго мнѣнія и языка льстиваго.

Правый человѣкъ есть человѣкъ цѣлый — не терпящій раздвоенія. Онъ смотритъ прямо очами въ очи, и въ очахъ его видится одинъ образъ, одна мысль и чувство единое. Видъ его спокоенъ и безстрашенъ, и языкъ его не колеблется направо и налево. Мысль его сама съ собою согласна и высказывается не допытываясь, съ чимъ мнѣніемъ согласна она, кому пріятна, чьему желанію или чьей похоти соотвѣтствуетъ. Слово его просто и не ищетъ кривыхъ путей и лукавыхъ способовъ — убѣдить въ томъ, въ чёмъ мысль, поражающая слово, не утвердила въ правду.

Не таковъ человѣкъ неутвержденный въ мысли, двоедушный и льстивый. Онъ глядитъ вамъ въ очи, но въ его очахъ вы не его одного видите — но кто-то другой еще стоитъ сзади и выглядываетъ на васъ, — и не знаешь, кому вѣритъ — этому или тому, другому? Говоритъ, и хотя бы красна и горяча была рѣчъ его, — на умѣ у него: — какое она произвела на васъ впечатлѣніе, согласна ли она съ вашимъ желаніемъ или прихотью, и если вы на нее отзоветесь, онъ обернеть ее къ вамъ и скажетъ, что вы ея создатель, что онъ отъ васъ ее заимствовалъ. Мимолетное слово ваше онъ схватить налету, облечетъ въ форму и понесеть въ видѣ твердой мысли, въ видѣ рѣшительного мнѣнія. Чѣмъ способнѣе такой человѣкъ, тѣмъ искуснѣе успѣсть пользоваться вами и направлять васъ. Вы затрудняетесь или сомнѣваетесь — у него готово рѣшеніе, которое выведетъ васъ изъ затрудненія, изъ беспокойства, въ покой

самодовольствія. Вы колеблетеъ распознать, на которой сто-
ронѣ правда—у него готовы аргументы и формулы, спо-
собныя убѣдить васъ въ томъ, что казавшееся вамъ сомни-
тельнымъ и есть сущая правда.

Бумага все терпитъ—такова старинная пословица, обра-
зовавшаяся въ то время, когда грамотѣство было почти
исключительно бумажное, и одна бумага служила материа-
ломъ и орудіемъ крючкотворства. Наступило другое время—
бумага осталась, но падъ нею стала господствовать устная
рѣчь, и пришло дивиться новѣйшему крючкотворству въ
рѣчахъ безчисленныхъ ораторовъ. Возникла новая школа,
въ которой и невѣжды одинаково съ умными и учелыми
стали обучаться искусству красиво говорить, о чёмъ бы то ни
было, красиво доказывать истину—чего угодно, и весть искусственную
игру, разсчитанную на впечатлительность слушателей. Образо-
валась новая порода людей, изъ среды коихъ пополняются не-
редко ряды практическихъ дѣятелей, администраторовъ, су-
дей, педагоговъ. Счастливъ, кто, пройдя эту школу, успѣль
еще сохранить въ себѣ твердую мысль, добросовѣстность
сужденія и способность опознаться въ истинѣ посреди тучи
общихъ взглядовъ и формулы новѣйшей софистики; словомъ
сказать, кто, пройдя училище *двоедушія*, успѣль оставаться
прямодушіи.

Пачальнику должно быть присуще сознаніе *достоин-
ства* власти. Забывая о немъ и не соблюдая его, власть
роняетъ себя и извращаетъ свои отношенія къ подчинен-
нымъ. Съ достоинствомъ совмѣстна, и должна быть нераз-
лучна съ нимъ, *простота* обращенія съ людьми, необходима
для возбужденія ихъ къ дѣлу и для оживленія интереса
къ дѣлу, и для поддержанія искренности въ отношеніяхъ.
Сознаніе достоинства воспитываетъ и *свободу* въ обращеніи

съ людьми. Власть должна быть *свободна* въ законныхъ своихъ предѣлахъ, ибо при сознаніи достоинства ей нечего смущаться и тревожиться о томъ, какъ она покажется, какое произведеть впечатлѣніе и какой имѣть ей приступъ къ подступающимъ людямъ. Но сознаніе достоинства должно быть неразлучно съ сознаніемъ *долга*: ио мѣрѣ того какъ блѣднѣеть сознаніе долга, сознаніе достоинства, расширяясь и возвышаясь не въ мѣру, производить болѣзнь, которую можно назвать *инертрофіей* власти. По мѣрѣ усиленія этой болѣзни, власть можетъ впасть въ состояніе нравственнаго помраченія, въ коемъ она представляется *сама по себѣ* и *сама для себя* существующею. Это уже будетъ начало *разложенія* власти.

Сознавая достоинство власти, начальникъ не можетъ забыть, что онъ служитъ зеркаломъ и примѣромъ для всѣхъ подвластныхъ. Какъ онъ станетъ держать себѣ, такъ за нимъ пріучаются держать себѣ и другое—въ пріемахъ, въ обращеніи съ людьми, въ способахъ работы, въ отношеніи къ дѣлу, во вкусахъ, въ формахъ приличія и неприличія. Напрасно было бы воображать, что власть, въ тѣ минуты, когда снимаетъ съ себя начальственную тогу, можетъ безопасно смыщаться съ толпою въ ежедневной жизни толпы, на рынкѣ суеты житейской.

Однако, соблюдая свое достоинство, начальникъ долженъ столь же твердо соблюдать и достоинство своихъ подвластныхъ. Отношенія его къ нимъ должны быть основаны на довѣріи, ибо въ отсутствіи довѣрія нѣтъ нравственной связи между начальникомъ и подчиненнымъ. Бѣда начальнику, если онъ вообразить, что *все* можетъ знать и обо *всемъ* разсудить непосредственно, независимо отъ знаній и опыта-
ности подчиненныхъ, и захочетъ решить *всѣ* вопросы однимъ

своимъ властнымъ словомъ и приказаниемъ, не справляясь съ мыслию и мнѣніемъ подчиненныхъ, непосредственно къ нему относящихся. Въ такомъ случаѣ онъ скоро почувствуетъ свое безсиліе передъ знаніемъ и опытностью подчиненныхъ, и кончитъ тѣмъ, что попадетъ въ совершиенную отъ нихъ зависимость.—Пущая бѣда ему, если онъ впадаетъ въ нагубную привычку не терпѣть и не допускать возраженій и противорѣчій:—это свойство не однихъ только умовъ ограниченныхъ, но встречается нерѣдко у самыхъ умныхъ и энергическихъ, но не въ мѣру самолюбивыхъ и самоувѣренныхъ дѣятелей. Добросовѣстного дѣятеля должна страшить привычка къ произволу и самовластію въ рѣшеніяхъ:—сю воспитывается—*равнодушіе*, язва бюрократіи. Власть не должна забывать, что за каждою бумагой стоитъ или живой человѣкъ или живое дѣло, и что сама жизнь настоятельно требуетъ и ждетъ соотвѣтственнаго съ нею рѣшенія и направленія. Въ немъ должна быть *правда—личная*—въ прямомъ, добросовѣстномъ и точномъ воззрѣніи на дѣло,—и еще *правда*—въ соотвѣтствіи распоряженія съ живыми соціальными, нравственными и экономическими условіями народнаго быта и народной исторіи. Этой правды нѣтъ, если руководящимъ началомъ для власти служитъ отвлеченная *теорія* или *доктрина*, отрѣшенная отъ жизни съ особыми многообразными ея условіями и потребностями.

Чѣмъ шире кругъ дѣятельности властнаго лица, чѣмъ сложнѣе механизмъ управлениія, тѣмъ пужнѣе для него подначальные люди, способные къ дѣлу, способные объединить себя съ общимъ направленіемъ дѣятельности къ общей цѣли. Люди нужны во всякое время и для всякаго правительства, а въ наше время едвали не нужнѣе чѣмъ когда-либо: въ наше время правительству приходится считаться со множествомъ

вновь возникшихъ и утвердившихся силь—въ наукѣ, въ литературѣ, въ критикѣ общественнаго мышленія, въ общественныхъ учрежденіяхъ съ ихъ самостоятельными интересами. Умѣніе найти и выбрать людей—первое искусство власти; другое умѣніе—направить ихъ и ввести въ должную дисциплину дѣятельности.

Выборъ людей—дѣло *труда* и пріобрѣтаемаго трудомъ искусства распознавать качества людей. Но власть нерѣдко склоняется устраниТЬ себя отъ этого труда и замѣняетъ его видимыми или формальными *признаками качествъ*. Самыми обычными признаками этого рода считаются патенты окончанія курсовъ высшаго образования, патенты пріобрѣтаемые посредствомъ экзаменовъ. Мѣра эта, какъ известно, весьма невѣрная и зависитъ отъ множества случайностей, стало быть сама по себѣ не удостовѣряеть на самомъ дѣлѣ ни *знанія*, ни тѣмъ менѣе, *способности* кандидата къ тому дѣлу, для коего онъ требуется. Но она служитъ къ избавлению власти отъ труда всматриваться въ людей и опознавать ихъ. Руководствуясь одною этою мѣрой, власть винадаетъ въ ошибки вредныя для дѣла. Не только способность и умѣніе, но и самое *образованіе* человѣка не зависитъ отъ выполненія учебныхъ программъ по множеству предметовъ, входящихъ въ составъ учебнаго курса. Безчисленные примеры лучшихъ учениковъ—ни на какое дѣло негодныхъ,—и худшихъ, оказавшихся замѣчательными дѣятелями—доказываютъ противное. Весьма часто случается, что способность людей открывается лишь съ той минуты, когда они прикоснулись къ живой реальности дѣла: до тѣхъ поръ наука, въ видѣ уроковъ и лекцій, оставляла ихъ равнодушными, потому что они не чуяли въ ней реальнаго интереса: такова была исторія развитія многихъ великихъ общественныхъ дѣятелей.

Начальникъ обширнаго управлениі съ обширнымъ кругомъ дѣйствія не можетъ дѣйствовать съ успѣхомъ, если захочеть, безъ должной мѣры, простирать свою власть непосредственно на всѣ отдѣльныя части своего управлениія, вступаясь во всѣ подробности дѣлопроизводства. Самый энергический и опытный дѣятель можетъ даромъ растратить свои силы и запутать ходъ дѣла въ подчиненныхъ мѣстахъ, если съ одинаковою ревностью станетъ заниматься и существенными вопросами, въ коихъ надлежитъ ему давать общее направлениѣ, и мелкими дѣлами текущаго производства. Мѣсто его наверху дѣла, откуда можетъ онъ обозрѣвать весь кругъ подчиненной дѣятельности: спускаясь непосредственно во всѣ углы и закоулки управлениія, онъ потеряетъ мѣру труда своего и своей силы и способность широкаго кругозора, разстроить необходимое во всякомъ практическомъ дѣлѣ раздѣленіе труда, и ослабить въ подчиненныхъ нравственный интересъ дѣятельности и сознаніе нравственной отвѣтственности каждого за порученное ему дѣло.—Съ другой стороны, ошибется главный начальникъ, если предоставитъ себѣ лично выборъ не только лицъ непосредственно отъ него зависящихъ, но и всѣхъ второстепенныхъ дѣятелей и работниковъ, подчиненныхъ начальнику отѣльныхъ частей управлениія: въ такомъ случаѣ онъ взялъ бы па себя дѣло свыше силъ своихъ, и не на пользу дѣла, а лишь въ угоду личному произволу своему и самовластію. Начальникъ каждой отдѣльной части песетъ на себѣ отвѣтственность за успѣхъ порученнаго ему дѣла, и отнять у него право избирать по усмотрѣнію своему сотрудникъ себѣ и работниковъ—значить снять съ него отвѣтственность за успешный ходъ дѣла, ослабить его авторитетъ и стѣснить его свободу въ законномъ кругѣ его дѣятельности.

Къ несчастью, по мѣрѣ ослабленія нравственнаго начала власти въ начальникѣ, имъ овладѣваетъ пагубная страсть *патронатства*, страсть покровительствовать и раздавать мѣста и должности вышаго и низшаго разряда. Великая бѣда отъ распространенія этой страсти, лицемѣрию прикрываемой видомъ добродушія и благодѣянія нуждающимся людямъ. Побужденія этой благодѣтельности нерѣдко смѣниваются съ побужденіями угодничества передъ другими сильными міра, желающими облагодѣтельствовать своихъ клиентовъ. Увы! благодѣянія этого рода раздаются часто на счетъ блага общественнаго, на счетъ благоустройства служебныхъ отиправленій, наконецъ на счетъ казеной или общественной кассы. Стоитъ власти забыться,—и она уже отрѣпается отъ мысли о правдѣ своего служенія и о благѣ общественномъ, которому служить призвана.

Самая драгоцѣнная способность правителя — способность организаторская. Это талантъ, не часто встрѣчаемый, талантъ не приобрѣтаемый какою-либо школою, но прирожденный. О людяхъ этого качества можно сказать, что сказано о поэтахъ, что они рождаются, а не дѣлаются (*nascuntur, non fiunt*). Стоитъ представить себѣ, какое совокупленіе различныхъ качествъ требуется для организаторскаго таланта. Въ такомъ человѣкѣ сила воображенія соединяется со способностью быстро избирать способы практической дѣятельности. Онъ долженъ быть крайне сообразителенъ, предусмотрителенъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшителенъ для дѣйствія, угадывая для него потребную минуту; быстро проникать во всѣ подробности дѣла, не теряя изъ виду руководящихъ началь его; долженъ быть тонкимъ наблюдателемъ людей и характеровъ, умѣть довѣряться людямъ и въ то же время не забывать, что и лучшіе люди не свободны отъ низменныхъ инстинктовъ и своекорыстныхъ побужденій.

Счастливъ государственный правитель, когда ему удастся опознать такой талантъ и не ошибиться въ выборѣ. Ошибка возможна, и нерѣдки случаи, когда организаторскій талантъ думаютъ усмотрѣть въ человѣкѣ великаго ума и краснорѣчія. Но оба эти таланта не только различные, но и совершенно противоположные. Логическое развитіе мысли, способность къ діалектической аргументаціи,—почти никогда не сходятся съ организаторскою способностью. Напротивъ того человѣкъ способный соображать способы дѣйствованія и созидать планъ его—весьма часто бываетъ совсѣмъ неспособенъ изложить доказательно то, что сложилось въ умѣ его для дѣйствія. Но этотъ талантъ открывается лишь на дѣлѣ, а краснорѣчіе, дѣйствуя на умы логикой своихъ доводовъ и критикою чужихъ мнѣній, быстро увлекаетъ людей и вызываетъ сразу восторгъ и удивленіе.

Велико и свято значеніе власти. Власть, достойная своего призванія, вдохновляетъ людей и окрыляетъ ихъ дѣятельность: она служить для всѣхъ зерцаломъ правды, достоинства, энергіи. Видѣть такую власть, ощущать ея вдохновительное дѣйствіе—великое счастье для всякаго человѣка, любящаго правду, ищущаго свѣта и добра. Великое бѣдствіе—искать власти и не находить ея, или вместо нея находить мнимую власть большинства, власть толпы, произволъ въ призракѣ свободы. Не менѣе, если еще не болѣе печально—видѣть власть, лишенну сознанія своего долга, самой мысли о своемъ призваніи, власть, совершающую дѣло свое безсознательно и формально, подъ покровомъ начальственного величія. Стоитъ ей забыться, какъ уже начинается ея разложеніе. Остаются тѣ же формы производства, движутся по прежнему колеса механизма, но духа жизни въ нихъ неѣтъ. Мало по малу ослабѣваетъ самое желаніе изби-

ратъ людей приготовленныхъ и способныхъ на каждое дѣло, и люди уже не избираются, но назначаются какъ пошло, по случайнымъ побуждениямъ и интересамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ дѣломъ. Тогда начинаетъ исчезать въ производствахъ преданіе, охранимое опытными и привязанными къ дѣлу дѣятелями, разрушается школа, воспитывающая на дѣлѣ новыхъ дѣятелей опытностью старыхъ, и люди, приступающіе къ дѣлу ради личнаго интереса и служебной карьеры, смыняясь непрестанно въ погонѣ за лучшимъ, не оставляютъ нигдѣ прочаго слѣда трудовъ своихъ.

Для всякой практической дѣятельности потребно *искусство*, оживляющее эту дѣятельность, а *искусство* приобрѣтается трудомъ, разумнымъ и добросовѣстнымъ, для чего необходимо *руководство*. Итакъ всякое учрежденіе, назначенное для практической дѣятельности, должно быть вмѣстѣ съ тѣмъ школою, въ которой поколѣніе новыхъ дѣятелей пріучается къ искусству дѣла подъ руководствомъ старыхъ дѣятелей. На этомъ утверждается внутренній интересъ каждого дѣла и *нравственная* сила, существующая оживлять его. При этихъ условіяхъ учрежденіе можетъ возрастать и совершенствоваться, имѣя передъ собою открытые горизонты: есть чего ожидать и надѣяться, есть путь, куда идти впередъ. Но когда учрежденіе пѣмѣтъ и мертвѣтъ, замыкаясь въ пошлыхъ путяхъ текущей формальности, оно перестаетъ быть школою искусства, превращаясь въ машину, около коей смыняются наемные работники. Горизонты замыкаются, некуда смотрѣть, и пѣтъ стремлениія и движенія впередъ. Такова можетъ быть судьба новыхъ учрежденій, разрастающихся съ усложненіемъ общественнаго и гражданско-гражданскаго быта. Такою становится школа, при множествѣ учениковъ, учителей и предметовъ обучения, когда приходится

наполнять ея кадры учителями не приготовленными и неспособными, учительствующими по ремеслу, ради хлѣба: духъ жизни пропадаетъ въ ней, и она становится неспособна образовать и воспитывать юное поколѣніе. Таковъ становится судъ, какъ бы ни были въ немъ усложнены и усовершенствованы *формы* производства, когда опять перестаетъ быть школою для образования крѣпкаго знаніемъ, опытомъ и искусствомъ судебнаго сословія: формы застыгаютъ и мертвѣютъ, а духъ жизни исчезаетъ въ нихъ, и самъ судъ можетъ стать такою же машиной, около которой смѣняются лишь пасмурные работники.

Представленія о власти людей, желающихъ и ищущихъ власти, столь же разнообразны, какъ страсти и желанія человѣческія. Въ массѣ людей, коихъ помышленія сосредоточены на ежедневной жизни, преобладаетъ стремленіе къ *улучшению* своего быта, безъ всякихъ дальниѣшихъ соображеній. Затѣмъ преобладающимъ побужденіемъ къ власти служить *честолюбіе*. Въ каждомъ человѣкѣ свое я, какъ бы ни было мелко и ничтожно, способно къ быстрому и безграничному возрастанію, доходящему у иныхъ до чудовищныхъ размѣровъ: каждый, какъ бы ни былъ малъ, осматриваясь, видитъ около себя еще меньшія величины, усилившія при благопріятныхъ обстоятельствахъ, взобраться на крышу того или другого зданія, и благополучно взирающія съ крыши внизъ на ходячее по землѣ человѣчество. При надлежность къ сому хотя бы „deorum minorum gentium“ соблазнительна для маленькаго человѣка,—а затѣмъ—сколько видится на горизонте зданій всякой величины, и съ маленькаго зданія какъ пріятно высмотреть другую крышу повыше и на нее перебраться—и взглядываться въ дальніе горизонты, па которыхъ красуются „diis majorum gentium“... бывали, вѣдь, примѣры и такого восхожденія!

Таковы поплые пути и теченія, по коимъ ходить и стремится воображеніе малыхъ и среднихъ людей. Изъ нихъ рѣдкій спрашивается себя: кто я, и способенъ ли на то дѣло, которое надѣтъ на меня съ моимъ возвышеніемъ? справлюсь ли я съ нимъ, и какъ буду отвѣтъ за него? И кто ставить себѣ такие вопросы, у того они немедленно потухаютъ въ сіяніи воображаемой славы, и вопрошающему стоитъ только сравнить себя со многими вкругъ его сидящими на кровляхъ, чтобы тотчасъ же успокоиться.

Но, оставляя въ сторонѣ поплые пути,—какъ разнобразны и чистыя, возвышенія,—но увы! тоже обманчивыя стремлениа къ власти. Два знанія существенно необходимы для *посвященія* человѣка во власть. Одно—вѣковѣчное правило: „*познай самого себя*“, другое—„*познай окружающую тебя среду*“. То и другое необходимо для того, чтобы человѣкъ могъ сознательно опредѣлять волю свою и дѣйствовать,—дѣйствовать па воли человѣческія и двигать событія—въ какой бы ни было обширной или тѣсной сфере. Дѣйствованіе совершается въ мірѣ реальностей; законы разума суть въ то же время законы природы и жизни. Кто не знаетъ этихъ законовъ, не обращаетъ на нихъ вниманія, не примѣняется къ нимъ, тотъ не способенъ дѣйствовать.

Но воображеніе человѣка, воспитанное лишь на отвлеченныхъ стремленияхъ души, хотя бы самыхъ возвышенныхъ, но не воспитанное па реальностяхъ,—возводя па высоту духъ человѣческій, побуждаетъ человѣка представлять себя способнымъ на дѣйствованіе, рисуя передъ нимъ заманчивыя картины правды и блага. Такъ вырастаетъ въ человѣкѣ обманчивая увѣренность въ себѣ, и мало по малу можетъ вырасти въ увѣренность *въ свое призваніе*. А когда съ этимъ соединяется еще вѣра въ пѣкоторыя общія положенія и аксиомы, которыя, дѣйствуя будто бы сами по себѣ,

требуютъ только примѣнія къ отношеніямъ человѣческимъ, и сами по себѣ способны устроить въ нихъ порядокъ и правду,—тогда эта увѣренность принимаетъ характеръ догматизма и, раздражая душу, пораждастъ въ ней страстное стремленіе къ власти, во имя высшаго начала правды и блага, а въ сущности все таки во имя своего разросшагося я.

Я буду *приказывать*—мечтастъ иной искатель власти, и слово мое будетъ творить чудеса,—мечтастъ, воображая что одно властное слово, подобно магическому жезлу, само собою дѣйствуетъ. Но—бѣдный человѣкъ! прежде чѣмъ приказывать, научился ли ты *повиноваться*? Прежде чѣмъ изрѣкать слово власти, умѣешь ли ты выслушивать и слово приказанія и слово возраженія? Пропшелъ ли ты пиколу служебнаго долга, въ которой каждый человѣкъ, на извѣстномъ мѣстѣ, къ извѣстному времени долженъ исполнить вѣрно и точно извѣстное дѣло, въ связи съ сѣстью множества дѣлъ другимъ порученныхъ? Научился ли ты понимать, что приказъ—это не Миперва, вдругъ выпедшая изъ головы Юпитера, какимъ ты воображаешь себя, а крайнее звено, разумно связанное съ цѣпью другихъ звеньевъ, съ логическою цѣпью причины и послѣдствія?

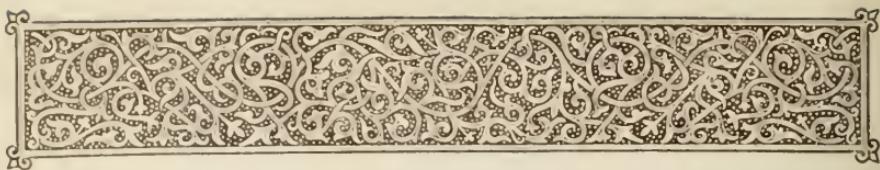
Иному благожелательному человѣку—воображеніе представляеть картину благодѣяній: ему такъ хочется творить добро и служить орудіемъ добра. Увы! для того чтобы умѣть дѣлать добро—мало быть добрымъ человѣкомъ. И тотъ, кто благодѣтельствуетъ, по Евангельской заповѣди *изъ своего имущества*, и тотъ наконецъ удостовѣряется собственнымъ опытомъ, что дѣлать добро человѣку—добро, въ истинномъ значеніи этого слова,—очень мудреная и тягостная наука. Во сколько разъ труднѣе она, когда приходится творить добро *изъ фонда власти*, которою облечень человѣкъ. Хоропю, когда, думая о себѣ и о своей власти,

онъ ни на минуту не забываетъ, что власть принадлежить ему ради общественнаго блага и для дѣла государственнаго; что въ сферѣ его влиятнаго дѣйствованія запасъ данной ему силы не можетъ и не долженъ обращаться въ *роя изобилия*, изъ котораго сыплются во всѣ стороны щедрые дары, многообразныя награды, и что данное ему отъ государства право судить о достоинствѣ лицъ, о правотѣ дѣлъ и о нуждахъ требующихъ помощи и содѣйствія, не можетъ и не должно превращаться въ рукахъ его въ *право патронатства*.

Но соблазнъ великъ—и для доброго и,—прибавимъ, для тицеславнаго человѣка—а оба эти качества не рѣдко соединяются!—какъ сладко быть патрономъ, встрѣтить со всѣхъ сторонъ привѣтливые и благодарные взгляды! Увлеченіе этою слабостью можетъ довести власть до крайняго разслабленія, до смышенія достоинства и способности есть тупостью и низостью побужденій, до развращенія подчиненныхъ общую погоней за мѣстами, общую похотью къ почестямъ, наградамъ и денежнымъ раздачамъ.

Первый законъ власти: „*мѣрило праведное*“. Оно даетъ силу судить каждого по достоинству и воздавать каждому должное, не ниже и не свыше его мѣры. Оно научаетъ соблюдать достоинство человѣческое въ себѣ и въ другихъ, и различать порокъ, котораго терпѣть нельзя, отъ слабости человѣческой, требующей снисхожденія и заботы. Оно держитъ власть на высотѣ ея призванія, побуждая вдумываться и въ людей и въ дѣла имъ порученные. Оно даетъ крѣпость велѣнью, исходящему отъ власти, и властному слову присвоиваетъ творческую силу. Кто утратилъ это мѣрило своимъ равнодушіемъ и лѣнностью, тотъ забылъ, что творить дѣло *Божіе*, и творить его съ *небреженіемъ*.





Изъ Карлайля.

І.

Дѣтство.

Счастливая пора дѣтства! Благодатная природа, всѣмъ ты добрая мать; и вотъ, юному своему питомцу подготовила ты уютное гнѣздо любви и надежды безконечной, и тутъ выростаетъ онъ и дремлетъ, убаюкиваемый сладкими снаами! Подъ кровомъ родительскимъ пріютъ нашъ и папа ограда; тутъ отецъ—и пророкъ, и священникъ, и царь нашъ, и въ послушаніи находимъ мы свободу. Юный духъ только что возникъ изъ вѣчности и не знаетъ еще того, что зовется у насъ *временемъ*: время для него покуда не потокъ быстро текущій, а веселый, ярко блестящій на солнцѣ океанъ; годы—что вѣка для ребенка,—ему еще певѣдомы тайны горькой заботы, тайны то быстрого, то медленного стремления несущейся куда-то вселенной,—и вотъ, въ этомъ неподвижно пребывающемъ мірѣ вкушаетъ онъ то, чего на вѣки лишины мы въ кипучемъ водоворотѣ нашего міра—вкусаетъ сладость—покоя. Спи, почивай покуда, милое

дитя!—випереди, и уже не далеко, ждетъ тебя долгій и тяжкій путь твой. Еще немного,—и сонъ твой кончится,—и самые сны твои станутъ отраженіемъ жизнепой борьбы, и нопятно будетъ тебѣ слово стараго мудреца: „Какой покой! Будетъ еще цѣлая вѣчность—поконться“.

Небесный пектаръ сладкаго забвенія! Нирръ можетъ покорить вселенную, Александръ—разорить цѣлый міръ—и они тебя не добудутъ;—но вотъ ты, самъ собою, тихо сходишь на уста и на очи и на сердце всякаго младенца, сына своей матери. И сонъ и пробужденіе для него—едино! Прекрасный Эдемъ жизни убаюкиваетъ его, не переставая, шелестомъ своихъ листьевъ, и вокругъ него всюду ароматъ росы небесной и роскошный цвѣтъ надежды...

II.

Простое правило жизни.

Убѣжденіе, какое бы ни было чистое и возвышенное, ничего не значить, если не обращается въ жизнь самимъ дѣломъ. И до тѣхъ поръ нельзя даже признать дѣйствительность убѣжденія, ибо одно разсудочное мнѣніе—по природѣ своей—безгранично, безформенно, пучина посреди множества пучинъ: одна лишь несомнѣнная достовѣрность опыта приводитъ его сознательно къ средоточію, около коего, обращаясь, образуется опо въ систему. Есть истинное слово мудреца: „Всякое сомнѣніе однимъ только устраивается—дѣйствиемъ“. Итакъ, если кто изнываетъ болѣзнико въ тускломъ мерцаніи певѣриаго свѣта и молитъ изъ глубины душевной о томъ, чтобы свѣтъ дневной озарилъ его изъ потемокъ, пусть приметъ къ сердцу другое, без-

цѣпное и спасительное правило: „дѣлай дѣло, которое всего тебѣ ближе, и въ которомъ самый ближній *долженъ* твой“. Дѣлай его—за нимъ объявится другой, послѣдующій долгъ, и все станеть ясно.

III.

Воспитаніе.

Какія бы ни были училища и семинаріи для образования людей къ дѣятельности, какіе бы ни были курсы учительства, проповѣдничества, миссіонерства, для всѣхъ одно правило:—пріучать молодыя души, чтобы умѣли приказывать и умѣли повиноваться. Мудрость приказанія, мудрость послушанія, способность къ тому и другому—вотъ истинная, вѣриная мѣра культуры и доблести человѣческой—для каждого, кто бы онъ ни былъ: всякое добро—въ обладаніи этими обоими качествами; всякое зло, всякая неудача и пагуба въ отсутствіи этихъ качествъ. Кто умѣетъ приказывать и повиноваться—тотъ годный человѣкъ; кто не умѣетъ, тотъ негодный. Если наши учителя, наши проповѣдники въ своихъ семинаріяхъ, академіяхъ, соборахъ, воспитываютъ людей для этихъ качествъ, вѣрио будетъ ихъ слово, право и дѣйствительно; если пѣть,—то пѣть въ немъ правды.

IV.

Дѣло.

Смотри и вдумывайся, какое дѣло ты, ты именно, можешь дѣлать: первая задача для каждого человѣка—найти для себя, какое дѣло можетъ опь дѣлать въ этомъ мірѣ.

Для этого самого рождается всякий человекъ—и сегодня, и во всѣ времена. Онъ рождается для того, чтобы всю силу, какую далъ ему Всевышній Богъ, употребить на то дѣло, на которое онъ способенъ: стоять на немъ до послѣдняго издыханія и дѣлать его какъ можно лучше. Всѣ мы къ этому призваны—и за то всѣмъ намъ вѣриая награда, если заслужимъ,—награда въ томъ, что мы сдѣлали свое дѣло или по крайней мѣрѣ всячески старались сдѣлать. Это—само по себѣ великое благо, и можно сказать, лучшей награды нечего намъ ждать на этомъ свѣтѣ. „Имуще пищу и одѣяніе, сими довольны будемъ,” а затѣмъ не все ли равно, что ты издержалъ на это—семьдесятъ ли тысячъ, семь ли миллионовъ или семь сотъ! Въ сущности, для мудрой души, разница не велика.

Главное счастье, какого можетъ желать себѣ мудрый человекъ—счастье имѣть дѣло на рукахъ и сдѣлать его. „Нечего Ѣсть”—плачеть человекъ, но первый плачь его такой: „нечего дѣлать”. Несчастье человѣку въ томъ, что дѣлать не можетъ, не можетъ совершить судьбу свою человѣческую. Быстро пролетаетъ день, быстро жизнь пролетаетъ—ночь подходитъ, ночь. *вѣ нюжне никтоже можетъ дѣлами.*

Что ты дѣлалъ, человекъ, какъ ты дѣлалъ? Счастье твое, несчастье твое,—вѣдь это было твое *жалованье*—и все его ты истратилъ на житѣе свое—ни копейки не осталось. А дѣло-то, дѣло? Гдѣ оно у тебя?

И когда бы не былъ человекъ такимъ голоднымъ скитальцемъ—не сталъ бы плакаться на свое жалованье, плакалъ бы скорѣе на себя, что онъ сдѣлалъ съ своимъ жалованьемъ.

V.

Р е л и г і я.

Церковный обрядъ—это одежда, форма, въ которой люди въ разныя времена воилющали для себя *религиозное начало*, выражали идею *Божественного* въ мірѣ, облекая ее въ живое и дѣйственное тѣло, чтобы она могла обитать между нами, облекая словомъ, живымъ и животворящимъ.

И выразить нельзя, что значитъ для человѣчества это *одѣяніе* жизни, важиѣе и необходимиѣе всѣхъ одеждъ и украшений жизни человѣческой. Соткано и сработано оно—*обществомъ*: только тамъ, гдѣ „собраны двое или трое“, только тамъ религія, таящаяся въ духѣ, неистребимо, у каждого, является во вѣнчанемъ выраженіи и стремится воплотить себя въ видимомъ общеніи воинствующей церкви. Таинственно и чудодѣйственно это общеніе одной души съ другою—въ стремлениіи къ небу: только въ этомъ стремлениіи, а не въ стремлениіи книзу, къ землѣ, становится союзъ взаимной любви, образуется общество. Взглянетъ человѣкъ въ лицо брату, встрѣтить взглядъ его—ласковый, привѣтливый, любовный—или распаленный гибромъ и пенавистью,—и вотъ душа, дотолѣ спокойная, невольно сама загорается тѣмъ же огнемъ, и отражаясь отъ одного къ другому, огонь выростаетъ въ безпредѣльное пламя—либо пылкой любви, либо смертельной ненависти: вотъ какая чудесная сила течетъ отъ человѣка къ человѣку. И если такъ дѣйствуетъ эта сила на тѣсныхъ путяхъ земной пашни жизни,—каково должно быть ея дѣйствіе въ стремлениихъ къ жизни небесной, когда одна душа входитъ въ общеніе съ другою душою въ самой глубинѣ своего внутренняго я.





Гладстонъ объ основахъ вѣры и невѣрія.

(The Impregnable Rock of Holy Scripture).

Невѣріе ссылается на заблужденіе, на невнимательность, на несостоительность въ людяхъ вѣрующихъ: правда,— и это служить тяжкимъ затрудненіемъ къ укрѣпленію вѣры.

Когда, увлекаясь идеей о благодати и милости Божіей, мы забываемъ неизмѣнную Его правду и правосудіе; когда, прославляя несказанное Его милосердіе въ оставленіи грѣховъ, опускаемъ то, что состоить въ неразрывной связи съ прощеніемъ—глубокое проникающее дѣйствіе его на прощенную душу,—то этимъ уже однимъ мы создаемъ для всей системы христіанскаго ученія опасности—больше тѣхъ, какія создаются его врагами. Но еще того хуже. Еще хуже, когда вѣрующій во Христа держитъ Его ученіе, не думая осуществлять его въ своей жизни;—а хуже всего, если, держась ученія, онъ не только увлекается въ обыкновенный слабости или излишества человѣческой природы, но презираетъ или пренебрегаетъ такія основыя начала естественной правдивости, противъ коихъ самый порокъ рѣдко осмѣливается спорить. Учрежденіе семейнаго союза, правдивоп-

ная связь между членами семьи, природа мужчины и женщины, отношение каждого человѣка къ душиѣ своей, которая ввѣрена ему Богомъ, чтобы познавать ее, чтиль ее, очищать и святить ее: все это установлено законами самыми древними, самыми коренными, самыми священными. Всякій прогрессъ повѣряется и испытывается сообразностью съ этими нерушимыми, хотя и неписанными, уставами: по этой мѣрѣ можемъ распознать, дѣйствительный ли это прогрессъ или обманчивый, ложный, и самое христіанство не было бы христіанствомъ, если бы способно было колебать эти священные уставы.

Переходимъ къ отрицателямъ вѣры. Отрицаніе признаетъ своимъ источникомъ исключительно—разумъ; это вѣрио лишь отчасти. Говорять, напримѣръ, о причинахъ невѣрія, что такие доктрины, какъ троичность, воплощеніе, таинства, Страшный Судъ—оказываются положительно невыполнимы для просвѣщенной мысли современного человѣчества. Меня же все приводитъ къ убѣждению, что главная причина, содѣйствовавшая возрастанію въ наше время отрицательныхъ ученій,—не интеллектуальная, а нравственная, и что ее слѣдуетъ искать въ возрастающемъ преобладаніи материальнаго и чувственнаго надъ сверхчувственнымъ и духовнымъ.

Пожалуй, такому мнѣнію могутъ приписать певавистиный характеръ, назвать его фарисействомъ, въ худшемъ значеніи этого слова; могутъ истолковать его въ такомъ смыслѣ, будто отъ силы и твердости доктринальныхъ положений зависятъ у каждого отдельного лица и возвышенность нравственного характера. Такое мнѣніе было бы совсѣмъ невѣрио и противорѣчило бы ежедневному опыту жизни. Я имѣю въ виду совсѣмъ иное. Я говорю о томъ, что относится не до того или другого человѣка въ отдельности,

но до всѣхъ нась. Мы совершенно измѣнили мѣру нуждъ и потребностей; мы размножили чрезвычайно желанія свои и похоти; мы установили для себя новыя соціальные преданія, преданія, которыя безсознательно образуютъ и руководствуютъ нась, независимо отъ предварительного сознанія и выбора. Мы создали новую атмосферу, котрою дышемъ, такъ что дѣйствіемъ ея и входящихъ въ нее элементовъ безсознательно преобразуется весь нашъ составъ. Это не значитъ, что насть создаетъ окружающая среда, такъ какъ въ насть есть сила размышенія и разсужденія. Но этою силой мы мало пользуемся, мало приводимъ ее въ дѣйствіе, такъ что окружающая насть атмосфера, данная мѣра жизни, воспринимается нами естественно, безъ разсужденія: съ этимъ запасомъ каждый изъ насть предпринимаетъ свое страпострваніе въ мірѣ, и онъ руководствуетъ жизнь нашу, за исключениемъ рѣдкихъ случаевъ, когда — гнусный видъ порока съ одной стороны, или видъ христіанского подвига съ другой стороны, побуждаютъ насть избрать для себя особливую мѣру жизни и дѣятельности. Но и то и другое совершаются въ кругу принятаго мнѣнія, такъ что одпо мѣшается съ другимъ, и, глядя на людей въ образѣ жизни ихъ и поведенія, приходится видѣть людей высокой добродѣтели съ малою вѣрой, и людей крѣпкой вѣры, по плохой добродѣтели. Такъ, въ сферѣ общественнаго мнѣнія, можетъ казаться, что и свобода, и правда одинаково сходятся и съ право вѣрюющими, и съ невѣрными.

Главная причина этой поразительной, даже страшной, несообразности, заключается, безъ сомнѣнія, въ томъ, что къ каждому изъ насть лично вѣра пришла не путемъ борьбы, жертвы, крѣпкаго убѣжденія,— но пришла, какъ все почти, что мы имѣемъ, легкимъ способомъ,— по рожденію и наслѣдству, черезъ другихъ, а не отъ себя самихъ,— какъ дѣло

естественное, а не какъ дѣло выбора и усиля,—такъ что и сидѣть оно на насъ, какъ вѣшняя одежда, а не пропи-
каетъ насъ, какъ начало и сила дѣйственная.

Но, съ другой стороны, неоспоримо вѣрио, что го-
сподственное преданіе въ атмосферѣ нашей есть преданіе
христіанское. Имъ однимъ содѣлано возможнымъ то, что
безъ него осталось бы недостижимо. Оно одно, это преда-
ніе, тихо и неощутительно вноситъ во многія души и ха-
рактеры, не только у вѣрующіхъ, но и у невѣрующіхъ
людей, идеи о добродѣтели, самоотверженіи и филантропіи,
вмѣстѣ съ силой сообразнаго дѣйствованія. Многіе люди,
не отрицающіе христіанской вѣры, не знаютъ сами, гдѣ,
когда и какъ научились они ея держаться; точно также
многіе, отступившіе отъ христіанской вѣры, не сознаютъ,
что самое высокое въ мысли ихъ, въ духовной природѣ и
въ дѣйствіи—плодъ христіанства. Чѣмъ значитъ новоизобрѣ-
теннное слово *альtruismъ?* По своему значенію—это просто
вторая великая заповѣдь христіанского закона, „подобная
первой“. По формѣ—это маска, прикрывающая мысль заим-
ствованную, такъ что иные и не догадаются, гдѣ ея истин-
ный источникъ. И совершился этотъ подлогъ не съ пони-
маниемъ, а безсознательно.* Въ нашемъ достояніи—ко-
дексъ христіанской правдивости, коимъ постепенно про-

* Кстати при этомъ замѣтить, что у насъ, по привычкѣ орудовать
новыми иностранными словами, вошло уже въ неразумное употребленіе
и это слово „альtruismъ“, и ставится, какъ понапало, даже въ примѣненіи
къ любви христіанской. При водворившейся расплещенности слова, ору-
дуютъ этимъ терминомъ и молодые духовные писатели, что уже совсѣмъ
непростительно. Его почерпаютъ изъ чтенія новыхъ философскихъ со-
чиненій (Спенсеръ и т. п.), переведенныхъ на русскій языкъ; но нельзя
забывать, изъ какого источника происходитъ и съ какою системой мы-
шленія связанъ этотъ терминъ, совсѣмъ неприложимый къ понятію о
любви христіанской.

никлись наши учреждения и обычай, и онь такъ слился съ обычною нашей жизнью, что затмилась самая память о божественномъ его происхождении, какъ будто это законное наследие, утвержденное за нами давностью. Мы поймемъ, что сдѣлало для насть христіанское преданіе, когда присмотримся къ нравственному кодексу у тѣхъ народовъ, кои не имѣли этого преданія. Стойть указать на примѣръ Грековъ въ пятомъ столѣтіи до Р. Х. или Римлянъ въ эпоху Р. Х.: у тѣхъ и у другихъ увидимъ поразительный упадокъ нравственности, хотя въ то же время поражаетъ насть блестящее интеллектуальное развитіе у однихъ, а у другихъ превосходство организаторскаго политического гenія.

Въ нашъ вѣкъ мы видимъ передъ собою усилившееся господство видимыхъ вещей и, по мѣрѣ того, умаляющееся значеніе вещей невидимыхъ. Въ теченіе всей исторіи человѣчества невидимое и, перазлучное съ нимъ, сознаніе будущей жизни было въ постоянномъ состязаніи съ вещами видимаго міра.

Текущая половина пыльного столѣтія рѣзко отличается отъ всѣхъ прошедшихъ вѣковъ исторической жизни человѣчества, въ двухъ отношеніяхъ: никогда не бывало такого размежеванія богатства и вмѣстѣ съ тѣмъ размежеванія наслажденій, богатствомъ доставляемыхъ: то и другое—явленія отдельныя, но совмѣстныя и нравственно между собою связанныя... Очевидно, до математической достовѣрности, что усилившееся дѣйствіе всякой мірской прелести разстраиваетъ равновѣсіе бытія нашего, доколѣ не будетъ уравновѣшено усиленіемъ дѣйствіемъ духовныхъ влечений и стремлений. Откуда же возмутятся эти духовныя силы? Страшно признаться, что въ тѣхъ сферахъ, которыя доступны нашему взору, не видно такого притяженія духовныхъ идей и побужденій, которыя могли бы служить неревѣсомъ усиливающимся мірскимъ похотямъ и стремленіямъ. А когда

міръ невидимый и сродныя съ нимъ идеи утрачиваютъ свою притягательную силу,—то вмѣстѣ съ симъ, и пепремѣнио, и вѣрованія, принадлежащія къ этой сферѣ невидимыхъ соотношеній, тускнѣютъ, и привлекательная сила ихъ ослабляется. Матеріализмъ, какъ положительная система, не думаю, чтобы пріобрѣталъ государственное значеніе; эта система, по своей конструкціи, лишена, по мнѣнію моему, той интеллектуальной силы, какая нужна для цѣльного учения. Но совсѣмъ иное дѣло—безмолвное, тайное, безсознательное дѣйствіе матеріализма: сила его громадная. Помнится, Максъ Миллеръ сказалъ, что безъ языка невозможно мышленіе,—и это вѣрно въ отношеніи ко всякому мышленію, организованному и сознательному. Но въ природѣ человѣческой таится множество неразвитыхъ, зачаточныхъ силъ, впечатлѣній, извѣсній воспринимаемыхъ и падающихъ на сродную почву внутри: все это никогда не выростаетъ до зрѣлости, не выливается въ членораздѣльную рѣчь и не получаетъ опредѣленнаго вида въ нашемъ сознаніи.

И вотъ, я думаю, что въ настоящую минуту эти не высказанныя и не испытанныя движения—не столько ума, сколько похоти, или, если легче выразиться, наклонности, всѣ эти—не мысли, а обрывки мыслей,—дѣйствуютъ около насъ и въ насъ; и, еслибы можно было перевести ихъ на языкъ и выразить въ словѣ, они сложились бы въ извѣстное, издревле во всѣхъ вѣкахъ бывшее, вульгарное представление о томъ, что—въ концѣ-концовъ—видимый міръ есть одно, что мы извѣстно знаемъ, и что всякое дѣло, стоящее труда, всякая забота, стоящая попеченія, всякая радость, имѣюща цѣну въ этомъ мірѣ,—въ немъ начинаются и съ нимъ же для насъ кончаются... Мы знаемъ, какъ сильны низшія наклонности человѣческой природы, и совершенно естественно, что, кому улыбается мірская жизнь, у того, слишкомъ часто

на ряду съ возрастающимъ тяготѣніемъ къ земному центру, незамѣтно поражаются бѣзспiемъ стремлениія къ внутренней жизни. И понятно, что при этомъ пораженіи духовныхъ стремлений, къ душѣ легче и удобнѣе приражается все то, чѣмъ подрывается авторитетъ слова Божія, или великихъ христіанскихъ преданій, все то, чѣмъ, въ разныхъ путяхъ, отстраняется, ослѣняется ощущеніе присутствія Божія, заглушаются упреки внутренняго голоса совѣсти. Итакъ, напрасно искать корень зла въ наукахъ, дѣйствительной или мнимой, даже въ заблужденіяхъ и невѣрностяхъ вѣрующихъ людей, на которыхъ и не право ссылается певѣріе. Нѣть, не то: возрастающая въ насть сила чувственныхъ и мiрскихъ влечений и побуждений,—вотъ что даетъ невидимаго союзника всякому аргументу сомнѣнія и певѣрія, чего-бы онъ въ существѣ ни стоялъ; вотъ что пріобрѣтастъ массу учениковъ отрицательнымъ ученіемъ. Человѣкъ воображаетъ, что, давая волю сомнѣнію, онъ слѣдуєтъ изысканію истины, а въ сущности онъ только мирволитъ пизнимъ наклонностямъ своей природы; имъ уже овладѣли онъ, а онъ еще усиливаетъ ихъ, допуская новыхъ имъ союзниковъ безъ всякой повѣрки титула ихъ и права. Идеи, въ основаніи своемъ слабыя, подталкиваются наклонностью, которая непремѣнно сильна. Итакъ въ душѣ зачинается будто тайный заговоръ, и выѣзываютъ въ ней на бой два витязя, одинъ съ открытымъ лицомъ, а другой съ опущеннымъ забраломъ.

Христіанская вѣра поражаетъ христіанское преданіе, образуя идеи и образъ жизни и поведенія. Люди не отрицаютъ самыя правила этого преданія—отрицаютъ лишь источникъ происхожденія правилъ. Является сначала великий мыслитель, человѣкъ высокой нравственности: онъ благочестивъ и проповѣдуетъ благочестіе,—но не признаетъ догмы. Другой дѣятель, слѣдующій за нимъ, идетъ на томъ же

и отъ еще далѣе — восхваляетъ правдивость, отвергая благочестіе. А противу-нравственная, противу-духовная сила, во всѣхъ наасъ скрыто-дѣйствующая, обольщаючи видомъ добра, подъ коимъ тантся начало разрушенія, — помогаетъ относиться спокойно къ новой проповѣди и даже пѣть хвалу ей хоромъ. Аргументъ скептической мысли въ дѣйствительности не что иное, какъ прививокъ, получившій жизнь и силу отъ мощнаго и крѣпкаго дерева, къ которому привитъ.

Итакъ, по моему мнѣнію, несомнительно, что главною причиной, почему скептицизмъ въ наше время получилъ такое распространеніе и такую силу, служитъ чрезвычайное развитіе мірскихъ силъ и побужденій впутри наасъ и въ средѣ нашей. Но это относится не столько къ офицерамъ и солдатамъ арміи, къ людямъ, серьезною работой мысли изслѣдующимъ предметы, надъ коими сами они тяжко задумываются, — сколько къ массѣ, которая безъ труда присоединяется къ хору послѣдователей новыхъ ученій. Мнѣнія свои человѣкъ отчасти составляетъ самъ и отчасти заимствуетъ изъ окружающей среды. Мыслящій человѣкъ самъ въ себѣ ихъ вырабатываетъ, — хотя и на него дѣйствуютъ скрытые вліянія, безсознательно; немыслящій черпаетъ ихъ изъ окружающей среды, или вполнѣ или болышею частью. А среда, — какъ всякому известно, — вмѣщаетъ въ себѣ идоловъ, образы, тѣни и привидѣнія проходящаго дня.

Но я долженъ оговориться. Мои замѣчанія имѣютъ въ виду особливое и, можетъ-быть, безпримѣриое донынѣ состояніе, въ коемъ множество людей подвергаютъ сомнѣнію основанія нашей вѣры и авторитетъ священныхъ книгъ нашихъ, не испытывая ни благовременности столь серьезнаго дѣла, ни своей къ нему способности. Во всѣхъ другихъ предметахъ требуется, чтобы человѣкъ имѣлъ

зпаніе или показалъ бы его, но въ дѣлахъ вѣры ничего того не требуется, а всякий предполагается знающимъ.

Христіанская вѣра воспринимается сердечнымъ сочувствіемъ и согласiemъ: сердцемъ вѣруется. Съ другой стороны, всякий человѣкъ, въ какомъ бы ни былъ положеніи, основываетъ, разумно, даже необходимо основываетъ дѣйствія и событія своей жизни, главнымъ образомъ, на вѣрѣ; безъ сомнѣнія на свободной и разумной, но все-таки на *вѣрѣ*, — иногда на преданіяхъ рода своего и племени. Всякий, кто занимаетъ отвѣтственное положеніе въ этомъ мірѣ, большое или малое, сознательно или безсознательно, дѣйствуя за себя, въ то же время дѣйствуетъ для другихъ; для другихъ и вмѣсто другихъ приобрѣтаетъ и испытываетъ убѣжденія, повѣряетъ материальные факты, имѣющіе значеніе для человѣческой жизни, — такія убѣжденія и представлія, которыя не всякий человѣкъ, по условіямъ своей жизни, можетъ установить и испытать самолично. Лучше, конечно, еслибы каждый могъ это исполнить для себя, самостотельно, — но не у всякаго есть для этого и случай, и способность. А гдѣ того и другого нѣть, — что слишкомъ часто случается, — тамъ не слѣдуетъ человѣку обманывать себя, будто онъ съ чужихъ словъ приобрѣлъ себѣ свое убѣженіе.

Но не подлежитъ сомнѣнію, что въ наше время, едва ли не больше, чѣмъ прежде, множество мужчинъ и женщинъ, безъ всякой способности и безъ всякой для себя нужды, подвергаютъ сомнѣнію вѣру, которой, по старому преданію, держались. Для нѣкоторыхъ изъ насъ, по расположению и образованію ума, по свойству званія, по роду занятій, представляется и разумнымъ, и даже необходимоымъ — подвергать изслѣдованию великое историческое откровеніе, въ исторической обстановкѣ и въ его отношеніяхъ къ характеру и состоянію человѣка. Этотъ процессъ изслѣдованія самъ по се-

бѣ — дѣло прямое и законное; и мы знаемъ, что дѣйствіе его въ теченіе многихъ вѣковъ на великие умы приводило вообще къ положительнымъ результатамъ и въ концѣ-концовъ еще усиливало авторитетъ Священнаго Писанія.

Однако, въ примѣненіи къ массѣ людской, разумъ удостовѣряетъ насъ, что всякому человѣку свойственно держаться преданія и предполагать его истиннымъ, покуда нѣтъ серьезнаго основанія усомниться въ немъ. Таково правило здраваго смысла, принятое въ обыкновенной жизни. Въ предметахъ преданія не вѣра, а сомнѣніе должно было бы во всякомъ случаѣ становиться въ защиту и предъявлять свои документы,—хотя бы не въ смыслѣ доказательства, а лишь въ смыслѣ разумнаго вѣроятія. Но неиспытанное сомнѣніе, которому такъ часто удается свѣтъ гнѣзда въ умахъ нашихъ,—есть владѣлецъ безъ документа, опасный и незаконный гость. Незамѣтно и помимо всякаго опроса, онъ вдругъ вступаетъ въ роль доказанаго отрицанія, обезсиливаетъ въ насъ дѣйствованіе, наводитъ тѣнь на чувство долга и на сознаніе присутствія Божія во всѣхъ путяхъ нашихъ, ослабляетъ пульсъ нашего нравственнаго здоровья. Сомнѣніе можетъ освободить, или можетъ поработить насъ; но оно должно быть непремѣнно или другомъ, или врагомъ нашихъ: нейтральнымъ оно быть не можетъ. Тѣ сомнѣнія, коихъ испытать нельзя, если дать имъ мѣсто, отражаются и на вѣрѣ нашей, и на поведеніи. А изслѣдованія недостаточны, мнимыя, служать лишь новымъ искушеніемъ на пути долга; если уже предпринимать изслѣдованіе дѣйствительное, то оно должно стать для насъ священнымъ долгомъ. Минимое изслѣдованіе есть одно лишь обольщеніе; подъ предлогомъ его, мы становимся жертвою предразсудка, моды, наклонности, похоти, лукавыхъ винушкій мірскаго духа, всякихъ многообразныхъ искушений. Каждый человѣкъ призванъ уста-

новить мѣру своего поведенія въ своей сферѣ: задача высокая, но и трудная, столь трудная, что никто не можетъ выполнить ее въ совершенствѣ. Долгъ не обязываетъ насъ дѣлать выводы и заключенія о судьбахъ міра, о свободѣ воли,—тѣмъ менѣе еще, погружаться за этими предѣлами въ глубину и во мракъ размышилений, которыхъ все сводятся къ одной пепроницаемой проблемѣ о существованіи и о дѣйствіи зла въ здѣшнемъ мірѣ. Вѣра христіанская и Священное Писаніе вооружаютъ насъ средствами пересиливать и отражать приступы зла извѣй и внутри насъ. Вотъ единственное практическое решеніе задачи. Пусть окутана туманомъ вся страна, окружающая насъ, по нашу дорожку можемъ мы разобрать часъ за часомъ, день за днемъ, шагъ за шагомъ. Умозрительное разсужденіе, если оно безцѣльно, становится самочинно, возвышаясь надъ предметомъ умозрѣнія; а самочинное, гордое умозрѣніе о дѣлахъ, о промышленіяхъ Божіихъ, для людей вѣрующихъ въ Бога, есть само по себѣ грѣхъ. Оставить лежащій на каждомъ изъ насъ долгъ управлять собой и своимъ поведеніемъ, обращая работу ума и сердца на такие предметы, которые для насъ обязательны, лишь поколику могутъ быть нужнымъ для особливаго дѣла нашего и призванія,—значить, въ нравственномъ смыслѣ, уѣѣгать отъ сущности въ голодъ. Похоже на то, какъ если бы кто, владѣя лишь разбитою посудиною, собирался накормить и напоить изъ нея всѣхъ своихъ со-сѣдей.

Но если признать, что никто легкомысленно, не имѣя ни способности, ни духовной нужды, не долженъ вступать въ изслѣдованіе вѣры, и что во всякомъ изслѣдованіи такое сомнѣніе не имѣетъ права требовать доказательствъ отъ самой вѣры,—надобно вмѣстѣ съ тѣмъ помнить, что всякое религіозное изслѣдованіе, хотя оно и возбуждаетъ взаимныя

пререканія, нельзя сравнивать съ процессомъ между равноправными сторонами тяжущихся, или съ битвою двухъ полководцевъ за спорную территорію. Спаситель нашъ Христосъ возбудилъ въ народѣ удивленіе тѣмъ, что, оставляя въ стороны всѣ хитросплетенія и наросты учений, омрачавшіе образъ вѣры, учили народъ „яко власть имѣяй, а не яко книжники и фарисеи“,—училю со властію, то-есть, имѣя право повелительное и силу повелительную. Когда Богъ даровалъ намъ откровеніе воли Своей—и въ законахъ природы нашей, и въ царствѣ благодати, это откровеніе не только просвѣщаетъ насъ, по и повелительно обязываетъ. Справедливо и необходимо, что, подобно вѣрительной грамотѣ земного посланника, и вѣрительная грамота этого откровенія должна быть испытана. Но если, бывъ испытана, она оказывается подлинною, если эта подлинность подтверждается такими же доказательствами, какія въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ жизни обязательно принимаетъ нашъ разумъ,—тогда нельзя уже намъ считать себя самостоятельными судьями, погруженными въ вольное изслѣдованіе; тогда уже мы—служители Владыки, ученики Учителя, дѣти Отца, и каждый изъ насъ связанъ узами этихъ отношеній. Тогда уже и глава и колѣна должны преклониться предъ Вѣчнымъ Богомъ, и человѣкъ долженъ обнять Божественную волю и слѣдоватъ ей всѣмъ сердцемъ, всѣмъ помышленіемъ, всей душой и всею кротостію своею.





Дѣла и дни.

(Emerson. Society and Solitude).

Нашъ девятнадцатый вѣкъ—вѣкъ орудій. Ихъ производить изъ себя наша организація. „Человѣкъ—мѣра всѣхъ вещей, говоритъ Аристотель; рука—инструментъ всѣхъ инструментовъ, а разумъ—форма всѣхъ формъ“. Тѣло человѣческое—магазинъ изобрѣтеній, кладовая образцовъ, съ которыхъ сняты всевозможные механизмы, какіе только придуманы. Всѣ орудія и машины не что иное, какъ распространеніе членовъ и ощущеній этого тѣла. Человѣка можно опредѣлить такъ: „разумъ со служебными органами“. Машина помогаетъ природному ощущенію, но не можетъ замѣнить его. Вся мѣра—въ тѣлѣ. Глазъ ощущаетъ такіе оттѣнки, которые не въ силахъ уловить искусство. Ученикъ не разстается съ ариѳмомъ, но опытный мастеръ мѣряетъ, безъ ошибки пальцемъ и локтемъ, опытный парядчикъ отмѣряетъ шагами аккуратиѣ, чѣмъ иной—веревкой и цѣпью. Степной индѣецъ, бросая камень изъ пращи, знаетъ, что попадеть какъ разъ въ точку: въ такомъ сочувствіи глазъ у него съ рукою: плотникъ рубить бревно свое по

насъченной липой, ни на волосъ не отступая. Нѣть чувства, пѣть органа, который нельзя было бы довести до самаго тонкаго совершенства въ дѣлѣ.

Дивиться—любимое ощущеніе человѣка, и въ этомъ чувствѣ сѣмѧ нашей науки. Таково механическое направлѣніе нашего вѣка, и такъ еще сѣвѣжи лучшія наши изобрѣтенія, что радость и гордость отъ нихъ еще не износились въ насъ, и мы готовы жалѣть отцовъ своихъ, что они не дожили до пара и до гальванизма, до сѣриаго эѳира и до морскихъ телеграфовъ, до фотографіи и спектроскопа,— какъ будто они бѣднѣе насъ на половину жизни. И кажется памъ, что эти новыя художества открываютъ намъ настежь двери въ будущее, обѣщаютъ одухотворить формою весь материальный міръ и возвести жизнь человѣческую изъ нищеты ся въ богоподобное состояніе довольства и силы.

Правда, и нашему вѣку достался не скучный запасъ въ наслѣдство. Быль уже компасъ, былъ типографскій станокъ, были часы, спиралыя пружины, барометры, телескопы. Но съ тѣхъ поръ прибавилось столько изобрѣтеній, что вся жизнь какъ будто передѣлана заново. Лейбницъ сказалъ о Ньютона: „если счесть все, что сдѣлано математиками съ начала міра до Ньютона, и все, что сдѣлано Ньютономъ, послѣдняя половина превзойдетъ первую“: такъ можно сказать, что сумма изобрѣтеній за послѣдніе 50 лѣтъ поравняется съ итогомъ остальныхъ 50 столѣтій. Новость для насъ—безмѣриое усиленіе производства желѣза и крайнее разнообразіе желѣзного издѣлія; новость—множество самыхъ употребительныхъ и необходимыхъ орудій для дома и для сельского хозяйства; швейная машина, ткацкій станокъ, жатвенная машина Мак-корника, косильная машина, газовое освѣщеніе, фосфорная спички, без-

численнія произведенія химической лабораторіи—все это новости нынѣшняго столѣтія, и порція угля цѣною на одинъ франкъ замѣняеть намъ двадцатидневный трудъ прежняго работника.

Нужно ли поминать о парѣ, пожиратель пространства и времени, о громадной и тонкой силѣ, которая въ большинствѣ приноситъ чаинку съ суномъ къ самой постели больного, гнетъ и илющить какъ воскъ толстый желѣзныя брусья, и мѣрится съ силами, поднявшими и выворотившими геологическіе слои нашей планеты. Чему хочешь, онъ выучится, какъ способный мальчикъ, что хочешь, подниметь на рабочія плечи; но онъ еще далеко не совершилъ всего своего дѣла. Онъ уже ходить по полу какъ человѣкъ и работаетъ всякую работу; поливаетъ нашу инву, срываетъ намъ горы, гдѣ нужно. Но онъ будетъ еще нить намъ рубашки, будетъ возить телѣги и коляски наши; Беббеджъ принялъ уже учить его счету, и научить когда-нибудь вычислять проценты и логарифмы. Лордъ канцлеръ Тюро надѣется, что онъ когда-нибудь станетъ составлять исковыя бумаги и возраженія для канцлерскаго суда. Положимъ, что это сатира, но и сатира будетъ недалеко отъ дѣйствительности, судя по начальнымъ попыткамъ примѣнить парь къ механическимъ дѣйствіямъ, соединеннымъ съ умственнымъ разчетомъ.

Сколько чудныхъ механическихъ примѣнений изобрѣтено для тѣла человѣческаго: для зубныхъ операций, для прививанія оспы, для ринопластики, для усиленія первовъ тонкимъ сномъ новаго изобрѣтенія. Наші инженеры, съ помощью громадныхъ машинъ, подобно кобольдамъ и волшебникамъ, сверлять Альпы, роютъ насквозь Американскій перешеекъ, прорѣзываютъ пустыню Аравийскую. Въ Массачусетсѣ мы побѣждаемъ море, укрѣпляя зыбкій берегъ

простымъ травянымъ растеніемъ, укрѣпили песчаную пустыню—сосновою плантаціей. Почва Голландіи,—самаго населеннаго когда-то края въ Европѣ,—ниже морскаго уровня. Египетъ не зналъ, что такое дождь, въ теченіе трехъ тысячъ лѣтъ: теперь, говорятъ, тамъ бываютъ ливни, благодаря оросительнымъ каналамъ и лѣснымъ плантаціямъ. Древній царь еврейскій сказалъ: „восхвалитъ Бога и яростъ человѣчества“. И въ числѣ доказательствъ единобожія, самое сильное,—это громадность результатовъ, достигаемыхъ самыми обыкновенными дѣлами и средствами.

Кажется, нѣтъ и предѣловъ новымъ откровеніямъ того же духа, который пѣкогда создалъ стихійные элементы, а нынѣ, посредствомъ человѣка, разрабатываетъ ихъ. Искусство и сила и впредь не престанутъ дѣйствовать, какъ дѣйствовали донынѣ—ночь претворять въ день, пространство во время и время въ пространство.

Отъ одного изобрѣтенія рождается другое. Едва обозначился въ умѣ электическій телеграфъ, какъ открылся и матеріалъ необходимый для него—гутта-перча. Съ усиленіемъ торговаго движенія—открыты новые запасы золота въ Калифорніи и въ Австраліи. Когда Европа переполнилась населеніемъ,—открылся запросъ на него въ Америкѣ и въ Австраліи; и такъ, гдѣ ни случается неожиданное явленіе, оно приходится ко времени, какъ будто природа, устроивъ повсюду замки, ко всякому замку устроила и ключъ, который сама помогаетъ отыскать, когда нужно.

Вотъ еще слѣдствіе изобрѣтеній:—умноженіе отношеній между людьми. Оно изумляетъ нась, открывая новые пути къ решенію трудныхъ и запутанныхъ политическихъ вопросовъ. Отношения эти—не новость: только размѣры ихъ новые. Сами по себѣ, мы по чувству эгоизма ухватились бы за рабство, готовы были бы замкнуть четвертую

часть земного шара ото всѣхъ, кто виѣ ся, на чужой почвѣ родился. Наша политика отвратительна; по чому въ силахъ она помочь, чому можетъ помѣшать, въ такую пору, когда первородные инстинкты двигаютъ массами рода человѣческаго, когда цѣлые народы движутся приливомъ и отливомъ? Природа любить скрещивать расы:—германецъ, китаецъ, турокъ, русскій, индіецъ—всѣ стремятся къ морю, вѣжняются между собой и посягаютъ; коммерція приходитъ въ движеніе—и море кипитъ кораблями, которые готовы перевезть съ берега на берегъ цѣлыхъ населеній.

Тысячерукое искусство вошло новымъ элементомъ и въ жизнь государства. Наука власти волею или неволей вынуждена признать власть науки. Цивилизациѣ восходитъ, карабкается—выше и выше. Когда Мальтусъ выводилъ, что число желудковъ умножается въ геометрической, а количество пищи—лишь въ ариѳметической прогрессіи,—онъ забыть прибавить, что разумъ человѣческій—тоже одинъ изъ факторовъ въ политической экономіи, и что съ умноженіемъ въ обществѣ нуждъ умножится и сила изобрѣтенія.

Для потребностей общественпаго быта у насъ есть уже значительная артиллерія всяческихъ орудій. Мыѣздимъ вчетверо быстрѣе, чѣмъѣздили отцы наши. Много лучше ихъ путешествуемъ, мелемъ, влажемъ, куемъ, сажаемъ, воздѣлеваемъ и копаемъ. У насъ совсѣмъ новые сапоги, перчатки, стаканы, инструменты; у насъ есть счетная машина; у насъ—газета, и посредствомъ газеты каждая деревня можетъ составить докладъ о себѣ и поднести его намъ за завтракомъ. У насъ деньги и кредитный билетъ; у насъ—языкъ, тощайшее изо всѣхъ орудій и самое близкое душѣ. Много,—и чѣмъѣ больше есть, тѣмъѣ больше требуется. Человѣкъ льститъ себѣ, что власть его надъ природою еще возрастеть и умножится. События начинаютъ повиноваться

ему. Насъ ожидаетъ еще — воздухоплаваніе, и можетъ быть недалеко намъ до войны, которая разыграется на воздухѣ. Немудрено, что мы изобрѣтаемъ такую воду, отъ которой пегръ разомъ станетъ блѣдымъ. Онъ уже видѣть, какъ ме-ниется головной типъ англо-саксонской расы подъ вліяніемъ условій американской жизни.

Въ старину видали Тантала, какъ онъ, стоя на самой глубинѣ, напрасно пытался утолить жажду свою текучею струею, которая убѣгала, лишь только онъ наклонялся къ ней. Старикъ Танталь, говорятъ, недавно опять появился въ мірѣ. Его видѣли въ Парижѣ, въ Нью-Йоркѣ, въ Бостонѣ. Онъ весель, уверенъ въ себѣ: думаетъ, что ему скоро удастся поймать струю, даже наполнить ею бутылку. Но, кажется, уверенность его напрасная. Обстоятельства — все еще мрачнаго вида. Сколько ни прошло столѣтій непрерывной культуры, — новый человѣкъ все таки стоитъ на самомъ рубежѣ хаоса, все-таки не выходитъ изъ кризиса. У кого на памяти такая пора, когда бы не жаловались, что денегъ нѣть, что время тяжелое? У кого на памяти такое время, когда довольно было добрыхъ людей, разумныхъ людей, и такихъ мужчинъ и такихъ женщинъ, какихъ было нужно? Танталь пачинаетъ думать, что паръ — есть фантазія, и что гальванизмъ — не больше того, чѣмъ по природѣ служитъ.

Многое уже заставляетъ задумываться, многое наводитъ на мысль, что благо наше лежитъ гдѣ-то глубже, что его не сыщешь — въ парѣ, въ фотографіи, въ воздушномъ шарѣ, въ астрономіи. Все это орудія сомнительного качества. Все это — реактивы. Множество машинъ имѣетъ угрожающей видъ. Ткачъ самъ превращается въ ткань, механикъ — въ машину. Кто самъ не владѣеть орудіемъ, того береть во власть орудіе. Всѣ орудія — съ обточеннымъ острі-

емъ, и стало быть опасно. Человѣкъ строить себѣ прекрасный домъ: и вотъ является у него владыка, приходить работа на всю жизнь, и онъ долженъ устроивать домъ свой, беречь его, показывать, поддерживать и починивать—до послѣдняго своего издыhanья. Человѣкъ создалъ себѣ репутацію: онъ уже не свободенъ, онъ долженъ беречь свое сокровище, уважать его. Человѣкъ написалъ картину, издалъ книгу: и чѣмъ больше успѣха имѣло твореніе, тѣмъ хуже оттого иной разъ творцу. Я зналъ одного доброго человѣка: онъ жилъ вольно какъ птица небесная, какъ звѣрь лѣсной; но разъ ему вздумалось украсить кабинетъ своей парядными полками для коллекціи раковинъ, яицъ, минераловъ и чучель. Это была забава, по чѣмъ забавлялся онъ въ сущности? Тѣмъ, что устраивалъ изящныя цѣни и оковы для своихъ же членовъ.

Задумывается и ученый экономистъ. „Сомнительно,— всѣ какія только есть, механическія изобрѣтенія, облегчили трудъ дневной хоть одному человѣку“. Машинна развивается, раздѣливается человѣка. Машинна доведена до высшаго совершенства, а кто механикъ при ней? никто. Всякое новое усовершенствованіе въ машинѣ сокращаетъ механика въ его дѣятельности, разучиваетъ его. Бывало, машина требовала для себя Архимеда; пынче для нея довольно мальчика, лишь бы онъ зналъ нужные пріемы, умѣть двинуть рукоятку, смотрѣть за котломъ; но когда испортится машина, онъ не знаетъ, что съ нею дѣлать.

Посмотрите на газеты: онѣ наполнены каждый день ужасными подробностями. Прежнія изданія, въ родѣ „календаря ньюгетской тюрьмы“ стали ненужны съ тѣхъ поръ, какъ въ лондонскомъ Таймсѣ, въ нью-йоркской Трибунѣ появляются свѣжіе разсказы о преступленіяхъ, гораздо еще ярче, гораздо ужаснѣе.

Въ политикѣ—развѣ бывало когда больше чѣмъ у насъ, своекорыстія, разврата, насилия? А торговля, это любимое дитя океана, гордость его и слава, эта воспитательница народовъ, эта благодѣтельница по певолѣ и вопреки себѣ, торговля наша копчается во всемъ мірѣ постыдною несостоительностью, надувательнымъ предпріятіемъ и банкротствомъ.

Мы перечисляемъ всякия искусства, всякия изобрѣтенія человѣческія, какъ мѣрило достоинству человѣка. Но когда, при всѣхъ своихъ искусствахъ и знаніяхъ, онъ оказывается лукавъ и преступенъ, явно, что механическое искусство со всѣми своими изобрѣтеніями не можетъ служить ему мѣриломъ достоинства. Поищемъ, пѣтъ ли другой мѣрки.

Что прибыло отъ этихъ искусствъ и знаній—характеру и достоинству рода человѣческаго? Стало ли лучше человѣчество? Многіе спрашиваютъ съ недоумѣніемъ, не понижаясь ли нравственность, по мѣрѣ того какъ возвышалось искусство? Мы видимъ съ одной стороны великія искусства и знанія, съ маленькими людьми, съ другой стороны видимъ, какъ изъ низости выростаетъ величіе. Видимъ торжество цивилизаціи, и радуемся, но намъ указываютъ такую благодѣтельную руку, которую душа не хочетъ признать. Самый главный факторъ преуспѣянія въ мірѣ—это торговля, сила личнаго эгоизма и мелкаго разсчета. Казалось бы, всякая побѣда надъ матеріей должна возвышать достоинство природы человѣческой въ сознаніи человѣка. А намъ, когда смотримъ па свое богатство, приходится дивиться, откуда взялось оно, и кто его виповникъ. Посмотрите на изобрѣтателей. У каждого изъ нихъ есть свой фокусъ, въ которомъ онъ силенъ. Геній бьется въ извѣстной жилкѣ, пробивается въ извѣстномъ мѣстѣ; но гдѣ найдешь великій, ровный, симметрическій умъ, питаемый великимъ сердцемъ? У всякаго больше есть что прита-

ить въ себѣ, нежели что выказать, всякаго заставлять хромать свое совершенство. Слишкомъ замѣтио, что отъ материальной силы отстало нравственное преуспѣніе. По всему видно, что мы помѣстили капиталъ свой не совсѣмъ расчетливо. Намъ предложены были *дѣла* и *дни* на выборъ: мы выбрали *дѣла*.

Новѣйшія изслѣдованія санскритскаго языка раскрыли намъ происхожденіе древнихъ названий Божества—Dyaeus, Deus, Zeus, Zeu pater, Jupiter, все имена солнечныя. Въ нихъ еще слышится, сквозь новую одежду ежедневнаго нарѣчія, слово: *День* (Day). Не значитъ ли это, что *день*— для нась явленіе Божественной силы? что люди древняго міра, пытаясь выразить рѣчью верховную силу вселенной, дали ей имя: *день*, и что это название всѣ илемена приняли?

Гезіодъ написалъ поэму и назвалъ ее: *Дѣла и дни*. Въ ней поэтъ описываетъ времена греческаго года, учить хозяина, когда, подъ какимъ созвѣздіемъ слѣдуетъ сѣять, когда начинать жатву, когда рубить лѣсъ, въ какой счастливый часъ плавателю пускаться въ море, чтобы избѣжать бури, и за какими небесными планетами слѣдоватъ. Поэма наполнена хозяйственными наставлениями для греческой жизни: въ ней указанъ возрастъ для брака; въ ней есть правила для домашней экономіи, для гостепріимства. Поэма эта дышитъ благочестіемъ и исполнена разума житейскаго: она прилажена ко всѣмъ меридіанамъ, потому что и *дѣла* и *дни* поэтъ представляетъ въ нравственномъ ихъ значеній. Но *наука дней* не глубоко имъ разработана, хотя это очень глубокая наука.

Крестьянинъ, работая на полѣ своемъ, говорилъ: хорошо, когда бы моя была вся земля, какая прымкаеть къ моему полю. Такія же наклонности были у Бонапарта: онъ хотѣлъ сдѣлать Средиземное море французскимъ озеромъ.

Говорить, одинъ владыка земной простиralъ еще дальние свои платья, и весь Тихій океанъ хотѣль назвать *своимъ океаномъ*. Но хотя бы и удалось ему, хотя бы онъ всю землю могъ взять въ удѣль себѣ и океанъ счасть за свое озеро,—все таки онъ былъ бы пищимъ. Тотъ лишь одинъ богатъ, кто *владеетъ днемъ своимъ*. Вотъ сила; иѣтъ на свѣтѣ ни царя, ни богача, ни чародѣя, ни демона, кто-бѣ имѣлъ такую силу. Для для наась—тѣ же сосуды Божества, какъ и для прародителей нашихъ, арійцевъ. Изо всего су-щаго—они всего менѣе обѣщаютъ, а вмѣщаютъ—всего болѣе. Они приходятъ безмолвно и торжественно, точно видѣніе образа, съ погъ до головы закрытаго покрываломъ, точно иѣмые посланники, съ даромъ изъ дальнаго пріязнен-наго края; и такъ же безмолвно удаляются, унося съ собою дары свои, если мы не беремъ ихъ и ими не пользуемся.

Какъ приходится день по душѣ, какъ обвивается во-кругъ нея точно тонкое покрывало, какъ одѣваестъ всѣ ея фантазіи! Всякий праздничный день окрашиваетъ наась сво-имъ цвѣтомъ. Мы носимъ его кокарду, всякий привѣтъ его отражается на нашемъ душевномъ расположениі. Вспомнимъ свое дѣтство: что у наась было въ душѣ праздничнымъ утромъ, напримѣръ въ день національной годовщины, въ день Рождества Христова? Несемся, бѣжимъ, и кажется, самыя звѣзды съ неба мигаютъ памъ объ орѣахъ и пряникахъ, о конфектахъ, подаркахъ и потѣшныхъ огняхъ. Помните, какъ въ ту пору жизнь считалась по календарю минутами, сосредоточивалась въ узлы первой силы, въ часы радуж-наго блаженства, а не разливалась ровнымъ и гладкимъ потокомъ счастія. Въ единеніи и въ деревнѣ—какимъ тор-жествомъ дышетъ праздничный день! Встаётъ изъ бездны временъ священный часъ праздника, древняя суббота, седь-мой день, ублѣнnyй тысячелѣтіями религіозныхъ вѣрованій,

раскрывается чистая страница, которую мудрецъ испишетъ словами истины, дикій исцарапаетъ фигурами своихъ фетишій;— и мы слышимъ, въ уединеніи своемъ, вееленскій исаломъ, соборный хоръ всей исторіи человѣческаго рода.

И какъ сходится погода съ душевнымъ расположениемъ въ молодости! Вѣтеръ, мѣняясь, мѣняетъ свою поту на тысячи ладовъ, мѣняетъ тысячу разъ картины, которыхъ несетъ воображенію, и всякий новый ладъ его—новая оболочка, новое жилище для духа. Бывало, я умѣль выбирать настоящую пору для каждой изъ любимыхъ книгъ своихъ. Одинъ писатель приходится всего лучше къ зимнему времени, другой—къ лѣтнимъ каникуламъ. Есть книги (напр. Илатоповъ Тимей), для которыхъ ждешь, долго ждешь настоящаго часа. Наконецъ приходитъ желанное утро, занимается заря, на небѣ является мерцаніе свѣта, какъ будто въ первую минуту мірозданія и въ началѣ бытія: и вотъ въ эту часъ простора смѣло раскрываешь книгу....

Въ иные дни къ намъ подходятъ великие люди, близко—близко; на лицахъ у нихъ ни малѣйшей суровости, ни малѣйшаго снисхожденія; они намъ ровные, берутъ насъ за руку, говорятъ съ нами, и мы съ ними бесѣдуемъ. Въ иные дни мы чувствуемъ, что насталъ праздникъ—изо дней день въ году. Ангелы являются во плоти, уходятъ и приходятъ снова. Вся природа оживаетъ, точно у всѣхъ духовъ и боговъ проснулось воображеніе, и являются живые образы отовсюду. Вчера не слыхать было птичьего голоса, міръ былъ сухъ, каменистъ и пустыненъ; сегодня—все населено и наполнено; все созданіе цвѣтетъ, роится и множится.

Дни ткутся на чудномъ станкѣ: основа и утокъ его—прошедшее и будущее. Нити ложатся величественнымъ рядомъ, какъ будто всѣ боги принесли по ниткѣ для небесной ткани. Странно подумать, отчего мы богаты, отчего мы бѣд-

ны;— нѣсколько больше, иѣсколько меныше монетъ, ковровъ, платьевъ, камни, дерева, краски: тотъ или иной покрой, та или другая форма; наша доля— точно доля краснокожаго индійца:— одинъ гордится тѣмъ, что у него есть шитка бусъ или красное перо,— а остальные, не имѣя ни того ни другого, почитаютъ себя несчастными. Но не таковы тѣ сокровища, на которыхъ истощилась для насъ природа; вѣками образованная, тонкая, сложная анатомія человѣка, надъ которой потрудились всѣ прежніе слои мірозданія, всѣ племена бывшія до насъ;— всѣ формы и образы творенія, которыми окружены мы; вся земля и исполненіе ея; воздухъ—несущій дыханіе и мѣру жизни;— море, зовущее вдали; бездна небесная со всѣми ея мірами; и на все это отзывается мозгъ съ первымъ составомъ, и глазъ, способный проникать въ бездину, и бездину снова отражать въ себѣ:— бездна бездину призывающая. Все это безъ мѣры дано всѣмъ и каждому— не то, что бусовое ожерелье, что ковры и монеты наши.

Не диво ли это? И это диво въ рукахъ у послѣдняго пищаго. Рынокъ людской кипитъ подъ голубымъ небомъ, и въ небѣ херувимъ и серафимъ надъ нами витаются. Небо— это сіяніе славы, которымъ Великій Художникъ одѣлъ свое созданіе,— это предѣльная черта между матеріей и духомъ. Это край мірозданія: дальше не могла идти природа. Когда бы осуществились самыя блаженныя сновидѣнія наши, когда бы тонкая сила открыла намъ новое зрѣніе, и мы увидѣли, какъ ходятъ по землѣ миллионы духовныхъ существъ, и тогда бы, кажется, открылось, что сфера, въ которой они движутся, окружена отовсюду той же самой тканью синевы небесной, которая обсыпаетъ меня теперь, на городской улицѣ, между ежедневныхъ дѣлъ человѣческихъ.

Странно, что на богатомъ нашемъ англійскомъ языке не находится слова, чтобы назвать вселенную. Есть старин-

ное англійское слово *Kind* (родъ), но оно выражаетъ лишь малую часть того, что заключается въ прекрасномъ латинскомъ словѣ, имѣющемъ тонкій оттѣнокъ будущаго, дальнѣйшаго бытія: *natura*, т. е. не только рожденное, но и имѣющее родиться, чemu въ германской философіи соотвѣтствуетъ *das werden*. Но ни на одномъ изъ новыхъ языковъ не бѣтъ слова для выраженія силы, действующей только въ красотѣ. Для нея было только одно соотвѣтственное слово на греческомъ языкѣ: *Kosmos*, и оттого Гумбольдтъ прибралъ удачное название *Kosmos* для своей книги, въ которой изложены послѣдніе результаты науки.

Таковы дни: земля—полная чаши, которую предлагается намъ природа отъ безмѣрныхъ щедротъ своихъ, каждый день, въ насущное наше питаніе; и покровъ чаши нашей—сводъ небесный. Но намъ дана еще сила мечты, которая съ нами рождается и остается при насъ до послѣдняго изды-ханія.

Она ласкаетъ насъ, льстить намъ, обманываетъ насъ съ ранней зари до вечерней, отъ рожденія до смерти—и ничей опытный глазъ не успѣвалъ еще до сихъ поръ распознать обмана. Индузы представляютъ Маю, энергию мечты, въ числѣ главныхъ атрибутовъ Вишну. Моряки въ бурю привязываютъ себѣ къ мачтамъ и снастямъ корабельнымъ: не такъ ли, въ той бурѣ воюющихъ элементовъ, которая зовется жизнью, требуется привязать къ жизни души человѣческія, и природа употребляеть для этого, вместо канатовъ и веревокъ, всякаго рода мечты и фантазій: для ребенка—погремушки, куклу, яблоко; для мальчика на возрастѣ—коньки, рѣку, лодку, лошадь, ружье; для юноши и для взрослаго—ничего и приводить примѣры, потому что имъ не бѣтъ числа и предѣла. И иногда—маска спадаетъ, завѣса медленно поднимается, и дается человѣку увидѣть безобраз-

пую массу, набитую чучелу,—замазанную краской, поддѣланную спаружи. Юмъ утверждалъ, что измѣняются только обстоятельства, а средняя доля счастья—всегда одна и та же; что у нищаго, что сидить на мосту и ловить мухъ на досугѣ, и у вельможи, проѣзжающаго мимо въ богатой коляскѣ, и у девушки, выѣзжающей на первый балъ; и у оратора, когда онъ съ торжествомъ возвращается изъ парламента,—у всѣхъ разные способы душевнаго возбужденія, но количество его одно и то же.

Воображеніе всею своею силой помогаетъ намъ скрывать отъ себѣ цѣну и значеніе настоящаго времени. Кто изъ насъ не сознаетъ въ каждую минуту, что его настоящая дѣятельность ниже и меныше того, что бы онъ могъ сдѣлать? „Что ты дѣлаешь?—„Да ничего; я только что занимался вотъ чѣмъ, или я намѣренъ дѣлать вотъ что, а теперь я только....“ Ахъ, простакъ! неужели никогда ты не вырвешься изъ сѣтей своего фокусника,—неужели никогда не поймешь, что когда исчезло *сегодня*, когда между нынѣшнимъ днемъ и нами невозвратимые годы протянули уже свою лучезарную ткань,—минувшіе часы сіяютъ предъ нами обольстительною славой, и тянутъ насъ къ себѣ, какъ фантастической романъ, представляются намъ царствомъ красоты и поэзіи? Какъ трудно смотрѣть на нихъ прямо безъ обмана! Все, что въ нихъ происходило, всѣ отношенія, всѣ слова и разговоры, всѣ горячіе интересы и горячія дѣла минувшихъ дней—все это бросаетъ намъ пыль въ глаза и развлекаетъ наше вниманіе. Тотъ сильный человѣкъ, кто можетъ глядѣть на нихъ прямо, безъ смущенія, не поддаваясь обольщенію, кто видитъ въ нихъ все какъ было, сохрания при себѣ свое самосознаніе; кто знаетъ и помнить, что ничего неѣть новаго подъ луною, и что было прежде, то и всегда бываетъ; кого ни любовь, ни смерть,

ни политика, ни стяжаніе, ни война, ни удовольствіе—не въ силахъ отвлечь отъ предпринятаго дѣла.

Миръ всегда самъ себѣ равенъ, и всякий человѣкъ, въ минуту глубокаго раздумья о себѣ, чувствуетъ, что проходитъ тотъ же опытъ жизни, какой проходили до него люди въ древнихъ Эгиптахъ или въ древней Византіи. Непрестающее нынѣ царствуетъ въ природѣ и украшаетъ наши кусты тѣми же розами, которыя изѣняли древняго человѣка въ величихъ садахъ Вавилона и Рима. Невольно просится въ душу вопросъ: стоитъ ли учить языки, стоитъ ли обходить вселенную, для того, чтобы узнать такія простыя и старыя истины?

Передъ нами—памятники древняго искусства, вырытые изъ подъ земли города, вновь открытая рукописи и надписи: правда—это красота, и стоитъ знать ея исторію, и наши академіи сходятся решать первѣнные споры николь древняго искусства. Какія экспедиціи, какой трудъ измѣрений, какія усиленія умовъ—Нибура и Миллера и Лайарда,—для того, чтобы определить мѣсто нахожденія Трои и столицы Нимродовой! Сколько морскихъ походовъ—для того чтобы почтить память Данта,—и для того чтобы привести въ ясность, кто открылъ Америку, приходится пуститься въ плаваніе не меныше того, какое нужно было для открытия. Дитя человѣкъ! вѣдь эта мягкая масса, изъ которой старшіе братя наши въ древности вылѣпили дивные свои символы,—совсѣмъ не персидская, и не мемфисская, и не тевтонская, и совсѣмъ не мѣстная глина:—это обыкновенная известіе, обыкновенный песчаникъ съ водою и со свѣтомъ солнечнымъ, съ жаромъ крови, съ дыханіемъ легкихъ: ту же самую глину ты самъ держалъ въ неумѣлыхъ рукахъ своихъ, и бросилъ изъ рукъ, когда побѣжалъ ее же отыскивать въ старыхъ гробницахъ, въ гробовыхъ колодцахъ,

въ старыхъ книжныхъ лавкахъ малой Азии, Египта и Англіи. Это все то же многозначащее *сегодня*, вѣми пренебрегаемое; та же богатая бѣдность, вѣми ненавидимая, то же многоглаголюще, любвеобильное единение, отъ котораго бѣгутъ люди въ города, на шумный рынокъ. Нынѣшний день притаился и спрятался,—его надоено отыскивать: въ немъ удача и победа, въ немъ дѣйствительность, радость и сила. Всякій льститъ себѣ, никто не думаетъ, что настоящій часъ—критический, рѣшительный часъ для всякаго. Но всякому надо написать у себя въ сердцѣ, что каждый день, какой приходитъ—лучший день въ году. Ничего въ правду не узнаетъ человѣкъ, покуда не почувствуетъ, что каждый день—день судѣй въ его жизни, день посѣщенія. Отъ вѣка божество являлось на землѣ въ смертной одеждѣ, въ низкомъ и смиренномъ видѣ: плохое величіе то, что любить является міру съ возвышеніемъ, въ брилліантахъ и въ золотѣ. Настоящіе цари и владыки оставляютъ свои короны въ кладовой и являются въ простомъ и бѣдномъ нарядѣ. Въ сѣверной легендѣ нашихъ предковъ, Одинъ является въ видѣ рыбака, живеть въ бѣдной хижинѣ, чинить свою лодку. Въ индійской легендѣ—Гарі живеть между поселянъ, простымъ поселяниномъ. Въ греческой легендѣ Аполлонъ живеть съ адметскими настухами, и Юпитеръ дѣлить сельскую жизнь съ бѣдными еооплянами. И въ нашей исторіи Іисусъ родился въ ясляхъ, и двѣнадцать апостоловъ его—изъ простыхъ рыбаковъ. Въ нашей наукѣ мы видимъ на каждомъ шагу, что природа является въ маломъ крайнее свое величіе; таково было правило Аристотеля и Люкреція,—а въ наши времена правило Сведенборга и Ганемана. Возрастъ слоевъ земной коры опредѣляется по тому же порядку, въ которомъ совершаются развитіе яйца. Въ народныхъ сказкахъ и легендахъ нашихъ—самая могу-

щественная фея всегда меныше всѣхъ ростомъ. Въ учени о благодати смиреніе выше всѣхъ добродѣтелей, и живой образецъ смиренія—Мадонна; въ жизни тайна смиренія—тайна мудрости человѣческой. Заслуга генія нередъ человѣчествомъ всегда состоитъ въ томъ, что онъ снимаетъ намъ завѣсу съ простыхъ ивленій обыденной жизни, и мы видимъ, чего не подозревали прежде, видимъ божество въ простой одеждѣ, посреди толпы цыганъ и разношниковъ. Въ ежедневномъ быту пріемъ для работы обличаетъ намъ мастера; мастеръ пользуется подручнымъ матеріаломъ, не дожидаясь, покуда достанутъ ему издалека то, что слыветъ у другихъ за отличное, или изъ чего другіе работали со славой. „У полководца,—говорилъ Бонапартъ,—всегда достаточно войска, если только умѣеть онъ употребить людей своихъ и если самъ дѣлить походъ и бивуакъ съ ними“. Дѣло, которое принесъ тебѣ настоящій часъ, не отвергай для другого, болѣе заманчиваго и славнаго. Высшая точка на горизонтѣ мудрости въ одинаковомъ разстояніи отовсюду, и если хочешь пайти ее, ищи ее тѣми способами, какіе тебѣ самому сродны и свойственны.

Но воображенію нашему всегда привлекательнѣе то дѣло, которое не на сей часъ требуется. Сегодня имѣнио, и въ тотъ часъ когда обѣщали мы прийти на работу, въ засѣданіе,—какъ влекутъ насъ къ себѣ, сколько намъ обѣщаютъ дальне холмы и вершины!

Главный урокъ исторіи состоять въ томъ, что она показываетъ намъ цѣну настоящаго часа и долгъ его. Благо мое, дѣло мое—то, на которое мнѣ указываютъ родина моя, мой климатъ, мои средства и матеріалы, мои сотоваринцы.

Есть повѣрье, что конские волосы въ водѣ превращаются въ червей—олосатиковъ. Ученые считаютъ его

басней; но мнѣ часто думается, что старыя венцы гибнутъ, и изъ прошедшаго рождаются змѣи. Поклоненіе дѣламъ предковъ можетъ превратиться въ обманчивое чувство. Достоинствомъ ихъ было не поклоненіе прошедшему; заслуга ихъ состояла въ томъ, что они чтили настоящую минуту; и мы напрасно ссылаемся на нихъ въ оправданіе такой паклонности, которая имъ была бы противна, которой они не следовали въ жизни.

И еще любимая мечта паша—что намъ мало времени для дѣла. Но мы могли бы размыслить, что многія твари вкушаютъ изъ одной чапи, и каждое существо, сообразно своему составу, принимаетъ и перерабатываетъ въ немъ тѣ элементы, которые ему свойственны,—и время и пространство и свѣтъ и воду и пищу тѣлесную. Змѣя обращаетъ всякую свою добычу въ змѣю, лисица въ лисицу; и Петръ и Павель обращаютъ все бытіе свое въ Петра и Павла. Въ Нью-Йоркѣ кто-то однажды жаловался, что мало времени. Простой индіецъ отвѣтилъ ему умнѣе иного философа: „мнѣ кажется, въ твоей власти все время, какое у тебя есть“.

Есть еще мечта: мы не можемъ отрѣшиться отъ мысли о великомъ значеніи долгаго времени—года, десятилѣтія, столѣтія. Но старая французская поговорка гласитъ: Божье дѣло въ минуту совершается,—„En peu d'heure Dieu labeure“. Мы молимъ себѣ долгой жизни, но долгая жизнь значитъ: полная жизнь, жизнь великая минутами. Истинная мѣра времени—духовная, а не механическая мѣра. Жизнь длинна свыше мѣры. Минуты духовнаго разумѣнія и прорицанія, минуты полнаго единства въ личномъ отношеніи, одна улыбка, одинъ взглядъ,—вотъ чѣмъ мы пропиляемъ въ вѣчность и черпаемъ изъ нея полную мѣру. Въ такія минуты жизнь возносится до крайней точки и сосредоточи-

вается; по словамъ Гомера „боги однажды только и въ одинъ только день даютъ смертнымъ ту долю разума, какая кому назначена“.

Я одного мнѣнія съ поэтомъ Вордсвортомъ, что „одно только есть въ жизни счастье и пѣть иного—счастье въ разумѣ и добродѣтели“. Одного мнѣнія съ Плініемъ, что „чѣмъ больше углубляемся мыслью въ эти истины, тѣмъ болѣе долготы придаемъ своей жизни“. Я одного мнѣнія съ Главкономъ, когда онъ говоритъ: „О Сократъ! мѣра жизни для мудрого—говорить и слушать рѣчи подобныя тому, что мы отъ тебя слышимъ“.

Тотъ одинъ можетъ обогатить меня, кто дастъ мнѣ мудрость дnia, кто мнѣ освѣтитъ путь мой отъ восхода до восхода солнечнаго.—Разумѣніе дnia—служитъ мѣрою человѣка. Поэтъ, съ одною своей поэзіей, математикъ, съ одними своими проблемами, не вполнѣ удовлетворяетъ настъ; по когда человѣкъ постигаетъ душой заодно и основныя начала мірозданія, и праздничное величіе вселеной,—тогда и его поэзія вѣрина, и числа его отзываются вами музыкой. Не тотъ для меня учепый изъ ученыхъ, кто можетъ раскопать передо мной погребенные въ землѣ династіи Сезострисовъ и Птоломеевъ, опредѣлить мнѣ годы олимпіадъ и консульствъ; по тотъ, кто можетъ раскрыть мнѣ теорію нынѣшняго понедѣльника, нынѣшней середы. Есть ли въ немъ то знаніе любви (*piety*), которое одно умѣеть разгадать пошлость ежедневной жизни, можетъ ли онъ спять покровы стѣхъ узъ, которыми пошли люди, пошли предметы соединяются съ первымъ началомъ бытія? Пролетѣло пятиадцать минутъ: въ людскомъ мнѣніи, это доля времени, а не вѣчность; мелкая, подневольная доля,—доля надежды или доля памяти, это дорога къ счастью или отъ счастья, но не само счастье. Можетъ ли онъ показать мнѣ эту четверть часа въ связи

ея со счастьемъ и съ вѣчностью? Вотъ истинный учитель, вотъ кто можетъ провѣстъ насть изъ рабскаго и нищенскаго быта—въ богатство и въ увѣренность. Съ нимъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ,—честь и достоинство. Наша *Америка*, нищенствующая Америка, любопытствующая, всюду заглядывающая, повсюду странствующая, всему подражающая, изучавшая Грецію и Римъ и Германію и Англію,—Америка спишетъ запыленныя свои сандалии, сброситъ полинявшую дорожную пыль, и останется дома, и сядетъ въ мирѣ и въ синихъ радости. Посмотритъ вокругъ себя: во всемъ мірѣ нѣть такихъ видовъ природы, въ исторіи вѣковъ не было такого часа, въ будущемъ не найдется другой минуты благопріятіїе! Часть поэтамъ пѣть, часть искусствамъ раскрывать все свое богатство!

Еще одно замѣчаніе. Жизнь только тогда хороша, когда она очаровательна и музыкальна, когда въ ней полный ладъ, полноеозвучіе, и когда мы не анатомируемъ ее. Держи въ чести дни свои, превратись самъ въ день свой, не допранишай его, какъ профессоръ ученика. Міръ пантъ—загадочный міръ; все что говорится, все что познается и дѣлается—все загадка, все надобно принимать не въ разумѣ буквы, а въ разумѣ духа. Чтобы уразумѣть все въ правду, мы должны быть на верху своего званія. Когда птица поетъ пѣснь свою, слушай; но если хочешь слышать пѣснь, берегись разлагать ее на имена и глаголы. Постараемся воздержать себя, отдать себя, покориться. Когда утро наступаетъ, дадимъ мѣсто утру.

Все во вселенной идетъ волной и изгибомъ. Прямыхъ линій нѣть. Помни, какъ теперь, что рассказывалъ иностранный ученый, заѣхавшій на недѣлю къ намъ въ домъ—на радость моей юности. „Любимая забава у дикихъ островинянъ—сказывалъ онъ—играть съ волною на береговомъ

прибоѣ. Они ложатся на волну, которая подхватывает ихъ и выносить, потомъ плывутъ онять, снова отдаются волнѣ и съ наслажденьемъ по щѣлии часамъ занимаются этой игрой. Вся человѣческая жизнь состоить изъ такихъ-же непреходовъ. Надобно умѣть выйти изъ себя, отдаться: кто не умѣеть этого, для того не можетъ быть и величія. А у вѣасть здѣсь и астрономія какъ будто для того, чтобы присматривать за человѣкомъ. Не смѣениь выйти изъ дому, и несмотрѣть на мѣсяцъ и на звѣзды: все кажется, что и они считаютъ шаги мои и донытываются, сколько строчекъ и страницъ я написалъ и прочелъ, съ тѣхъ поръ какъ съ ними видѣлся... Не такъ живали мы въ своемъ краю: всѣ наши дни были не иноходи другъ на друга, и всѣ смыкались во едино—единою любовью къ тому, что занимало и наполняло насъ. Чувствовать полнѣмъ свой честь—вотъ въ чемъ счастье. Наполните, боги, честь мой, такъ чтобы, когда прошелъ онъ, я могъ бы сказать: я прожилъ честь, а не говорить бы такъ: вотъ, прошелъ еще честь моей жизни”.

Намъ нужны не *дѣланые* люди, мастера на всякое литературное или искусственное дѣло, тѣ, что умѣютъ писать поэму, отстоять судебный процессъ, провести ту или другую мѣру—за деньги; тѣ, что могутъ крѣпкимъ усилиемъ воли обратить свою способность куда угодно—на тѣль или другой предметъ, въ ту или въ иную сторону. Иѣтъ;— все, что совершило лучшаго въ мірѣ—дѣло генія—совершилось даромъ, ничего не стоило; вышло на свѣтъ безъ тяжкихъ усилий, свободнымъ теченіемъ мысли. Шекспиръ создалъ своего Гамлета, какъ птица вѣтъ гнѣзда свое. Иные поэмы выились безсознательно, между сномъ и пробужденіемъ. Великие художники писали картины въ радость себѣ и не чувствовали, какъ сила изъ нихъ выходила. Такъ не могли бы они писать въ хладнокровномъ настроеніи. И ма-

стеры лирической нашей поэзии также писали свои пѣсни. Чудная сила цвѣла въ нихъ чуднымъ цвѣтомъ красоты,— и твореніе ихъ было, по выражению извѣстныхъ писемъ французской женщины, „прелестнымъ случаемъ прелестнѣйшей жизни“ (*le charmant accident de l'existence encore plus charmante*). Ни одинъ поэтъ не истощается, не терпитъ убыли отъ своей пѣсни. И пѣсни не будетъ, пока не пришель часъ вольно и въ красотѣ спѣть ее. Если оттого поетъ пѣвецъ, что долженъ пѣть, и что нельзя миновать пѣсни—то лучше пусть ея вовсе не будетъ. Сонъ самъ со-бою приходитъ къ тѣмъ однимъ, кто не заботится о снѣ: такъ и говорятъ и пишутъ всего лучше тѣ, кого не нудить забота: какъ скажется и какъ напишется.

Въ наукѣ—то же самое. Нашъ ученый часто бываетъ изъ любителей. Подвигъ его состоитъ въ какой-нибудь запискѣ для академіи—о странной рыбѣ, о головастикахъ, о паутинныхъ ножкахъ; онъ дѣлаетъ наблюденія, сидѣть надъ микроскопомъ, какъ другіе академики; но когда записка его окончена, прочитана, напечатана,—онъ входитъ снова въ обычную жизнь, которая идетъ у него сама по себѣ, совсѣмъ отдѣльно отъ жизни ученой.—Не таковъ Ньютона: у него наука была такъ же вольна, какъ дыханіе; для того чтобы опредѣлить вѣсъ луны, онъ употреблялъ ту же умственную способность, которая ему служила на застежку крючковъ на платьѣ; вся жизнь его была простая, мудрая, величественная. Таковъ былъ Архимедъ—всегда самъ себѣ подобенъ, какъ сводъ небесный. У Линнея, у Франклина—та же ровная простота и цѣльность; пѣть ни ходулей, ни вытягиванья; и дѣла ихъ плодотворны и достопамятны всѣмъ людямъ.

Освобождая время отъ всѣхъ его иллюзій, стараясь отыскать сердцевину дня, мы останавливаемся на качествѣ

минуты и отлагаемъ заботу о долготѣ ея. На какой глубинѣ стоять наша жизнь — вотъ что важно для насъ, а широта ея протяженія не существенна. Мы стремимся къ вѣчности, а время — преходящая оболочка вѣчности; и въ самомъ дѣлѣ, отъ малѣйшаго ускоренія мысли, отъ малѣйшаго углубленія мыслительной силы, наша жизнь расширяется, углубляется, и мы чувствуемъ долготу ея.

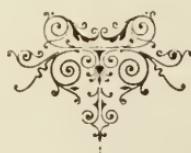
Есть люди, которымъ пѣтъ нужды проходить долгую школу опытовъ. Послѣ многолѣтней дѣятельности они могутъ сказать: все это мы панередъ знали; они съ первого взгляда любятъ и отврашаются, умѣя различать сразу сродственное и несродственное. Они не спрашиваютъ никогда обѣ условіяхъ, потому что сами всегда въ единомъ условіи съ собою, и живутъ въ волю; приказываютъ другимъ, не принимая ни отъ кого приказа; созиавая право свое на успѣхъ, всегда въ немъ увѣрены, и всегда пренебрегаютъ общіе пріемы и способы для успѣха. Сами собой живутъ, сами собой держатся, сами ведутъ себя. Во всякомъ обществѣ остаются — сами собою: имъ это позволяетъ. Они велики въ настоящемъ; они не имѣютъ талантовъ и не заботятся имѣть ихъ, потому что въ нихъ та сила, которая прежде таланта была и послѣ таланта будетъ, и самый талантъ употребляетъ себѣ орудіемъ. Сила эта — *характеръ* — самое высокое имя, до какого достигла философія.

Не важно, *какъ* такой человѣкъ дѣлаетъ то или иное дѣло: важнѣе всего, кто онъ, что такое онъ самъ. Кто онъ, что въ немъ, — это выражается въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ движениіи. Здѣсь минута сливаются съ характеромъ: не различишь одно отъ другого.

Преимущество характера надъ талантомъ прекрасно выражено въ греческой легендѣ о состязаніи Феба съ Юпитеромъ. Фебъ сталъ вызывать боговъ на состязаніе и спро-

силь: кто изъ васъ обстрѣляетъ Аполлона стрѣлометателя?— Зевсъ отозвался: я обстрѣляю. Марсъ принесъ жербы, положилъ ихъ въ шлемъ свой, и первая очередь выпала Аполлону. Онъ натянулъ лукъ свой и метнулъ стрѣлу далеко, на край дальнаго запада. Тогда всталъ Зевсъ, однимъ движениемъ занялъ все пространство и сказалъ: куда стрѣлять? Не осталось мѣста. И боги присудили награду за стрѣльбу тому, кто не бралъ въ руки лука.

И вотъ путь восхожденія для духа, ищущаго мудрости:— отъ дѣлъ людскихъ и всякаго дѣланія рукъ человѣческихъ— до наслажденія тѣми силами, которыя управляютъ дѣломъ; отъ почтенія къ дѣламъ—до мудраго благоговѣнія передъ таинствомъ времени, въ которое духъ человѣческій поставленъ для дѣланія; отъ мѣстныхъ искусствъ и отъ экономіи, считающей *по часамъ* сумму производительности,—до той высшей экономіи, которая ищетъ видѣть качество дѣла, право на дѣло, вѣру и вѣрность въ дѣлѣ; ищетъ пропикнуть черезъ дѣло въ глубину мысли, являющейся въ дѣлѣ, мысли во вселенскомъ ея значеніи, той мысли, которой корень не во времени, а въ вѣчности. Источникъ такихъ дѣлъ— характеръ,— высшее начало духовной цѣльности. Передъ нимъ все минуты ровны; онъ даетъ человѣку величие во всякомъ званіи; въ немъ единственное опредѣленіе свободы и силы.



BINDING

MAR 3 1971

HN Pobedonostsev, Konstantin
526 Petrovich
P6 Moskovskii sbornik
1896

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
